

18+

Юрий Каракур

ТАРТОР

ГРАН-ПРИ
Рукопись года



Annotation

Эта книга о хрупких вещах: о ломкой старости, о робком детстве, о соседках по подъезду, которые вдруг пропадают с лавочки, о дымной церкви на последнем этаже больницы, о плацкартном вагоне, в котором всю ночь громко храпела женщина, о потерявшихся письмах из Мариуполя, о красной смородине, которая кровоточит, если ее неаккуратно сорвать с ветки, о мире, подсмотренном из-под козырька новенькой бейсболки USA California. Содержит нецензурную брань.

- [Юрий Каракур](#)
 -
 - [По зимней дороге](#)
 - [На помощь](#)
 - [Песенник](#)
 - [Ундевит](#)
 - [Приход](#)
 - [Наничку](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [Ледокол](#)
 - [Эмма Миха...](#)
 - [В церкви](#)
 - [Круглая Алла](#)

- [Капкорень](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [Тромбофлебит](#)
 - [Санаторий](#)
 - [Узор](#)
 - [До фокуса](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [Белый налив](#)
 -
-

Юрий Каракур

Фарфор

© Юрий Каракур, текст, 2020

© Алексей Курбатов, обложка, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

По зимней дороге

В самом начале я иду к бабушке. Зимняя учебная суббота, всего четыре урока. На географии показывали карту звёздного со складками неба. Небо темнело у доски, но поверить в него было сложно, потому что за окном – яркое солнце. И даже техничка, которая грелась у раздевалки на этом солнце, стала доброй и провожала нас ласково: «Бегите, бегите...» На улице морозно, около моего дома старается котельная, из трубы поднимается пар, не согнутый ветром. Яркая лестница в подъезде. Дома пахнет блинами, мама, нечёткая в дыму, стоит у плиты. Я поел, собрал портфель с тетрадами на выходные и пошёл к бабушке.

Хотя, кажется, я не видел никакого начала. Мир задолго до меня лёг на девятиэтажки нашего посёлка и покачивался. Зимой выяснилось, что если полчаса ехать по лесу на лыжах, а потом кататься с холма под соснами, то этот холм – то самое место, где я летом собирал маслята, под снегом – река. Как находчиво всё устроено, удивился я. А если пройти дальше за школу милиции, то в конце концов придёшь к памятнику павшим воинам, а за памятником, когда писаешь, открывается склон, далёкий лес и железная дорога. Как красиво, удивился я. Путь к бабушке знакомый – десять минут через гаражи и больничный двор. В гаражах мужики чистят снег деревянными широкими лопатами, из приоткрытых ворот подмигивают машины или, если меньше денег, циклопом смотрит мотоцикл. Я иду прямо, потом налево, но обязательно поворачиваю голову вправо: там, в конце линии, есть гараж, в котором повесился прапорщик. В заборе больничного двора проделана дыра, ею все пользовались, сокращая дорогу. В больничном дворе по снегу ловчит узенькая тропинка, топчется только около трубы, через которую приходится перелезть. Впрочем, я перепрыгиваю легко, ребёнок, суббота. Я смотрю в окна больницы: на первом этаже всё занавешено белым, там реанимация и берут анализы, а со второго этажа и выше окна свободные, чистые, в некоторых стоят от скуки люди. Я знаю, что соседка Тамара лежит сейчас в кардиологии, и думаю: вдруг она видит меня?

Наш посёлок тянулся вдоль Московского шоссе, но недолго, не успевал разбежаться. Его бросили строить, слегка надрезав лес домами. Казалось, что кому-то надоело. Девятиэтажек было немного, мы могли сосчитать их. По ним, как по высоким деревьям, ориентировались: та, где ЖЭК, та, где книжный магазин, та, где парикмахерская, та, которая за больницей, её видно из окон хирургии, и тоскливо, наверное, лежать после операции и смотреть на свой собственный дом, и три девятиэтажки – в рядок, на бабушкиной улице Михалькова, вот так, с мягким знаком. От девятиэтажек ступеньками отскакивали пятиэтажные дома, кое-где стеснялись двухэтажные, с круглым чердачным окном под крышей. А на старых узких улицах, бегущих вдоль Московского шоссе, мелкой щебёнкой были накиданы частные дома, без водопровода.

Я подошёл к девятиэтажкам. Смотреть на них было приятно и немного грустно, потому что там жили лучше, чем мы: лифт, большие кухни, цветной телевизор на холодильнике (это я видел у моего одноклассника Лёши, когда был у него в гостях). На застеклённой лоджии третьего этажа всегда чистота и порядок, а на таком солнце – загляденье. К потолку подвешены отдыхающие корзины. За девятиэтажками – бабушкин дом в дополнительной яме, из-за которой он казался братом-дошкольником. На боковой стене у него краснокирпичная надпись – 1984 г с щепетильной (ну буквально четвертинка кирпича) точкой. Мне нравилось замечать её каждый раз, когда я подходил к дому.

И – надо же! – бабушка выворачивает с другими женщинами из двора. В этой встрече есть что-то удивительное и даже красивое, словно кто-то предусмотрел нас заранее. Мне приятно и весело от этого, и бабушка, я вижу, тоже радуется.

– Мы с женщинами, – впервые говорит бабушка, – хотим прогуляться по лесной дороге. Пойдёшь с нами?

С бабушкой – Вера-певица, ведьма Настя, Евдокия, каждая улыбаётся мне. Я очень хочу с ними, поэтому, конечно, соглашаюсь.

– Оставь портфель дома, – даёт бабушка ключи, – и догоняй нас. Мы потихоньку пока пойдём.

Я бегу через двор, быстро, как будто подгорает пирог, поднимаюсь по ступенькам, с приятным чувством преодолеваю непривычную (мне редко доверяют ключи) сложность замка, анонсом вижу солнечную

(окна на юг) бабушкину квартиру, но не приглядываюсь, всё это потом, кидаю портфель, разгадав (надо потянуть на себя), запираю дверь и с радостным предчувствием сбегая по ступенькам, нетерпеливо, с заносом, огибаю дом и вижу четыре удалившиеся спины, которые от моего стремительного бега быстро увеличиваются.

Все четверо выглядят нарядно – монументальный драп, от коричневого до тёмно-бордового. У женщин из воротников просятся платки, серенькие, пушистые. У бабушки – мохеровый шарф, как у отца. От одного взгляда на него у меня чешется горло, а бабушка из-за мужского шарфа кажется сильной и крепкой. У Веры и Насти – косичкой вязанные яркие береты, как будто они купола Василия Блаженного. У бабушки – гордая каракулевая шапка. У Евдокии – сонная поседевшая норка с заплешинной сзади.

Грязь улицы отступает, остаются ждать нашего возвращения пятиэтажки, начинается белая лесная дорога. Здесь не ездят машины, только трактор неаккуратно чистит снег, сваливая его на обочине. В конце дороги (тут трактор, всё-таки стараясь, делает завиток) – забор, железные ворота, крикливые свободолюбивые собаки. Ворота никогда не открывались, а что за забором – я всё время забывал, хоть и часто спрашивал. Поэтому там просто конец мира, лающая пустота, дойти и развернуться. По этой дороге мы ходили туда-сюда именно зимой. Садовым летом – не до того, всюду прорастала, выгнувшись, жизнь, и ситцевые приусадебные женщины ухаживали за ней: пусть всего лишь клумба под окном, а спину погнуть придётся. А вот зимой гуляли – в мороз, против снега и ветра, преодолая. Гипертония, артрит, болезни ЖКТ, но всё равно накладывали на себя килограммы зимней одежды, чтобы пойти в своё предобеденное паломничество и, проголодавшись, вернуться.

– Я курицу не покупаю, с кубиками варю, – говорит ведьма Настя, – и получается экономно, солёненький, жёлтенький такой бульон.

Настю во дворе не любят, называют ведьмой и поэтому молча осуждают её за то, что она только из кубика, без курицы, жадная.

– А я нажарила минтая вчера, хватит на три дня. Сколько там мне надо этого минтая, – говорит Евдокия, подчёркнуто одинокая.

– У меня суп есть всегда, – повторяет сказанное много раз Вера, и я уже предчувствую, как мы с бабушкой будем сплетничать о ней. –

Сын без первого не может. Мамочка, говорит, какой сегодня супчик?

Вера улыбается, но сын её усатый, с красным лицом и часто пьяный.

– Даже картошку третий день ем, – грустит Евдокия.

– А я сварила крестьянский. Юрочка любит, – говорит бабушка, и я действительно люблю.

Лес будто специально был поделён: с одной стороны перемешались ёлки, берёзы, осины, а с другой – только торжественные замороженные сосны. «В берёзовом лесу резвиться, в сосновом молиться, а в еловом удавиться», – говорила бабушка со слов своей бабушки, ещё более мудрой, давно мёртвой. Но это летом. А зимой всюду храм, всё хрупкое, белое, стеклянное, кое-где чёрно-зелёное, если накануне был сильный ветер. Но и среди белой зимы вспоминалась такая летняя история: как-то вот тут, в берёзках, к Вере, пока она грибы брала, подкрался мужик. Вера не сразу его заметила, а как что-то зашуршало и она подняла голову, так и заорала: мужик стоял с расстёгнутой ширинкой и тряс, здесь при пересказе делалась пауза, намекающая на конкретное слово. Вера убежала, не растеряв, правда, грибов. Но домой пришла и разобрал смех: «Мужик хером напугал!» С тех пор, как только я видел эту рожицу, выскакивала Верина со смехом фраза «хером напугал» и даже показывался рисунок, который вырезали иногда на партах в школе: длинный и два круглых.

– Давайте посидим, женщины, – предложила бабушка, артрит коленного сустава.

Ближе к воротам около дороги лежало большое дерево со счищенной корой. Было известно, что у Евдокии геморрой, поэтому она не садилась, а вставала напротив нас, и со стороны могло показаться, что она поёт нам.

– Вчера так ныло колено, – говорит бабушка, – я его всё растирала, а потом плюнула и выпила водки, натрескалась картошки с селёдкой.

– А у меня кот не ест, – говорит ведьма Настя, – второй день уж.

– У меня так Маркиза не ела неделю и умерла под кроватью, – встаёт с носка на пятку Евдокия.

Оттого что кошки не едят и умирают и потому что не принято сочувствовать ведьме Насте, мы все замолкаем на несколько минут. Слышен только скрип под галошами Евдокии, которая делает зарядку

(носок – пятка), и гул далёкой автомобильной трассы. Это за гаражами, за лесом – шоссе, большая полноводная автодорога «Волга», по которой машины едут в Москву. Там единственный в нашем посёлке светофор, мы пользуемся им, когда идём в библиотеку или в сад. На трассе всё всегда грохотало и стонало с какой-то целью, с прицепом, и этот шум напоминал нам, что где-то делаются большие дела. А для чего был этот заброшенный участок дороги перед закрытыми воротами? Для чего сидели мы вчетвером, разноцветные, на дереве перед раскачивающейся Евдокией? Конечно, всё это – только для красоты, больше ни для чего. Особенно в такой солнечный день. Прошлые выходные были оттепельными, тревожно кричали птицы, чёрными стаями выводили фигуры над деревьями и как будто куда-то звали или напоминали о чём-то, а помнить не хотелось. Но сегодня, в морозное солнце, всё стало ярче и понятнее. Подвисшие мягкие лица бабушкиных женщин раскраснелись и расправились. Евдокия уж какая была бледная, седая старуха, и та порозовела и подтянулась, у Веры красные, яблочные щёки. У бабушки яркие карие глаза, шапка чуть сползает на лоб, она её поправляет и улыбается. Лица ведьмы Насти я не вижу, на нём, наверное, надвигающаяся смерть кота, но варежки у неё чёрные, с вишенками, которые каким-то удивительным образом получаются из крестиков ниток. Только для красоты.

– Ну что, сидеть хорошо, – говорит бабушка, начиная подниматься.

Мы все встаём, идём до ворот и обратно, за деревьями виднеются наши дома. Потом решаем, что можно сходить ещё раз, погода хорошая, хоть и холодно. Понятно, что женщины проголодались, потому что снова говорят о еде, открывают мысленно холодильник и присматриваются: у Веры винегрет с солёными огурцами, котлеты остались, бабушка собирается поджарить путассу, а сверху луку, Юрочка любит, и я действительно люблю, ведьма Настя сардельки из Москвы привезла, два килограмма, и приморозила, у неё большой ведьмин морозильник, которому все завидуют. Евдокия не ужинает, только чай и два бутерброда с сыром, и вчера ей так захотелось печенья, что она маслом помазала и соединила.

– Это «Юбилейное»? – спрашивает Вера.

– Да, – говорит Евдокия.

– Да да нет да, – шутит бабушка.

Женщины смеются.

– Так они надоели с этим *да да нет да*, что даже идти не хочется, – говорит Евдокия.

– Как не идти, – удивляется Настя, – я схожу и проголосую везде «нет».

– Так везде-то не надо, надо наоборот голосовать, – убеждает бабушка.

– Да назло одни *нет* поставлю и всё, – упрямится Настя и смотрит вредным взглядом на лес.

– После того референдума я на новый не пойду, – говорит Вера. – Развалили страну, а теперь спрашивают, поддерживаем ли мы. Глаза бы мои на их рожи не глядели. Женщины, что-то ноги замёрзли у меня.

– Ну пойдёмте обратно, – соглашаются все.

У Веры протёрся валенок, поэтому она в сапогах, а сапоги, конечно, так не греют. У ведьмы Насти совсем тонкие рукавички. У меня пальцы ног замёрзли и начали колотиться.

Как только лесная дорога закончилась, все напряглись и по нахоженной, накатанной улице пошли внимательно, тщательно, почти брезгливо выбирая, куда наступить, чтобы не упасть. Лёд острой болью отзывался, и нужно было осторожно нести свою хрупкую, бьющуюся старость. На прошлых выходных наделало шуму падение Дмитриевны (имени не было у неё, только отчество с намёком на собор, и фигура в зимнем пальто соборная – маленькая голова, широкие плечи): Дмитриевна гуляла с Галиной Андреевной и вдруг поскользнулась. Она взмахнула руками, попыталась выровняться, но уже не смогла и упала на спину, шапка отлетела. Дмитриевна лежала и думала, не поломала ли чего, над ней ещё это серое тревожное небо прошлых выходных, под которым особенно грустно и даже скучно лежать. И потом началась постепенная реставрация Дмитриевны: она перевернулась на бок, встала на колени, сделала несколько шагов на коленях за шапкой и только тогда по палке Галины Андреевны подтянулась, поставила шапку обратно, долго отряхивалась, дома растирала меновазином копчик и левый локоть. Самый сложный участок – спуск во двор, тут шли лесенкой, как лыжницы. На подошвах сапог у Веры наклеены крестами белые пластыри, чтобы не скользили и чтобы крестным как будто знаменем благословляли каждый зимний шаг, у бабушки на галошах – вообще наждачная

бумага, отец принёс из гаража, а бабушка наклеила «Моментом», у Насти и Евдокии по палке – старичок из третьего подъезда им срезал орешник. Пока спускались, взмокли.

– Ну, женщины, до завтра, – говорит бабушка, – пойду внука кормить.

Женщины улыбаются и прощаются, а Евдокия почему-то хвалит меня: «Юрочка умница!» Мы с бабушкой сворачиваем к подъезду, ступеньки скользкие, опасные, но присыпанные песком. Мы входим в подъезд и тут же чувствуем, что всё, на сегодня холод закончился, теперь будет тепло. Бабушка спрашивает, проголодался ли я. Но я не успеваю ответить, потому что из темноты лестницы на нас выплывает Лидия Сергеевна, которая живёт прямо под нами на первом этаже. Мы не любим встречаться с ней, говорит она медленно, тихо, старым-старым голосом, щёлкая челюстью. Дождаться конца её речи невозможно, да и непонятно, есть ли у той речи конец. Если мы слышали шевеление за дверью Лидии Сергеевны, мы старались побыстрее проскочить на улицу или помедлить и, пока она выползает из подъезда, не спускаться. Однажды мы прятались от неё у почтовых ящиков. Но тут Лидия Сергеевна нас поймала. Светлый пуховый платок на голове, под ним жёлтые кудри, неровно-розовые губы, припудренное лицо, огромное пальто, из которого она выглядывала, как из шкафа – из-за всего этого бабушка называла её мышь с муки.

– Гуляли? А я пойду купить хлеба белого, мне нужно для котлет, – начала Лидия Сергеевна, вглядываясь в нас, – решила сделать котлет, фарш у меня лежит давно...

При Лидии Сергеевне мы всегда как будто опаздывали, и бабушка уверенно стала обходить её:

– Сходите, конечно. Там под снежком скользко, имейте в виду.

– Скользко? – испугалась Лидия Сергеевна и сделала движение челюстью.

– Ну вы осторожненько.

Бабушка стала подниматься по лестнице, но Лидия Сергеевна сказала тише и доверительно, тоном показывая, что теперь важная тема:

– Всю ночь кашлял, почти не спала. И Митя разбитый утром.

От этого уже быстро не уйдёшь, и бабушка остановилась: у Лидии Сергеевны и её мужа Мити в прошлом году вернулся из тюрьмы сын.

Теперь он болел туберкулёзом, пил водку, быстро, капризно пьянел, кричал. Мы иногда слышали эти крики, делали погромче телевизор.

– Вот на старости лет, Лидия Сергеевна, да?

– Никогда не думала, Галина Сафроновна, – в первый раз произносит бабушкино имя Лидия Сергеевна. – Что они там делают с людьми в этих тюрьмах, ведь он не был таким. Ну пил, конечно, но после тюрьмы – как подменили.

– Тюрьма ломает людей, – делает бабушка завершающий шаг. На лице Лидии Сергеевны появляется недосказанное, оборванное выражение: почему снова недослушали её? И она попыталась ещё:

– А теперь ведь сигареты каждый день по пачке. При таком кашле курить-то разве можно? Я говорю ему: ты хотя бы молоко пей, хожу два раза в неделю по бидону приношу. Ну это хотя бы пьёт, по стакану за раз.

Мы поднимаемся дальше, от почтовых ящиков, где не видно, бабушка машет на неё рукой и говорит притворно бодро:

– Молоко – это очень хорошо!

Лидия Сергеевна стоит внизу, по-рыбьи открывая челюсть, хочет ещё сказать, но мы больше не слушаем.

Бабушка отлила суп в ковшик и зажгла газ. И все замёрзшие женщины делали сейчас то же самое: разогревали в ковшике, кипятили в чайнике, включали радио, растирали меновазином, и тепло во всех этих квартирах наполнилось, раскачивалось и пахло. И только после мороза (двадцать колючих пальцев) и после учебной школьной недели так ясно, будто протёрли очки, видна бабушкина квартира, тёплая, с подстеленными половиками, комната восемнадцать квадратных метров, диван и кровать, пол – волнами, потому что строители украли доски (так говорили) и постелили какую-то аббревиатуру (двп, дсп?), которая, конечно, взбухла и погнала скрипучую волну. Жёлтые занавески, провисшее сачком кресло, пледы (зелёные квадраты на чёрном и жёлтый, колючий), чёрно-белый новый телевизор и чёрно-белый старый, накрытый, как саваном, кружевной салфеткой. Я приподнимаю занавески, чтобы положить руки на батарею, пахнет сухим теплом. Хочется сразу открыть шкаф, тумбочку, достать карандаши из старого дипломата, игральные карты из плетёной шкатулки. И с чувством, что я скоро всё это открою, и только три часа дня, так много впереди, я иду на кухню.

Бабушка стоит у окна, ждёт, пока согреется суп, яркое зимнее солнце. Я знаю, что у бабушки ещё прохладные после улицы щёки. Неловкое детское счастье бьёт немного мимо цели, и вместо каких-то других слов я спрашиваю, пришло ли письмо от тёти Муси. И бабушка, помешивая, отвечает, что пришло и лежит на тумбочке. Я приношу конверт и сажусь читать. «Почитай вслух», – говорит бабушка. Я читаю: «Милая моя сестричка Галочка, здравствуй!» Я смотрю на бабушку, примеряя к ней *Галочка, сестричка, милая моя*, и запоминаю её в этой позе в этот солнечный день: она стоит на фоне белой улицы Михалькова, девятиэтажка показывает свой величественный кусочек, на бабушке зелёное зимнее платье, её тонкие седые волосы тихонько держатся в заколке. Тогда я продолжил читать и читал, пока не закипел суп. А потом сел писать сочинение по этой картине.

На помощь

Если отложить бабушку по оси абсцисс, а затем приподнять по оси ординат (ну не выше метра семидесяти), то получится одна маленькая чёрненькая точка. Удивительно, что Америка разглядела крохотную мою бабушку. Ведь есть же что-то большое: Миссисипи (не запутаться бы), Венеция, леса Амазонки, Тихий многоводный океан, и бабушка запросто могла бы затеряться, но – нет, Америка заметила её и послала к бабушке двух представительных женщин раннего пенсионного возраста. Женщины пришли морозным вечером и протяжно, задерживая палец на кнопке, звонили в дверь. Мы с бабушкой рассматривали их пуховиковые силуэты в замочную скважину и боялись открывать.

– Боря, я открою, – сказала бабушка ненастоящим голосом. Её научили, что если кто-то незнакомый звонит в дверь, нужно громко притвориться, что ты не одна дома, а с мужчиной, тогда злоумышленник испугается и уйдёт. И когда кто-нибудь, особенно вечером, звонил в дверь, бабушка оказывалась замужем за каким-то Борисом. – Кто там?

– Зоя Михайловна, – сказал один пуховик сомневающимся голосом и тут же сообразил: – Это из ассоциации пенсионеров. Галина Сафроновна здесь проживает?

Мы открыли с опаской, но у женщин были обычные, в беретах, лица, а у той, что говорила, высокий благородный лоб, и мы перестали бояться. Зоя Михайловна по открытке зачитала, что Америка направила гуманитарную помощь в ассоциацию пенсионеров, а ассоциация распределила её бабушке как старой, больной и неработающей. «Не блокадница?» – спросила другая женщина и с подозрением посмотрела. «Нет, не блокадница», – испугалась бабушка. Но женщины остались довольны: «Вот, с этой открыткой заберите помощь по адресу: улица Мира, какой-то дом. Там будет коробка, захватите верёвку или тележку».

И ушли. А мы с бабушкой в недоумении сели пить чай, бабушка надела очки, изучила открытку: нет ли там ошибки? Ошибки не было: Каракур Галина Сафроновна. Мятное свежее облако Америки поднялось надо мной. Амееерика! Жевательная резинка, джинсы,

мотоцикл, катер перепрыгивает волны, бегут фламинго, и торчат из темноты яркие небоскрёбы, полиция Майами.

– Бабушка, а где эта улица Мира?

– Далеко, там, где бассейн, дэ ка молодёжи.

Далеко – и город показался мне огромным, тёмным, загадочным, дэ ка (пояснила бабушка) – это дом культуры.

Бабушка решила никого не просить о помощи, а тихонечко сесть на автобус и спокойненько доехать самой, взять коробку и так же обратно – тихонечко, спокойненько. Зима и скользко, но у бабушки есть палка, чтобы не соскользнуть. «Поедешь со мной завтра?» – предложила бабушка. Я в город ездил всего пару раз: в гости к тёте Соне и на юбилей дяди Толи в зал торжеств, где было много толстых красных людей. И я, конечно, наполнился ветром и мечтой.

– Поеду! Поеду!

Забирать помощь нужно было с пяти до семи вечера. Мы неспешно пообедали (круглые тарелки, сковородки, кастрюли), помыли посуду и пошли на остановку. Было морозно, но мы согреты едой, рейтузами, завёрнуты в платки и шарфы. Железная коробка остановки скромно стоит у дороги, а за ней – белое арктическое поле без краёв. На ветру нервничают отрывные объявления: продаю гараж, продаю сад, продаю кровать (почти новую), учитель англ. яз., звонить после 19. Мы встали в остановку и оформились рамкой: серое бабушкино пальто, сиреневый берет, пушистый, напоминающий полевой цветок, свёрток меня. «В ожидании автобуса».

Автобусы тогда ездили скупо, и мы долго, долго ждали, а потом ещё чуть-чуть. Бабушка сказала, что нужно не стоять на месте, а двигаться, сохранять тепло, и наша фотография затопталась: на правую – на левую, покругимся, сделаем пять шагов. Наконец автобус приехал, бело-синий и как будто добрый, сидячих мест – двадцать три.

Пока мы ждали, на улице уже взяло и смеркнулось, надломилось, и мы поехали вдоль ещё светлого, но уже отслужившего неба, матрасные полосы тополей, споткнулись о светофор, свернули на Московское шоссе, оставили позади и поэтому победили столовую. Дальше поехали вдоль густого изломанного леса, в нём на дне разливалось что-то тёмное, чернильное.

Если выпрямить историю и провести линию карандашом, то мы ехали за американской посылкой на старом автобусе и гадали, что же

там. А если расслабить руки, свесить их с лодки и честно сказать себе, то выходит, что бог его знает, хоть и ехали за американской посылкой, а как будто просто раскачивались, как и обычно раскачиваемся, когда в дороге: вот улицы, по которым бабушка когда-то ходила, смотри, это кинотеатр «Буревестник», и если зайти за него, то можно оказаться на старой одноэтажной улице Парижской Коммуны, где бабушка прожила тридцать лет, и потом свернуть ещё и ещё, и заплакать, потому что тут же была жизнь и куда она ушла, и когда всё успело закончиться, там вот тётка Валя сидела под вишнями на синем таком (помнишь его?) покрывале, но это не драма, нет, а так, фоновая мелодия, и дальше выступают «Руслан» и через дорогу «Людмила», сервант городской филармонии, вот там сейчас выдохнет за поворотом кусок неба над стадионом, и дальше небо под косым углом срежется, пока автобус спускается вниз к театру, и пропадёт теперь уже до конца, а выскочит светящийся витринный универмаг, четыре этажа. Мы ехали и смотрели, подпрыгивали на выбоинах, звенели (негромко) своими небольшими жизнями – всё это где-то минут сорок.

Автобус высадил нас и быстро, обидно уехал. Был, наверное, шестой час. На улице стемнело, тускло-жёлтым мучились фонари. С нами случилось то, что бывает, когда выходишь на тёмную зимнюю остановку в далёкой части города: мы остро почувствовали, что теперь мы одни, и всё вокруг чёрное, холодное, чужое. Но бабушка воткнула палку и стала раскачивать улицу Мира, давай, давай, вперёд, нужно идти, и снова стало интересно.

Бабушка сощурилась и сморщилась: какой это дом? Не видно! Побеги посмотри. Я побежал: дом, к примеру, сорок один. Тогда, сказала бабушка, нам вот туда, пока не будет шестьдесят третий дом, второй корпус. Мы пошли, бабушка энергично опиралась на палку, как будто вся на секунду повисала на ней и – дальше. Я подбежал посмотреть на таблички с номерами домов, мне нравилось бегать, и это сохраняло тепло. Бабушку было жалко: она не бегала, значит, её тепло тратилось и уходило. Бабушка, ты замёрзла? На пути встретилась бесконечная школа с садом, за деревьями светились пленённые решётками окна первого этажа, рядом две пристройки. Это что, всё один дом считается? – удивлялся я. Но пара пятиэтажек были как подарок – стояли торцом к дороге, быстренькие. Наконец дом

шестьдесят три, но теперь усложнение – корпус два, конечно, оступился и свалился с дороги. Мы свернули во двор.

Двор оказался тёмным. Где-то далеко, за углом, светил фонарь, но ничего не делал понятным, а только показывал, что тут скользко. Темнота поблёскивала гранями, перед такой темнотой замолкаешь, замираешь, и ничего не ждёшь, и, кажется, никого не любишь. В домах горели окна: люди кое-где пришли с работы или тихо умирали на пенсии с включённым электричеством. Какие-то человеческие шторы, абажуры, люстрочки, мелькание телевизионных теней – всё маленькое, слабое перед огромной темнотой. Это недолго, может быть, минуту, но как будто и навсегда.

– Бабушка? Куда теперь?

Двор был большой и даже бесконечный, с чёрными кустами и деревьями в центре. Нехотя проступали очертания зданий: там что-то двухэтажное, погасшее, дальше, кажется, парикмахерская (или почта?), ещё какая-то постройка вроде гаража. Ясной дорожки нет, всюду лёд – бугристый, присыпанный снегом убийца, ломатель рук, ног, шейки бедра. Неловко наступит бабушка, и всё, ляжет под потолок. Мы сначала одну ногу, потом, подождав, вторую, и теперь бабушка – не бабушка, а испуганный сжавшийся зверёк в пальто, палкой нащупывает, где жизнь, где смерть. В итоге, конечно, поскальзывается, и всё в бабушке отрывается и подпрыгивает, сердце – особенно высоко, секунда чистого ужаса. Но бабушке удаётся удержать старенькое своё равновесие. «Дай мне руку», – просит бабушка и берётся за меня нервной рукой, и вот мы четвероного ползём дальше, бабушкины шаги маленькие, смертные, а дыхание огромное, сильное, как-то связанное с богом.

Мы подходим к почте (не парикмахерская!). Оставив бабушку на палке, я обежал здание: никаких признаков ассоциации пенсионеров, номера дома тоже нету. Почта уже закрыта (вот кидайте ваши письма в синий равнодушный ящик), но открыт телеграф – дорогой мой утонувший «Титаник», пусть загорится, заволнуется снова: пойдём-ка мы с бабушкой в телеграф спросить. Мы, толстые водолазы в пальто, встаём посреди междугороднего ожидания. В телеграфе тепло и пахнет жёлтой бумагой, клеем, лакированной мебелью, ещё какой-то мелочью типа проводков, телеграмм, печатей, объявлений, трафаретных старых букв и, может быть, чуть-чуть луком. Вечером

телеграф живёт сильной, красивой жизнью: на стульях сидят люди и волнуются перед телефонным соединением, у них нет домашнего телефона, и они хотят позвонить по межгороду тем, у кого он есть, домашненький, щёлкающий диском; лишь бы там, в Казани, в Новгороде, в Уржуме были дома и ждали их звонка, лишь бы соседская девочка не заняла надолго спаренную линию своими домашними заданиями. Очень тихо, слышно, как скрипят стулья – вот так ждут, слегка подслушивают чужие разговоры. В одной кабинке неискренний женский голос поздравляет какую-то Машу с днём рождения: «Всего тебе самого наилучшего, здоровья, хорошего настроения, и чтобы радовали дети. И дядя Миша тоже передаёт поздравления». Это подслушивать скучно. Телеграфистка – блондинка, волосы взбиты, уставшее воспоминание – кричит из-за перегородки: «Саратов, третья!», и тут же срывается птицей седая дама, и бежит к кабинке, и там неожиданно громко говорит: «Коля! Коля! Мы приедем шестого! Взяли билет!» Или так, страшно, Тверь, первая кабинка: «Тамара! Это Лариса, Митина жена, да. Ой, у нас несчастье...» Голос спотыкается, тянется куда-то кверху, и все в телеграфе растревожены и испуганы – вот так и мы, вот так и нам. Мы с мамой так же сидим раз в неделю и ждём наши пять минут с Кировом, где умерли дядя Юра и дед Яков, там одна в квартире на Октябрьском проспекте осталась мамина мама (двойной поцелуй), всё это нужно за пять минут успеть, а голосок в Кирове тихий, слабый, из деревянного подземного далёка, и скоро как рубанут по этому голоску, пять минут закончились, осторожнее там, осторожнее, на следующей неделе я позвоню в то же время! Всё это в конце концов невыносимо, и пусть уже Америка, гуманитарная помощь:

– Девушка, – спрашивает бабушка у телеграфистки, – а где здесь ассоциация пенсионеров?

Девушка качает головой: то ли не знает, то ли не собирается отвлекаться.

– Женщина, это в подвале дома, за почту там зайдите, – гордо говорит бабушке старуха, ждёт Ленинград («Таня! Это мама!»), будет потом идти домой и плакать («Таня! Когда приедешь?»), но пока гордо: – Пятиэтажка там, увидите.

Мы вышли, телеграф погас за нами и затонул, а мы заскользили к пятиэтажке мимо черноватой детской площадки, захороненной на

ночь, потом под деревьями, и пропали, и не стало нас, а после деревьев появились опять. И тут – пятиэтажка, почти как наша.

– Побегни посмотри, в каком подъезде, – бабушка снова запускает меня, естественный спутник. Я убегаю, ничего не боюсь, интересно, а она повисает на палке, перекошенное пальто. На первом подъезде только номера квартир, в окне первого этажа красные занавески, я бегу ко второму, и вдруг бабушка кричит: «Юра! Юра!» Она нашла сама. Какая-то тётка выносила мусор, бабушка спросила, и вон – с торца дома вход в подвал, над дверью лампочка и написано «Ассоциация пенсионеров».

Мы с бабушкой спускаемся в подвал, тут темнота отступает, дорога выпрямляется, гуманитарная помощь из Америки делается яркой, важной, мы всё это время шли именно за ней: хэллоу! Толкаем дверь с силой, и наконец (день, свет, вермишель, остановка – кажется, это всё было очень давно) мы дошли. Внутри тускло, полированный стол, пахнет трубами, сыростью, старой подвальной тайной, но нам всё это безразлично: розовеет закатным солнцем огромный стеклянный небоскрёб (такой мы видели на календаре), глаза ищут что-то американское. Из-за стола торчит крепкая огородная пенсионерка, летом собравшая хороший урожай.

– За помощью? – спрашивает она. – Давайте открытку.

Бабушка расстёгивает пальто, открываются бабушкины более нежные, тёплые слои: шарф, кофта, зелёное платье. Бабушка достаёт открытку из внутреннего кармана.

– Не блокадница?

Пенсионерка уходит и возвращается с коробкой.

– Вот, распишитесь в журнале.

Бабушка скромно, по-школьному присаживается и, следуя за властным пальцем, выводит свои буквы (погладить бы их). Потом мы перевязываем коробку верёвкой от тётимусиной посылки (изюм, курага, сухой кизил, грецкие орехи) и удивляемся, что американская коробка ужасно тяжёлая, щедрая. «Вот это наложили американцы... – радуется бабушка. – Но своя ноша не тянет!» Бабушка хватается за коробку, я открываю дверь, мы вылезаем из подвала и сперва энергично идём, и даже какая-то песенка в бабушке вдруг звучит, кажутся нелепыми обиды. Двор быстрой перемоткой отступает назад: вот так, вот так, наискосок. Но вышли из двора на улицу Мира, и ноша

всё-таки тянет, а посылка оказывается той тяжести, перед которой отступает биография, и нету жизни дальше того вот поворота, и не помнится никто, даже Мусенька, а только тянет руку. «Давай, я помогу, бабушка!» – я цепляюсь за веревку, но роста не хватает, чтобы нести, и я просто держусь, иду рядом. Господи, какая длинная улица проклятого Мира.

– Давай постоим, даже спина мокрая, – говорит бабушка после школы.

И мы встаём, не разговариваем. Мимо едут машины, всякий раз бросая нас. Нам ещё долго идти до остановки, и потом ждать автобуса, и потом от остановки к дому, мимо музыкальной школы, мимо магазина, мимо девятиэтажек (одна, вторая, третья, десятая, сороковая), бесконечно идти, и где же взять силы, и хоть мы уверены, что всё-таки доберёмся до чая, до батарейного тепла, путь кажется нам очень долгим, нужно было бы попросить у Лены с первого этажа тележку.

Но тут барабанами загромыхало. Сначала бабушка увидела высокие как бы двойные фары, потом как будто колбу с жёлтым светом, и всё это начало угрожающе проступать и потом, вдруг, подтвердилось: автобус, номер сорок два!

– Автобус! Бежим!

Мы вскидываемся всей нашей сложной конструкцией: палка, бабушка, артрит, коробка, моя цепкая несильная рука, мои быстрые детские ноги. Всё это дёрнулось, споткнулось, запаниковало и побежало как могло, впереди машет моя доверчивая надеющаяся рука: подождите! Автобус обогнал нас, затрясся на светофоре, укрепив нашу веру: вот же бог какой великодушный, улыбчивый, задержал автобус. Но бог дразнится: автобус двинулся к остановке, переждал троллейбус и стал выпускать людей, а нам ещё далеко.

– Беги один! Попроси подождать, скажи: бабушка – инвалид!

Я отпускаю коробку и бегу, хочу схватить автобус руками. В раскрытую дверь спокойно, гарантированно влезает большая задница в пальто. Я подбегаю, запрыгиваю на приступку и кричу:

– Подождите, там бабушка-инвалид! Блокадница!

Автобус недовольно зарычал, но остался ждать. Я обернулся. По улице Мира подпрыгивал поломанный хрупкий механизм моей бабушки, отложение солей, артрит, варикоз, испуганные глаза.

– Бабушка! Бабушка!

Бабушка неизвестным глаголом движения приближается к автобусу и протягивает мне руку, и я тащу её, старушку с беззащитным лицом, с коробкой и палкой, девочку, которая бегала по краю моря и вот состарилась, работницу завода «Автоприбор», которая одиноко, незамужне родила моего отца и вот состарилась, крупную женщину в купальнике, которая выходила из Азовского моря и вот состарилась, и вот Америка, поэтически переставляя слова, послала помощь ей, и вот я тащу состарившуюся бабушку в автобус, и бабушка – спасена! Закрываются двери, автобус разжал свою рычащую пружину и покатился. Мы тут же оказались в такой безопасности, которую можно получить, только если гнаться зимой за маленьким редким автобусом, и догнать, и даже найти место, и сесть. Пассажиры волновались (инвалид, блокадница!) и теперь чувствуют облегчение: водитель – хороший всё-таки мужик, мир добрый, легко едем! Бабушка, бежавшая, развалившаяся, как куст после ливня, задыхается и ищет валидол в кошельке. И как только закладывает таблетку под язык, кажется мне сразу поздоровевшей: всё в порядке, валидол.

У нас американская посылка в ногах, интересно, окно заледенело, но я растапливаю пальцем кружок, а там мелькают дома, магазины («Ткани», гастронорм с номером), на остановках и перед светофорами мы замираем, и я вижу чёрных серьёзных людей в шапках, которые живут, не зная меня, и ждут автобуса, и идут с сумками домой, и сумки тянутся к земле, и снова нужно приложить палец, и ворота рынка, сквер, вечный огонь промелькнул, уже не вернуть, как ни поворачивайся. Потом город заканчивается, ровно, как по линейке, и наступает то ли страшная, то ли скучная чернота леса, и кружок затягивает белым льдом. После поста ГАИ через лес начинает проступать свет, так две тысячи лет, когда возвращаешься домой: сначала мелкий, а возле старого кафе – несомненный.

Мы выходим из автобуса, сочувственно смотрим на людей на противоположной остановке (мы уже вернулись, а они только выезжают) и наслаждаемся, что тут всё ясно, натоптанно: здесь сокращаем, тут обходим лёд, на лавке возле дома ставим коробку и отдыхаем, с интересом заглядываем в окна: Галина Андреевна дома, у Лены темно (наверное, на вечерней смене), у Маши свет, хотя Маша, конечно, умерла в прошлом году, но свет всегда – у Маши. Перед

интересной соседской жизнью стоим мы с бабушкой и рассматриваем её. Фонари здесь тоже не горят, и позади нас, конечно, висит та же темнота, но мы её не замечаем: вон у Веры сын в окне.

Сейчас и мы будем в окне. Как мы скучали по нашему дорогому подъезду, привычно хлопает дверь, как и должна хлопать, под лестницей на первом этаже стоят, как и должны, санки. Дома мы быстрее включаем свет, чтобы отличаться от темноты на улице.

– Не открывай без меня! – кричу я бабушке из ванной.

Мы нависаем над коробкой. Бабушка осторожно ножницами разрезает клейкую ленту: что там? что там? Вот-вот заблестит, проступит яркое, красивое, американское. Что там?

А там: гречка, сахар, халва, макароны, рис – всё в пакетиках и завязано заботливым узелком. Вложена открытка (свеча, бенгальские огни, еловая веточка).

– Читай, – говорит бабушка.

Я читаю нечёткие печатные буквы:

Уважаемый(ая) *Галина Сафроновна* (вписано
ручкой) Ассоциация Пенсионеров города
Владимира поздравляет вас с Новым Годом!

Бабушка трясётся от смеха.

– Америка гречку подарила!

Я тоже начинаю смеяться, а бабушка расходится:

– Америка, спасибо, дорогая!

И мы хохочем в конце, а ведь стояли в полной темноте.

Нежными руками убрали в шкаф макароны, гречку, рис – будем их варить, и они будут на медленном огне, из-под крышки переговариваться. Халву раскололи, половину выложили в вазочку – к чаю. Сахар пересыпали в банку.

И ехали машины по улице Мира, и чернели там дома, и леденели дворы, и хотелось встретить где-нибудь когда-нибудь эту Зою Михайловну, которая принесла открытку, и рассмеяться с ней вместе, но мы не видели её больше никогда.

Песенник

Кажется, про Веру давно уже рассказано, но где – найти не могу, так что придётся заново. Вера (оглянитесь) живёт в соседнем подъезде, на каком-нибудь низком (окна в кусты) первом этаже, крупная, химически завитая, с проседью женщина. Сблизилась с нами одним жарким летом, без указания года, когда не уехала жить на дачу, потому что целый месяц была привязана к поликлинике: предынфарктное состояние, процедуры, уколы. Осталась на бабушкиных фотографиях: держит кошку, а сама в полосатой кофте, туфли лакированные.

Вероятно, какую-то рассаду Вера отдала бабушке, иначе откуда такая дружба: приходи, Вера, в гости, напеку коржиков. Коржики, огорчённые двойным ударом вилки, на тарелке под полотенчиком, варенье в вазочке под крышкой, заварочный чайник под курицей, всё готово, но слегка прикрыто и дожидается. Наконец Вера звонит в дверь – я бегу открывать. И Вера в плиссированной юбке (на животе – беспощадно обтянуто, а в коленях – лёгонько болтается, ножки тонкие), полосатая кофточка, газовый гороховый платок на шее.

Вера за чаем говорит с сердечной, сытой одышкой, подкашливая:

– Он так поблагодарил всех: спасибо, что собрались меня поздравить.

И от одышки всё сказанное Верой кажется особенно значительным, важным, хотя мы знаем, что потом-то сын её напился, и до утра кричали мужики из Вериных окон, и Вера не спала, а только выходила иногда в ночной рубашке: «Коля! Хватит, давайте уже отдыхать». Но они на неё ну как-то рукой: мать, отстань. И утром сын клевал носом на лавке во дворе, кто-то видел, кто-то пересказал ведьме Насте, а Настя уже разнесла всем. Но мы с бабушкой киваем официальной торжественной версии.

– Хорошо так сказал, – говорит Вера, подкачивает *о* и *ш* щеками, делает потолще, посolidнее, расставляет салфетки на праздничном столе, про которые на самом деле забыла, и все как будто в пиджаках, без красных лиц, без сигарет, как будто чёрно-белый фильм, московская квартира, не линолеум, а паркет блестит. – Все были довольны.

Допиваем чай и идём прогуляться. Лето, десятый час. Розовея, остывает небо. Мы спускаемся – мимо остановки – в поле, недолго и без цели идём как будто к роднику. Вздохнув, взглянув на тонкую щёлку горизонта (что там спрятано?), на далёкие с красными огоньками вышки, поворачиваем обратно. Над девятиэтажками летают стрижи.

Все знали (как все знали, что тот год был яблочный), что Верин муж закодировался весной, перестал пить, и Вера расцвела, пополнила, заулыбалась. Конечно, Верина жизнь была хрупкой и ненадёжной. Нужно смотреть в окно и проверять, занимается ли Вася машиной или ушёл куда-то. Нужно ждать с работы и с половины шестого волноваться: должен бы уже быть дома. Но если лежит под машиной или идёт, высокий, плечи, кудри, то слава богу, как хорошо – супчик, хлебушек, какое-то обеденное, с пережаркой, щебетание Веры над ним. Потом Вера оставляла Васю у телевизора и выходила во двор. Легко на душе, как после бани, а иногда и с мокрой головой выходила – сохнуть на ветерке.

Вера повезла нас с бабушкой к себе на дачу хвалиться. За рулём – муж, усатый, волосатый, золотозубый, а Вера гордо, превосходя нас, восседала на переднем сиденье и вела экскурсию: здесь Смирновы, здесь Таисия Егоровна, здесь старый военный с женой, здесь ведьма Настя, а вот – наша фазенда! Машина съехала на траву и, стукнув чем-то, затихла: приехали. Мы вышли, уже готовые восхищаться. За забором, за черёмухами дом в два этажа, и Вера царственно открывает калитку – заходите. «Какая красота!» – говорит бабушка фальшиво. Помидоры, огурцы, патиссоны, зелень – всё аккуратно. «Ну, Вера, как по линейке!» – восхищается бабушка. У крыльца две развенчанные автомобильные шины выталкивают из себя анютины глазки. Я сфотографировал всех на фотоаппарат «Зенит», тем летом я много тренировался: Вера в цветочном халате (по нему наводил резкость), муж в зелёной плотной рубахе, бабушка туристически улыбается, цвет дома – синий.

На даче Вера накрыла большой стол, давно сосланный из квартиры (муж рубашку гладил, неловко поставил утюг, и вот по форме лодочки столешница потрескалась, будто рыбная чешуя), кормила чем-то вкусным вроде картошки с сосисками, огурчики, помидорчики. Мы чувствовали себя неловко, скованно, как на всякой

малознакомой даче с малознакомыми людьми, и поэтому рассматривали, что там у Веры в старом серванте: в плену двух стёкол Васины родители, чёрно-белые, молодые, незнакомые, ну как-то жили, откуда, говоришь, они? Вязниковский район, говорит Вася, река Лух – это с особым значением, заглядывая назад, расстёгнута рубашка, и бежит, наверное, Вася к реке, рыбы было, пауза, обозначающая количество (огромное), – ну пусть бежит, пусть рыбы было много, мы не знаем, где это, да и скучно слушать бабушке про его пресное речное детство, когда сама она с морского берега, Новоозовск – и быстро бабушка переключается на сахарницу, была такая же, но разбила прямо вдребезги, вместе с сахаром выкинула, и дальше – рюмочки, пригнуть голову, заглянуть глубже, а оттуда мы сами и смотрим, бабушка и я, зеркальная стенка серванта.

Потом мы с бабушкой, сытые, вежливо ходили между грядками, восхищались укропчиком, редиской, огурчиками, кабачками белыми и в полоску, перцами, хотя бабушка даже на Парижской Коммуне (легендарная античная улица, снесённая, разрушенная, оттуда все вышли) с собственным огородом жила, а ничегошеньки не сажала, так что на Верины эти перцы бабушке тайно наплевать. И когда Вера собирает крыжовник, чтобы увезти с собой и сварить царское (толстым голосом) варенье, она кричит от кустов: «Пойди, Сафроновна, посмотри, какой лук у меня!», бабушка не выдерживает и говорит под нос: «Да подавись ты этим луком!» Но встаёт и идёт, по слогам: «За-ме-ча-тель-но!»

Приехали домой поздно, вымыли ноги и легли. Бабушке после дачных впечатлений не спится. Знаешь, говорит бабушка, когда мы к морю ходили, так ноги уставали иногда, и вот я сниму босоножки и в полынь зайду. Она такая мягкая, ногам приятно, и ноги потом полынью пахнут. Это ведь километров десять надо было идти, говорит бабушка со своей кровати и, наверное, идёт снова свои десять километров, перепрыгивая, то тут, то там показывается, снова и снова, мелькает море перед сном.

Пришла Вера и зимой. Принесла тыкву и величественно разделась: берет, платок, пальто – всё слегка присыпанное снегом. «Юрочка, повесь, пожалуйста». Я вешаю, а в комнате чашечно-стульная суэта: вот сюда, Вера, твоя с цветочком, покрепче, с сахаром, бальзамчику добавить? Мёду, бальзаму, всё добавить. Сидят с

красными лицами. Зимой, когда нет дачи, у Веры, оказывается, хор пенсионеров. Это в поссовете, человек двенадцать пенсионеров, два раза в неделю приходят, в тяжёлом пальто, по сугробам, запыхавшиеся. Но в актовом зале – раз, всё скинули, полегчало и встали у пюпитров. Раскачиваются: а снег идёт, и всё вокруг чего-то ждёт, лица вытягиваются, как для иконы, часа два поют. И потом обратно нащупывают в тусклых фонарях дорогу – кто мне любовь мою принёс, посмотрят вдруг вверх (ну не все двенадцать пусть, но некоторые) и подставят лицо снегу, отдохнуть у детского садика и дальше – с горки.

Вера говорит: «Вон у тебя песенник, Сафроновна. Давай споём чего-нибудь!» Я достаю с полки маленькую толстую книжку: от слова «Песенник» испуганно разлетаются белые голуби, красный фон. Вера надевает очки и, как семена, перебирает песни, пролистывает про Ленина, ищет что-то про любовь. Во дворе говорят (ведьма Настя, шёпотом), что муж, когда напивался, бил Веру, прямо в лицо, и мне страшно представить, как это Верино лицо, заинтересованное, в очках, меняется от испуга, как важная полная Вера бежит от него в другую комнату, а он догоняет её и бьёт по мягкому лицу. «Давайте „Севастопольский вальс“», – предлагает Вера. «Хорошая песня», – соглашается бабушка. Как там? Вера нащупывает мотив: как там? как там? тихо плещет волна, тихо плещет, тихо плещет волна, ярко свеет луна. И дальше, чуть задыхаясь, перехватывая дыхание – севастиопольский вальс, золотые деньки, вдалеке маяки. Голос у Веры сиплый, шаткий, сердечная одышка, но Вера старается, тянет.

Бабушка спрашивает: «Вера, ты вторым голосом в хоре?» «Почему, – удивляется Вера, – первым». Дальше Вера радуется – вот это как раз разучивали. Не знаю прекраснее участи, судьбы не желаю иной, песня повсюду со мной, мы едем украсить обновками просторы степей и пустынь – Вера поёт громко, поднимает брови, как будто удивляется и страдает, но как заканчивает, лицо у Веры делается довольное и даже наевшееся, и она говорит, что женщина у них есть из Казахстана, Алла, вот она эту песню пела у себя в Казахстане. А вот эту знаешь, Сафроновна, «Под городом Горьким»?

Я иду ставить чайник. На Волге широкой, запеваёт Вера, на стрелке далёкой гудками кого-то зовёт пароход. В темноте зимней кухни тревожится газовый огонь под чайником: кого и куда зовёт далёкий пароход, гудит посреди огромной реки? Под городом Горьким,

где ясные зорьки, в рабочем посёлке подруга живёт, – Вера отправила голос вниз, но не вытерпела, споткнулась кашлем и дальше засипела, но не сдаётся. И скажет: немало (вздых) я книжек читала (вздых), но нет ещё книжки про нашу любовь (кашель). Бабушка смотрит в стол, подперев голову, не подпевает. Ей тяжело от того, что Вера так задыхается и никак не перестанет петь, и даже самой как будто не хватает уже воздуха.

Вера лукаво улыбается:

– А я сейчас такую интересную книгу читаю, но мало, берегу глаза для шитья.

– А какую книгу? – спрашивает бабушка.

– Не скажу. Дочитаю – скажу.

Вера засиделась. У Веры совсем сел голос, так много она пела. А у бабушки даже голова разболелась, и как только Вера за дверь, бабушка говорит мне: «В следующий раз как придёт, надо песенник спрятать». Смеёмся. «Вот это первый голос!» Чашки, блюда, розетки – всё наконец уносим на кухню, ещё полчаса, и наша квартира забывает, что здесь сидела и пела Вера. Включаем телевизор. Но ещё несколько дней бабушка над раковиной напевала, без слов, только косточку песенки, заменяя Волгу, пароход на долгое на-нааааа-на-на-на-на. И пела, когда перебирала гречку, крупными внимательными глазами глядя через очки.

Веру мы стали звать *певица*. Она ещё какое-то время сияла, а на день советской армии муж снова запил, и Вера ходила тёмная, на дачу не звала, в гостях не бывала. В детской памяти много места, и вот я запомнил, как Вера зимним вечером вывернула мне навстречу из-за угла, то ли обречённо, то ли кокетливо наклонила голову к правому плечу.

– Здравствуйте.

– Здравствуй, Юрочка.

Поздоровались без восклицательных знаков и пошли дальше.

От воспоминаний о Веринем пении хотелось поглубже вдохнуть, как будто отбирают воздух. Слава богу, не ходит, радовались мы. Но слушать бабушкино пение мне нравилось, и я листал время от времени песенник и просил её спеть. Зачем, зачем я повстречала его на жизненном пути? – пела бабушка со значением. В этой песне чувствовался намёк на бабушкину старую любовь, на одиночество, на

несправедливость жизни: родила ребёнка без мужа, замуж так и не вышла, всё одна, всё сама, односпальная кровать, неразложенный диван. Казалось, бабушка допoeт и расскажет. Но бабушка проводила пальцем по старому шраму, и ничего не болело. «Давай ужинать», – говорила бабушка, закончив песню, и вставала с кресла, большая, спокойная, прожившая жизнь.

Верины песни вспомнились мне в поезде, когда я ехал в Киров к бабушке Саше. Ночной поезд, отскучав на вокзале в Нижнем Новгороде двадцать минут, потянулся дальше. Мне не спалось, я смотрел в окно. Вагон дешёвый и неудобный даже для языка – плацкартный. Слышно, как кто-то проснулся: «Где мы?» – «Да, только Горький проехали». Поверх Нижнего проступила горчинка, и я вспомнил, как однажды зимой Вера пела нам с бабушкой: под городом Горьким что-то там зовёт пароход. Тёмный город, вдоль железной дороги слабенько катилась улица с каким-нибудь, наверное, названием. По ней ехал маленький автобус, силуэты людей висели на поручнях. Я случайно подсмотрел чужую жизнь: в автобусе юноша, как я, какая-то женщина, ещё кто-то толстый. Мы долгие секунды ехали параллельно, и я удерживал глазами лицо юноши, и не хотелось его отпускать. Но автобус, вдруг задохнувшись, отстал, за окнами выскочил пустырь, тёмный завод, поезд бросился на мост над рекой и застучал громче колёсами. Волга чернела под нами, фонарики показывали прямоугольник спящей баржи. Вот тут и звал кого-то куда-то пароход, сипло, с одышкой. И казалось, что Вера, которую иногда бил муж, когда-то видела эту реку, во всём этом разобралась и всё это понимала.

Ундевит

Маша умирала долго и кропотливо. Посмотреть бы назад и найти – когда это началось. Но не находится. Затошнило, устала, а кто не устаёт после птицефабрики, если зима и служебный автобус высаживает на повороте, и нужно потом идти две остановки по узенькой оступающей тропинке, в пальто, с субпродуктами (желудочки, сердечки) в руках, а потом ещё у плиты. Да что тут говорить, уставали все. «Я пью ундевит, – сказала Галя-птичница. – И ты знаешь, лучше». У Гали золотые зубы полным рядом, работающий тихий муж, недавно купили что-то большое (видеомагнитофон?), хотелось быть как Галя, и Маша пошла в аптеку: «Дайте ундевит». Ну дали.

Маша вообще была сильная, крупноколенная женщина. Молодая, всего сорок девять лет (говорила бабушка), химическая завивка, проходила мимо улыбаясь и с гордостью, что такая она, по большому счёту, устроенная, аккуратная, порядочная. Сидела на лавочке всего пару раз: муж поднимал плитку для ванной, а она сторожила и, может быть, ключи забыла как-то. И всем она нравилась. С начала апреля все выходные Маша проводила в деревне: нужно открывать, что было закрыто на зиму, копать грядки, мыть не прогретый ещё дом, комнаты забыли всех после зимы. Но Маша не боялась ни холода, ни сырости, а смотрела через окна на грязную весеннюю землю, ставила чайник на электрическую плитку, разогревала на сковородке куриную печень с луком, важные толстые сардельки с макаронами, и зима отступала от Маши. В отпуск она тоже уезжала в деревню и там красила дом, полола, полола, рыхлила, окучивала, купалась в прудах, заходила в воду по-детски, смеясь и съёжившись, – так многие становятся снова детьми, когда входят в холодную воду. И плыла, стесняясь, не повзрослев, скромно раздвигала прохладу руками. И вот она успела посадить рассаду, в апреле ещё пыталась за ней ухаживать, но потом перестала поливать. И когда она перестала, сделалось очень страшно и мужу, и дочерям, все стали тихо, стараясь не скрипеть полами, ходить по квартире, как будто боялись спугнуть что-то.

До Машиных метастазов (во дворе знали, что в желудке, в костях и в лёгких) её домашние ходили быстро и по делам, ничем не

отличались от остальных. А на фоне умирающей Маши и муж, и две дочки пошли иначе – по насыпи, увязая. В очереди в сберкассе или в магазине они оказывались выше прочих – гипсовые увеличенные люди, вот-вот треснут под тяжестью новообразований. Муж у Маши недавно устроился водителем на коммерческие автобусы в Москву, то есть не по расписанию и по билетам, а как наполнится, так и (грубым голосом) поедет, в дороге включали на чёрно-белом подвесном телевизоре двухсерийные советские фильмы, в самом начале первой серии проезжали поворот на Машину птицефабрику. Муж был молчаливый, с упрямым сухим лицом, здоровался кивком или подрезанным *здрасьте*, курил и плевался. Дочь Олю уже несколько лет для строгости звали Ольга, хотя в детстве была, конечно, Олюшка, Оля, но выросла комом – тройки, яркая помада, сигареты, пиво с друзьями, то есть Ольга. Была ещё младшая, донашивающая одежду девочка, остренькое имя Викуля, дошкольные шесть лет, с охотой помогала матери на огороде. Ольга тяпала медленно, скучала, чем стоять кверху задом легче купить, а ты сперва заработай, ну вот колледж брошу, пойду на рынок и заработаю, крики, даже слёзы. Только к вечеру, когда Маша ставила жариться картошку (и туда обязательно луку и почему-то моркови, вовремя закрыть крышкой) и огород отдыхал за окном, Маша смягчалась и говорила над тарелками, что им на работу приносили тени и не надо ли Ольге тени, и Ольга сразу веселела, потому что была рада, что на неё больше не сердятся. В общем, была Маша доброй, белым фланелевым пятном ходила ночью по тёмному дому, если у детей грипп, разгадывала кроссворды (всегда не до конца), взяла у женщины с работы книгу Даниэлы Стил и читала целое лето, скучая в библиотечной позе. Но заболела так, будто и не заслужила ничего хорошего.

Рак – речной, членистоногий, медленно ползущий по дну, усы – от этого я не мог отделаться, хоть и знал, что рак одновременно и то и другое, как ключ, лук, норка. Но сразу же после *заболела раком* появлялись клешни, вредная медлительность. Я не помню даже, какой орган, но бабушка говорила, что люди сгорают как свечи. Маша ещё успела посадить, но дальше легла, под самым небом – на пятом этаже. Рвота открылась страшная, говорила Вера-певица намекающим голосом. Когда Маша выходила к подъезду (в начале мая она ещё могла) посидеть на лавочке, все женщины из уважения к Маше

старались не смотреть на неё, умирающую, только если мельком: на голове косынка, колени спрятались и не блестели, вообще похудела вдвое, потерялась в одежде, халаты и платья не ушивали, словно боялись признать, а новые не покупали, потому что всё-таки было уже очевидно. Я не жалел Машу, у неё под косынкой мне мерещились бигуди – кудри завьются, Маша наденет праздничное и выйдет к столу. Женщины на лавке разговаривали с Машей как с ребёнком, которого решили отвлечь и обмануть – бодро и о телевизоре: смотрели вчера «Поле чудес»? Вера-певица раньше советовалась с Машей об огородной жизни и даже соревновалась: посадили уже? чем удобряли? сколько банок? Но сейчас молчала об этом, было неловко от того, что она победила. Лидиякольна не выдерживала и иногда спрашивала: «Что говорят-то хоть, Маша?» И тогда охотно ругали врачей, замысел Машиной глупой смерти приоткрывался: врачи недоглядели! Не послали на анализы, не предупредили вовремя, не назначили процедуру, мерзавцы, сволочи, а Кравцова-то сидит разодетая, как в прогнозе погоды, только на свои ногти смотрит, так не повезло с участковым терапевтом, не зря от неё муж ушёл, да ведь он не ушёл, его убили в машине, он таксистом подрабатывал, ой, а я и не знала, только вижу – кольцо сняла, а это мне по секрету сказала Катя, которая медсестрой у лора. У Лидиякольны у самой был рак почки, но прошёл, и она бегала в сад по тоненькому брусочку и обещала этим надежду, хоть и характер дурной, хоть и чёрные усики над губой, но преодолела. И Маша еле-еле тянула надежду на пятый свой этаж, ломило в груди, отмирали звуки двора, дома тихо, и муж молчит и как будто ждёт, и пустые банки после зимы, которые раньше вывезли бы в деревню. Маша ложилась в кровать, поближе к краю, и хотелось верить в Лидиякольну.

Летом (рассаду кое-как высадили и почти не ездили поливать) Маша пропала с лавочки, и все знали, что она там лежит наверху, и не хотели думать о ней. Но всё-таки не могли совсем не думать, если кто-то засмеётся, а тут идёт Машина Ольга, или если выбивать половики во дворе и взглянуть на Машины чёрные окна. Казалось, Маша осуждает нас за смех, за стук выбивалки, за наше самоуверенное желание прибраться, ведь ей уже всё равно.

– А жива ли у Маши мама? – испугалась Галина Андреевна. Но её успокоили: нет, нет, лет пять как умерла, Маша тогда конфетами

угощала. И Галина Андреевна облегченно вздохнула: ну слава богу. Про отца Машиного не спрашивали, мужчинам это легче как-то.

Маше всё вспоминалась большая прошлогодняя стирка на пруду. Огромные Машины тряпки, в воде потемневшие, помудревшие – скатерть, покрывало, накидки на кресла. Сентябрь, но скопилось не растратенное за лето тепло, у воды, особенно за работой, жарко, и Маша забралась по колено, и мылила, и полоскала. И чистое, вымытое счастье, какое бывает от уборки после длинного деревенского лета. Теперь можно закрывать дом до следующей весны и пережить скучный учебный год, домашние задания, зимние сапоги (у Маши высокий неудобный подъём, полные икры). Маше обидно было за свою надежду на урожай, больно было думать про семена и подготовленные грядки (кому это всё?) и что где-то сейчас Галя с золотыми зубами просто ест «Ундевит» и останется жить, а Машу обманули, выставили душой. И постоянно (почти в бреду) нащупывался в прошлом, под подкладкой, на каком-то семейном празднике Машин глупый смех, связанный с песней Аллы Пугачёвой, и почему-то казалось, что именно тогда всё и пошло не так, что зря она тогда смеялась.

Ну сколько она, если вдуматься, покопалась, пособирала ягод, поопаздывала на работу, подогоняла автобус? Сколько она похлопотала над грядками, понасолила грибов, понагладила пододеяльников – на это-то зачем тратила время? Все пальто Машины за жизнь можно сосчитать, и получится четыре. Одна меховая шапка, хранила с польнью, мех ещё свежий, а уже пора, строго позвали.

А отчего бывает рак? – спросил я бабушку. Бабушка, конечно, не знала, но боялась. Мариупольские родственники стояли за плечами: брат Илья с саркомой кости, сестра Вера. Ну Илья хотя бы старый был, и давно его разлюбила бабушка, а вот сестра Вера, Верочка... Молчащим многоточием переживает бабушка, но я не понимаю: и что, умерла? Конечно, умерла. Ведь какие глупые были – мылись с Федей стиральным порошком. В сад выносили тазы и под виноградной лозой, под черешней мылись стиральным порошком, и радовались, что пенится лучше всякого мыла. И мягкий свет, и тени листьев. Кто знает – может, из-за порошка и лежит Вера в земле уже сколько лет. А мне (наверное, потому что Вера из Мариуполя) представлялись какие-то

поля у моря, в которых бродит Вера, без лица (не помню её фотографий), но высокая, грустная, как лошадь.

Осенью про Машу почти не вспоминали. Лидиякольна только сказала, что совсем тяжело. Вывернуло, выкрутило, пережало Машу, и Маша потела, как будто сильно старалась. Каждый день приходила медсестра делать уколы. Однажды я встретил её в подъезде и от неожиданности поздоровался, а потом посмотрел в окно, как она между девятиэтажками идёт, в обычной курточке с капюшоном, хоть и видела пять минут назад то, что с Машей. А в декабре, в десятых где-то числа, когда о празднике ещё не думается, а просто темно и холодно, Маша умерла, будто кто-то в соседней комнате выключил гудящее радио. Её смерть стала неожиданностью, люди удивлялись. Конечно, была совсем плоха, на волоске висела, в шаге стояла, а всё-таки внезапно умерла.

Крышку гроба поставили у двери в подъезд: красная ткань, чёрный крест с дополнительными перекладинами, к которым я не привык, под крест прикололи Машину фотографию, чёрно-белую, серьёзную. Казалось, Маша на этой фотографии знает, что умрёт. Крышка днём стояла и напоминала, что в этом подъезде, если подняться на пятый этаж, плачут. На ночь крышку гроба занесли в подъезд, спрятали Машу от мороза, от ветра, а утром Маша снова серьёзно смотрела чёрно-белыми глазами на двор, на перекладины для выбивания половиков, на всех нас. Бабушка без страха долго разглядывала Машу. Конечно, так болела, сказала бабушка, отмучилась.

Вечером накануне похорон я спустился за кошкой Зиной. Она ушла днём, и мне было страшно, что она не вернётся ночевать. После лестницы – тёмный коридорчик между двумя дверями, в который я впускаю свет, и он ложится на строгий Машин взгляд. Когда дверь за мной закрывается, мы с Машей оказываемся в темноте, пахнет деревом Машиного гроба. Я открываю щёлочку на улицу (мороз хватает мои колени) и громко шепчу: *Зина, Зина!* Маша злится на меня, что я не здоровался с ней, когда проходил мимо с бабушкой *Зинка! Зинка!* что она умерла, а я всё равно включил проигрыватель и слушал мелодии и ритмы зарубежной эстрады *Зинказинказинка!* и танцевал на втором этаже под её трупом. *Зинка!* – закричал я в полный голос. В снежной жёлтой воронке под фонарями мелькнуло чёрное, и у

меня в ногах появилась Зина. Я поднял её на руки, холодная шерсть, холодные лапки, и мы торжествуя побежали от Маши.

В день похорон мы с бабушкой вышли пораньше, чтобы не столкнуться с гробом в подъезде. У лавочки уже стояли приготовленные для Маши табуретки. До выноса (это слово употреблялось само по себе, но бабушка объяснила: тела, Маши) оставалось полчаса, и мы решили дойти до леса. Я гулял как обычно, а бабушка печально. Когда мы завернули обратно во двор, у подъезда уже было много людей, разноцветные шапки, норковые воротники, женщины с работы, по дороге разбросаны еловые ветки. Лидиякольна, Вера-певица, ведьма Настя, Галина Андреевна стояли на отдалении, пропуская вперёд тех, кто страдал сильнее, у каждой на лице – несправедливая арифметика и осуждение врачей. Мы с бабушкой подошли к Вере, и Вера сказала, что она уже успела сбегать за молоком и на повороте там очень скользко.

Машу вынесли в открытом гробу, спускали с пятого этажа с трудом, и мужики (два с работы и два пьющих соседа) выглядели тактичными и перепуганными. Следом вышли родственники со скомканными лицами, но мы отвели взгляд. Бабушка поправила шапку, стряхнула снежинки с плеч, вспомнила мариупольские похороны. Люди наклонялись к Маше – она беззащитно лежала в платье, худая, жёлтая, с белым шарфом на костистой голове, и по инерции казалось, что Маше холодно, но снег падал на её руки, на лицо и не таял. Священник с большим красным лбом и белой бородой хмуро читал над Машей молитву, Вера-певица подхватывала иногда *Господи, помилуй*. Машу подняли те же мужики, обнажив табуретки с ярко-зелёными сиденьями, о которых все уже забыли и теперь удивились. Машу как в лодке проносили, и лодка накренилась, качалась на волнах уставших рук.

Мы сели в автобус, который дала Маше птицефабрика, и поехали на кладбище. Я редко ездил на автобусе, мне нравилось сидеть у окна и смотреть: белое, раскатанное рулоном поле бежало к сереньким деревьям вдалеке, чтобы там загрузить, обелиск павшим воинам, насупившись, ждал в снегу девятого мая, частный разноцветный сектор, симметричные улицы с буквами *я б р*: Ноябрьская, Рябиновая. Электрические вышки на повороте к кладбищу стояли густо и за забором, как яблони во фруктовом саду. Мне хотелось ехать подольше

и совсем не думалось о Маше, которую везли впереди. На кладбище было холодно, и всё по-зимнему непривычно: обычно я оказывался на кладбище во время летних каникул в Кирове, памятники выглядывали из зелени, даже весело, если на солнце, и бархатцы, особенно красные, с обожжёнными краешками лепестков. Я минут десять постоял возле Раисы Ивановны, крупной серьёзной женщины, фамилия в снегу, которая умерла (вычитание) три года назад в сентябре, стал замерзать, и бабушка послала меня в автобус, чтобы я грелся. В автобусе водитель слушал радио, некоторые песни мне нравились, ай эм ё лейдиини. Я через морозный иней на стекле смотрел, как густели тёмные пальто. Бабушка, простившаяся, румяная, вошла в автобус первой и села рядом со мной. Я проверил её часы: мультфильмы в четыре, а сейчас половина первого. Бабушка долго вытирала носовым платком руку, испачканную землёй.

Оказалось, что мы едем не к дому, а на поминки в столовую. Столовая была на перекрёстке с Московским шоссе, на вывеске написано красивым почерком с большой буквы – *Столовая*, от я отходит в сторону Москвы хвостик, желаящий предложения. В зале вдоль окна – подготовленный длинный стол, ходят угрюмые (но не по случаю, а просто так) официантки. Мы разделись, хоть и не готовились показывать свои домашние штопаные кофты, тёплые халаты (у Галины Андреевны даже без пуговицы на груди, и она прикрывалась шарфиком), вежливо сели с края. Бабушка пахнет шкафом, Лидиякольна – мазью Вишневского. Во главе стола упрямылся Машин муж, рядом Ольга и какая-то ещё женщина (сестра из Кольчугина, сказала Вера-певица). Младшую девочку оставили у знакомых, и она, наверное, во что-то сейчас играла. Ненадёжно опершись спиной о вазу, стояла фотография Маши с крышки гроба, но тут уже её строгий взгляд был не заметен: от меня её загораживали бутылки. Вокруг мёд в блюдцах, блины, нарезанная ветчина, селёдка с луком – всё это победило Машу, завтракали давно. К бабушке под села толстая женщина, представилась Зоей с птицефабрики. Все тихо и с уважением к Маше двигали вилками. Зоя встала первая, с рюмкой, улыбаясь: «Я хочу сказать как коллега». И она упрашивающим голосом вспоминала Машу: всегда готова была помочь, всегда весёлая, всегда шутила, всегда подтянутая и бодрая, любящая жена, нежная мать. И все слушали, стараясь не жевать, и зарыдала Ольга, но даже сквозь

слёзы не узнавала Машу в этих словах, казалось, что Зоя что-то перепутала, соврала. Зоя выпила ещё водки, покраснелась, стала хвалить блины, рассказала бабушке, как она ахнула, когда увидела похудевшую Машу в гробу. Речей после Зои не произносили, тихонько переговаривались, в том числе о Маше. Ведьма Настя сказала, что вчера даже всплакнула (равнодушные приставка и суффикс). Бабушка засобиравалась домой, тут же поднялась Лидиякольна, которая давно хотела пойти, но стеснялась одна. «Земля чтобы была пухом Маше», – произнесла Лидиякольна через стол – как бы обращая это мужу и Ольге, но не глядя на них, и кто-то закивал, попросили передать сыр. Пока мы шли через рынок, мимо поссовета, бабушка с Лидиякольной обсуждали толстую Зою и как быстро она окривела. Лидиякольна свернула в магазин, кефиру и маргарину бы, она хочет испечь коржики, такие, знаете, маргарин, два стакана муки, сахар, вилочкой ткнуть. Знаю, да, сказала бабушка. Ну вот испеку, попрощалась с нами Лидиякольна, но успела только до голубых елей дойти у входа в магазин и вдруг опомнилась, обернулась: «Галина Сафроновна, вот жизнь...» Бабушка согласилась: «И не говорите...»

От Маши осталось вот что: когда уже вытянулись месяцы после Машиной смерти, когда бодро побежали годы, всё равно вдруг – намылишь голову, свесишься смывать – господи, умерла мама, и Ольге делается больно в особом месте в горле. Или попадётся старый вагон в электричке с деревянными лакированными сиденьями – через это попросится Маша. А ещё: фасон платья, берет, чужая осанка или старая фотография. И муж Машин по дороге в Москву всегда замечал, как со страданием уходит дорога в сторону птицефабрики, мучается ямами. Но это, наверное, так первый год, потом он перестал работать на междугороднем автобусе. А Викуле, в её-то шесть, почти ничего не досталось: на кухне против солнца с чем-то в руках – водяной знак мамы. Голос Машин постепенно забылся, кроме, может быть, того, как она звала с огорода детей, громко и резко, словно надеясь, что это запомнится, и кроме особенно выразительного смеха на каком-то семейном празднике. Но невозможно уже представить себе, как она говорила: *Чай будем пить? Передай чёрного хлеба. В среду была у врача.*

До мультфильмов час, можно не торопиться. Тополя отмеряли дорогу, вот ещё четыре, и постоим. И постояли. Снег был мягкий, не

мешал, а только делал лучше. Я хотел подойти к ёлке у сберкассы, чтобы проверить, не украсили ли. Бабушка отпустила меня одного, а сама оперлась о палку, смотрела в поле за дорогой и думала. Ёлку к сберкассе привезли вчера, она стояла ещё по-лесному, без лампочек, чем-то (тогда я не понял чем) напоминала Машу. Я побежал обратно к бабушке, во мне поднялась радость, что дома есть компот из сухофруктов, много всего интересного в программе телепередач («Флинстоуны», «Форт Боярд»), скоро Новый год. У нас во дворе валялись похоронные ветки (теперь понял), слегка исправленные снегом, я обходил их, потому что кто-то рассказал мне о примете: если наступишь на похоронные ёлки, скоро умрёшь. «Бабушка, не наступай на ветки!» – сказал я. Но бабушка не услышала или не обратила внимания и шла прямо по веткам, не перешагивая. *Зиннаа! Зинка!* – позвал я. Мы подождали, но кошка не пришла. «Пойдём, Юрочка, а то холодно», – сказала бабушка и пошла к подъезду. Снег лежал на отворотах её пальто, на шапке и не таял.

Приход

Капа пришла к Богу прямо из бухгалтерии. Бог был тогда далёким и неприступным, как Ален Делон на кухонной двери, мы боялись его и не знали, с каким лицом к нему подступиться. А Капа, кроткая, тихая, будто дождик моросит, Капа не испугалась.

Пока Капа работала в бухгалтерии, её недолюбливали: хна, вечно подкрашенные губки, лакированная сумочка. Но потом её сократили, как-то особенно кроваво – прямо в день рождения, что ли. Во дворе ей посочувствовали, потому что на руках у Капы старая, очень седая, очень глухая мать и сын, странненький, разговорчивый, который иногда так кричит на третьем этаже, что на улице слышно. Потом Капа как-то пропала, перестала бегать водомеркой на работу и обратно, и никто не заметил, в какой момент Капа стала верующей. Косыночка или шарфик на голове не насторожили – ну мало ли, не помыла голову. Ситцевое платье не удивило – ну мало ли, нет теперь денег или ходила на картофельный участок. Перестала красить губы – тоже понятно: для кого их красить, для продавщицы в магазине? Капа, если встретить её во дворе, шла и немного наклоняла голову вбок, будто не хотела, чтобы ветер надул в правое ухо. Но это было в ней всегда – кокетливый наклон головы. А что она улыбается, тоже можно понять: хорошая погода, сын закончил девятый класс и поступил в школу милиции, а это тут, недалеко, даже ехать на автобусе не надо. Тамара собирала деньги на Машины похороны, заглянула к Капе и поразилась: Капа перестала краситься и завязала волосы в узелок. Тамара спросила: «Больше не красишься, Капа?» И потом пересказывала ответ: «Богу мы нравимся любыми!» Лена сказала: «Ой, я всё-таки покрашусь, а то стыдно богу на глаза показываться». Все смеялись. Но однажды Галина Андреевна встретила Капину седую, глухую мать у машины с молоком и прокричала ей: «Не устроилась Капа на работу? Молодая ведь ещё». А Капина мать не поняла сразу и морщинами сосредоточила лицо, а когда Галина Андреевна прокричала снова, просветлела, разгладилась, потому что подцепила слова, дослышала и ответила: «Да она в церкву сейчас ходит каждый день». И тогда всё сошлось: и платочек, и платье, и верующий наклон головы. «Когда только успела!» – удивлялась на лавочке Галина Андреевна.

Осенью в больнице, над отделением неврологии, под самым небом, открыли церковь. Врачи лечили молча и зло, мест в больнице не хватало, а если удавалось прорваться, нужно было принести свои бинты, шприцы, капельницы и лежать тихо, не спрашивать, выживешь ли ты, пройдут ли шумы, спадёт ли отёчность. Лет-то вам сколько? Чего же вы хотите? Церковь во всём этом пришлась кстати. Туда поднимались сразу после регистратуры поставить свечку. Из стационара приходили на службу. Перед операцией подолгу молились, даже исповедовались, и делалось не так страшно. И вот оказалось, что Капа прислуживает в этой церкви: моет полы, чистит подсвечники, продаёт молитвенники, иконки-календарики, свечи разной длины и ширины, и если покупают обоим родителям, то советует взять подороже.

Бог спал высоко над красной звездой и вдруг заметил работников социалистического труда. И чтобы нас, грешников из пятого дома по улице Михалькова и некоторых из четвёртого, привести в царствие небесное (или это уже после смерти? мы путались), Бог приложился к Капе губами и отправил к нам во двор посланницей. Уволили Капу в феврале, а к следующей зиме у Капы стало блестящее личико, прикрепленное к кроткому драповому телу, из воротника прямо свет поднимался.

Первая пришла к Капе Евдокия. Ей каждую пасхальную весну вспоминалось её детство, двадцать второго года рождения. В тёмном углу Евдокииной (длинной, пятисложной) памяти пахло этим жёлтым, густым, тягучим, потому что её мама тайно праздновала Пасху. Отец был против, произносил какие-то речи, а мама всё равно за занавеской ставила свои тоненькие свечи, которые вкусно так пахли, красила всем детям и себе – по яичку, и Евдокия любила этот сговор против отца, который кричал и ругался, особенно если приходил с пьяным злым лицом. И Евдокия подумала, что неплохо бы теперь, когда можно стало, креститься – против старой вредной воли отца и ради встречи с мамой.

– Капа, крестят ли у вас в церкви? – спросила Евдокия.

– Меня саму только летом крестил отец Андрей, – сказала Капа и заулыбалась, будто достала из внутреннего кармана припрятанную красивую вещицу.

Некоторые ездили в церковь в город, отстаивали службы, святили яйца и куличи. Но это, считалось у нас во дворе, для молодых: ехать долго, транспорт ходит плохо, толкнут в автобусе – и всё. Поэтому в основном женщины в нашем дворе были вдали от Бога, хотя им он пригодился бы, особенно после Машиной онкологии. Ведь у самих тоже болячки не из простых: у Лидиякольной одна почка, у Тамары сердце, у Алевтины вообще инфаркт, у Зинаиды эпилепсия. У Солдатовых погиб на стройке школы Митенька, у Тимофеевых умер от лейкемии Сашенька, у сына Малашина взорвался аккумулятор в руках, и он почти ослеп, видит только свет и тьму. За здоровье, за упокой, за счастье – куда пойти поставить свечку?

И вот теперь в больнице открыли церковь. Евдокия покрестилась и осталась очень довольна. Выбрала крестик, но на лавочке показать отказалась: «Крест для бога, а не для показа». Потом, конечно, показала всем: «Просто при Насте не хотелось, сглазит ведь». За Евдокией в церковь ходила Алевтина, и ей Капа сказала, чтобы она не всю службу стояла, а присела на лавочке, потому что Богу и так хорошо, главное, что Алевтина пришла. Зинаиде (в одном подъезде) Капа принесла просвирку и объяснила: «Завтра натошак ешьте, сперва Божья пища!» И улыбнулась. И Зинаида поняла её намёк: натошак лучше подействует. Съела и сказала: «Господи, прости!» Но до весны решила в церковь не ходить: скользко, упаришься в пальто. Сходила как-то Тамара, ходила Вера, Тоня Тимофеева поставила свечку. Кочетковы крестили трёхмесячную Иринку, и она почти не плакала.

Если не идёте в церковь, читайте молитву дома, учила Капа. Вера собирала вырезки из «Комсомольской правды» и зачитывала их с выражением. Особенно ценились молитвы покороче, память уже не та. «Сначала *святой Боже*, – учила Вера Трисвятое, отсчитывая кивком головы, – потом *святой крепкий*, потом *святой бессмертный*, и наконец – *помилуй нас!*» Вера довольно хлопала по коленям: запомнила. «И перекреститься», – передавала Вера совет газеты. И крестилась, делая обречённое лицо: все под богом ходим. Алевтина купила на овощном рынке книжицу «Молитвы для огорода», и оттуда все полюбили на хорошую погоду, на урожай и от воров. *Иди вор-враг не в дом, а в овраг* (перекрестить замок три раза). Тамара выучила длинную молитву к Пресвятой Троице, читала как фокус, хотела без

ошибок, но сбивалась. В конце просила: *«Святой дух, посети и исцели немощи наши имени твоего ради».*

Капа много рассказывала про батюшку: что и кому сказал, что посоветовал, как посмотрел. Отец Андрей был молодой, не слишком бородатый священник небольшого роста, крепкий, ходил энергично. Это как-то не подходило Богу, что отец Андрей вечно бежит куда-то, но дел, улыбалась Капа, очень много: «Всякую ведь минуту кто-то рождается, кто-то умирает, а некоторые хотят освятить машину или квартиру». Женщины закивали и подумали, что сейчас вот кто-то умер. Говорил отец Андрей низко и неожиданно мягко, будто знал что-то, но не хотел огорчать. Капа рассказала по секрету, что отец Андрей планирует жениться. «А им можно, что ли?» – удивилась Вера, по телевизору тогда показывали «Поющих в терновнике». Решили, что нашим можно, а за границей нельзя. Невестой была молоденькая девушка – то ли сама она Фая, то ли мать у неё Фая. «Так что у нас скоро будет матушка», – радовалась Капа. Алевтина сходила к отцу Андрею на исповедь, пересказывала со всеми таинствами. Взял за руку и говорит: „Не держи зла на невестку, это большой грех“. А когда батюшка читал по заупокойному списку и доходил до Александра, всегда смотрел на Антонину, потому что знал, что это её, её Сашенька, и она всё скорбит, всё плачет о нём по ночам или вдруг в гастрономе.

(В скобках сидит Галина Андреевна, нога на ногу, крепкие икры бывшей железнодорожницы, стрелочницы, несгибаемой атеистки. И за последним вздохом Галины Андреевны – тишина и тьма, нет ни облаков, ни лёгкого дуновения от ангельских крыл, ни ада, ни рая. Галина Андреевна завещала сыну кремировать её. Вера даже испугалась и зажмурилась, когда узнала, что Галина Андреевна будет так сильно гореть. «А чем лучше червей кормить?» – спросила Галина Андреевна, синий берет, очки с зелёными стёклами от катаракты, начало яркой слепящей весны. «Андреевна, ты прямо Штирлиц», – сказала ей Тамара. Все засмеялись, а Галина Андреевна рукой только махнула.)

Пасха выпала на первое мая, поэтому чувствовалась общая, немного красноватая торжественность. Многие напекли куличи, наварили яиц в луковой шелухе и обменивались. Радоваться Христу женщины не умели, но привыкли возлагать, и пасхальным утром (погода почти летняя – плюс шестнадцать, солнечно, голуби в клювах

тянут шарики, предчувствуется День Победы) собрались на кладбище. Христос-то воскрес, а, Митенька? Сашенька? Николай Петрович? Вы тут? Возвращались заплаканные, торжественные и смирившиеся. Все там будем, вместе с Сашенькой. Воистину, воистину.

Но на бабушкиных глазах Пасха споткнулась, и из неё посыпались ах, пах, страх, и никуда мы не поехали, и не пекли куличей, а только несложно покрасили яйца. Бабушка так хохотала в Страстную пятницу первого мая пятьдесят девятого года! Май, мир, труд, на заводе был праздник, и она танцевала с кем-то, уже не вспомнить имени, молодая, незамужняя, про сына Володю не рассказала. Это было неважно, ведь речка движется и не движется. А Володя с ребятами откопал немецкий снаряд за домами у Клязьмы. Пока бабушка танцевала, он тащил снаряд к костру. И посреди мира, труда, Страстной пятницы рвануло. И кровавый её мальчик лежал в белых простынях больницы Красного Креста, и она хотела бы умереть вместо него, если бы могла. Но Володя не умер, бабушка не умерла, никого не спросили, кому умереть. Витьку сразу насмерть, а Людкин Слава и её Володя получили осколками. Ноги пострадали больше всего. Осколок в кости, говорил врач. «Нашли, когда куражиться, – шипела тётка Валя, бабушкина старшая сестра. – В Страстную пятницу! Христос мёртвый, а ты песни поёшь!» Да откуда же она знала, обижалась бабушка, Пасха же третьего только. «Вот третьего бы и пела, когда воскрес уже!» И бабушка неделями обтирала раны и ссадины на ногах сына своего, плакала о нём и отпевала его как могла, песнями своей мамы, пока он наконец не начал улыбаться. В школу пошёл на год позже. Бабушка испугалась Пасхи на всю жизнь.

А на День Победы иронично похолодало – плюс пять, ночью минус один. Всех куличей не съели, Вере пришлось пересушивать на сухари, Тамара покрошила голубям, воробьёв отгоняла: они наглые, клевали Христа. Наша школа озябшим парадом пошла к обелиску по перекрытому Московскому шоссе. Там учительница химии, которая была депутатом, произносила праздничную речь, привычно, химически картавя: хлог, углегод, кислогод, пагад, подвиг нагода. Динамики хрипели, ветер вырывал слова, начинался дождь. Торжество закончилось быстро, люди оставили у обелиска нарциссы, а кое-кто и крашенные яйца – пусть солдатики покушают. Запустили накопившееся движение, толпа боковыми улочками через частный сектор стала

возвращаться. Я выделился из толпы, свернул к пруду за старшекласниками, после рынка прошёл почти один (только девочки какие-то сзади смеялись) через школьный двор, наконец совсем один пробежал через гаражи и пришёл к бабушке. Бабушка открыла дверь, а сама плачет: совсем нога разболелась, ну что же это за наказание, хоть отрубай.

Левое колено, отложение солей – главное событие бабушкиной старости. «Откуда это берётся?» – бабушка, успокоившись, гладила блестящую, моложавую в общем-то коленку. Она так легко бегала и плавала всегда быстрее сестёр. И какой была душой: надевала маленькие часики на правую руку и шла по краю воды, немного хромя. Ей казалось, что это так красиво – хромять. Высокая, волос много, и при этом слегка хромяет, словно какую тайну несёт. И часики ещё. И вот как заканчивается жизнь – хромотой и капустным листом на коленке.

Капустный лист не помогал. И лопух. И йодовая сетка. И ревень с солью. И нашатырь с подорожником. Хирург назначил укол, но бабушка пока не решилась. А утром следующего дня, вторник, десятого мая, бабушка после магазина на палку повесила сумку с молоком и отдыхала, прежде чем перейти дорогу. И тут – подосланная Капа. Отдыхаете, Галина Сафроновна? И головку вбок, и улыбнулась. Совсем, говорит бабушка, отказывает нога, чего только не перепробовала, какие только настойки не делала. А вы Бога попросите о помощи, говорит Капа, без молитвы настойки не берут. Приходите, Галина Сафроновна, в церковь. А бабушке неудобно: ведь за всю жизнь не сходила, а теперь вдруг явится, и Бог скажет ей, что уже поздно, приёма нет и раньше надо было думать. «Да только бога гневить...» – засмушалась бабушка. Ну что вы, улыбалась Капа, Бог не такой, он прощает всех и принимает неверных, к Богу никогда не поздно прийти. И детей возьмите, пусть тоже помолятся за вас. И бабушка решилась, наметила на воскресенье – пятнадцатое, Галине Андреевне решила не говорить.

В ночь на воскресенье снова случились заморозки, и хоть утром появилось солнце, но было заметно, что ночью стоял мороз, земля лежала скованная, мокрая, как после слёз. В больничном дворе мы встретились с моим другом Игорем и пошли втроём просить бога о бабушкином артрите. Вход в церковь пометили крестом и объявлением

о службах. Раньше в этот подъезд входили, чтобы сдать анализы крови, а теперь на анализы нужно было идти через регистратуру. Церковь располагалась на последнем, четвёртом, этаже, над неврологией. На лестнице мы встретили несколько больных в халатах, они медленно, болея, поднимались на службу. На третьем этаже бабушка задохнулась. «Как высоко забралась Капа», – сказала она и встала отдышаться. Мы открыли железную дверь и тут же испугались полной женщины на костылях, у которой из халата торчала только одна нога. Она стояла в одиночестве тяжело больного человека. «Диабет, наверное...» – грустно сказала бабушка и сняла с меня шапку. Мы прошли через маленькую яркую комнатку, где продавались книги и свечи, и оказались в большом полутёмном помещении, сразу же увидели Капу: она суетилась, улыбалась, расставляла людей и выглядела именинницей, длинный шарфик был повязан вокруг её головы, но не покрывал, а показывал, как секрет, седую Капину сердцевину. Помещение было тщательно замаскировано и, кажется, боялось разоблачения: плиточный пол покрыт половиками, на стенах несколько икон, перед которыми стояли подсвечники на длинной ножке, свечи горели, горбясь и капая. По задней стене тянулась лавка, над которой висели календари с иконами, открытки с храмами, в этом почему-то чувствовалась Капина рука. Капа взяла нас с Игорем за плечи и повела в первый ряд, на лучшие места, бабушка пошла следом, сдержанно, как при учителе, поздоровалась с Розой Гавриловной и Зинаидой. Зинаида кожаной кепкой и носом напоминала птицу. Стёкла здесь были толстыми, зелёными, больничными, почти не пропускали света, поэтому их не занавешивали, но в каждом проёме висели на цепочках лампы, в которых тихо страдало пламя. По центру потолка (Капа спросила: «Знаете, как называется?» Мы не знали) торжествовало паникадило, названием напоминающее мне польскую девушку из телевизионного фильма, лампочки, изображающие свечи, неярко тлели. Людей пришло много, стало тесно и жарко, Игорь хотел сказать мне что-то, но вдруг совсем рядом случилось движение: Капа нырнула и появилась впереди, сделала другое лицо и начала не своим, приподнятым голосом говорить непонятный текст, из которого проступали только некоторые как будто перепуганные слова: *тебе, тебе, слава богу земле уста твою твою слава*. Мы с Игорем удивились, бабушка смотрела на потолок с вежливым видом, а когда

Капа неожиданно понятно простонала *не остави меня господи боже мой*, кивнула. Казалось, Капа перебирает незнакомые слова, пробует их, откидывает, а те, которые все знают, подтягивает подольше: *утро утро слава слава тебе боже*. Потом она затянула какое-то известное, пружинящее в середине слово, но так тесно приставила его к предыдущему, что я не сразу сообразил *аллилуйа аллилуйа аллилуйа*. Люди дёрнулись и вслед за кем-то первым перекрестились. Перекрестились, опаздывая, и мы с Игорем. Бабушка держала перед собой руку со сложенными, как для щепотки соли, пальцами. Откуда-то быстро вышел, почти выскочил священник, похожий на небольшой шкаф, и стал энергично размахивать дымом на цыпочке, запахло вкусно, хотелось вдохнуть этот дым глубоко и не сразу отдавать обратно. Роза Гавриловна закашлялась. Священник говорил быстро, осуждающим басом, тут вообще было ничего не понять, но чувствовалось, что он нами недоволен. Игорь всё время оглядывался: ему хотелось посмотреть на женщину с одной ногой. Пока священник бубнил, я заметил, что рядом со мной старушка в пушистой кофте, надетой на халат, крестится всегда первая и поднимает волну. Теперь я следил за ней и, как только она начинала, тут же подхватывал. «Не в ту сторону!» – шепчет бабушка и показывает на Игоря. Игорь и правда делает слева направо, и я говорю ему: «В другую сторону!» «Чего?» – не понимает Игорь. «Крестись в другую сторону», – говорю я громче, но Роза Гавриловна с потным лицом (похолодало, и она в зимнем пальто пришла, а тут жарко) шикает на нас, чтобы мы не разговаривали. Бабушка стоит красная, блестящая, устала, Зинаида тоже осунулась, вытирается платочком, ждёт перемены. Внезапно женщина в кофте встаёт на колени. Бабушка с недоверием смотрит на неё, ведь артрит, обязательно ли это? Роза Гавриловна мнётся, не может решиться, но всё-таки опускается, а потом оборачивается ко мне и от какой-то вредности дёргает меня за штанину. Я встаю на колени, Зинаида сзади шепчет «Господи помилуй» и кряхтя тоже встаёт. Бабушка отводит взгляд, как будто не заметила, что кто-то встал на колени, а Игорь возвышается надо мной и крестится, давясь от смеха, – не в ту сторону.

После службы Капа выстраивает очередь к батюшке. Мы с Игорем переглядываемся: на исповедь. Накануне вечером мы долго сидели в тусклом подъезде и решали, что нужно рассказывать и

большой ли это грех. Наш друг Миша целовал Лузганову и возжелал её – вот это грех. У меня есть игральные карты, на которых голые мужчины и женщины, но совсем бесстыдные места у них загорожены бутончиками розы. У богатого одноклассника Шамеса мы с Игорем видели без бутончиков – такие, наверное, совсем страшно, а про мои можно и не говорить. Кроме того, мы воровали вкладыши у Колчанова, сквернословили, врали о том, куда пошли гулять, и оба скрываем даже друг от друга то, что было на прошлых летних каникулах. Игорь скрывает, что всё-таки выдумал, а на самом деле не видел, а я скрываю, что видел и что мне понравилось. И я не верю, что нужно рассказывать, как мы с Игорем однажды залезли в старую церковь, но об этом мы с ним не разговариваем. Очередь на исповедь оказывается очередью целовать икону. Я вздыхаю с облегчением, а Игорь брезгливо кривится. Капа целует для образца. Роза Гавриловна обливается потом и мокро целует Деву Марию в лицо, Зинаида дотрагивается до стекла носом, а губами не дотягивается, но стесняется дальше. Следующая – Лидиякольна с усиками над верхней губой, она готовит губы заранее и дотрагивается до плеча Девы Марии. Капа разворачивается к нам с Игорем и ждёт. «Давай ты», – шепчет Игорь. Я выбираю, как мне кажется, самое чистое место и целую прямо над головой маленького Иисуса, Игорь следом целует мои губы на стекле. Евдокия после Игоря целует воздух, и нам обидно: мы не знали, что так можно. Потом идёт бабушка и тоже целует воздух. Капа улыбается, белое праздничное лицо.

– Жара как в аду, – сказала бабушка на лестнице.

(Во вторых скобках мы с Мишей и Игорем сбежали на речку в Спасское. Митенька недавно погиб на стройке новой школы, и нас не пускали на любую глубину. А мы сбежали. Шли через лес, потом по полю и под дачным склоном решили купаться голыми, потому что не хотелось после купания идти в мокрых трусах, а плавок мы для маскировки не взяли. Из-за близости дач мы чувствовали себя особенно обнажёнными, все окна смотрели на нас, и мы поспешили в воду, чтобы спрятать голое. Тёмная вода волновалась внизу приятной прохладной тяжестью. Миша рассказывал про Машу Лузганову. Она разрешила расстегнуть, и он – дрожащими руками, а она поцеловала его. Вдруг пошёл дождь – сперва глупые крупные капли, а потом ливануло, и нашу одежду на берегу намочило. И мы, оттого что нас

обдурили и не удастся сохранить сухими не только трусы, но и футболки, шорты, стали смеяться, подпрыгивать, вылезать из реки и снова с разбегу прыгать туда. Граница воды пропала, и всюду мокро, и всюду весело, и уже не страшно показать наготу. Игорь напрыгивает на меня сзади, но его стаскивает Миша, бросает в воду, кричит: «Аста ла виста, бейби!» Игорь ложится на спину и удерживает себя над водой, как никто из нас, кроме него, не умеет. Дождь разбивается об Игоря, в его раскинувшейся позе есть что-то перезревшее, как будто лопнул и показал внутренность фрукт. Он переворачивается и ныряет, мелькнув попой, начинает вылезать из реки, а я хватаю его кольцом рук и тяну обратно, и под моими руками скользкое, с костями, тело Игоря. Игорь от остроумия борьбы решает не сопротивляться, а повиснуть. Я пытаюсь удержать его, но мне не хватает сил, он сползает по мне в воду и, разыгрывая смерть, ложится на дно. Я смотрю на него, замутнённого илистой водой, и замечаю, что я голый, хоть мы уже привыкли к этому. Когда совсем заканчивается воздух, Игорь подтягивается по моей ноге – треугольник чёлки, мокрые фонтанные губы. Дождь проходит, мы решаем ехать обратно на автобусе, а не тащиться через лес, и идём к остановке. Снова жарко. Приликая, на нас сохнет одежда. Мы хотим залезть в старую красную церковь у остановки, раз уж оказались здесь. Двери надёжно заперты на большие замки, но окна без стёкол, и мы подпрыгиваем, подтягиваемся. Пахнет подвалом, гнилью, кирпичом. Мы с Игорем от радости, что залезли, беснуемся, изображаем Мишу с Лузгановой, обнимаемся и стонем церковным эхом. Игорь хватает меня сзади и между ног и громко поёт: «Ааа-ааа-ве! Марииия!» Миша смеётся: «Дураки!» А я смотрю на Игоря, вдыхаю влажный песочный запах его шеи и волос, он замечает мой взгляд, но не убирает руки. Нам делается стыдно ещё до того, как приходит автобус.)

А в июле к нам приехали американцы, чтобы выступить с концертом на сцене у леса. Сцену построили несколько лет назад – гордый козырёк крыши, дощатый красный пол, ряды лавок для зрителей. Здесь планировалось устраивать поселковые праздники, но ни разу не попробовали. Все поздравления звучали со ступеней поссовета, там же пели, проводили викторины, а сцена пустовала и даже начала стареть. Когда кто-то сказал, что в воскресенье вечером на

сцене будет концерт американцев, мы, конечно, всю неделю ждали, а воскресным вечером побежали, расселись, над головой комары.

Американцев мы много видели в сериале «Санта-Барбара» и очень ими интересовались. В том году в «Санта-Барбаре» погибла монахиня Мэри, которую любил Мейсон Кэпвелл, и погибла глупо, бессмысленно. Они с Мейсоном поднялись на крышу семейного отеля Кэпвеллов и ругались там. На крыше светились огромные буквы, образующие со всеми причудами правил чтения (С, А, W) фамилию Кэпвелл, ветер крепчал, начинался ураган. Первая буква С раскачивалась от ветра всю серию и в конце упала – на Мэри. Мейсон был безутешен, продюсеры Бриджет Жопсон, Жером Жопсон. Мы с бабушкой выключили телевизор и сели смотреть в окно: как жалко Мэри, и что же они так плохо крепят эти свои буквы. И теперь, казалось нам, приедут американцы, как-то связанные с Санта-Барбарой: полицейский Круз Кастильо в узких джинсах и в расстёгнутой на груди рубашке, начало волос; дочка миллионера Келли в плечистом пиджаке; Иден, которая носит волосы как бы на одну сторону и, если идёт подумать на свежем воздухе, берёт под мышку маленькую бессмысленную сумочку, Тамара всегда смеялась над ней: сама она не женщина, а вол, ходит только с хозяйственной сумкой в магазин. А ещё летняя бывшая жена Августа Локридж, собачий Лайонел, намекающая на Белоруссию вдова Минкс. Таких людей, встретить мы их в гастрономе, мы безошибочно распознали бы. А приехали другие и почему-то на старой «Ниве» – мы удивились и даже разочаровались.

Три женщины в длинных белых юбках, с распущенными волосами, в которых очевидно плутала седина, не были похожи на красавиц из сериала. А двое мужчин из-за одинаковых очков казались братьями – старшим и младшим, совсем не напоминали Круза, Мейсона и даже Тэда. Американцы улыбались нам, как детям – зубастой простой улыбкой. Мы пытались отвечать, но скоро заболели лица, и мы сели просто так, в задумчивых позах, стесняясь, веткой сирени прогоняя комаров. Наконец началось: сперва заговорил старший брат, медленно, ай эм Джеф, и показал какой-то значок у себя на рубашке. Мы ничего не понимали, а на значке как будто голубь. Он что-то сказал Алевтине, а она не поняла, но сделала мудрое лицо. А когда посмотрел на Тамару, она громко крикнула *Йес!* и засмеялась в

руку, как не делала со школы, и рядом с ней женщины тоже засмеялись. Американец повторил Yes и два раза глубоко кивнул, соглашаясь со смехом Тамары. Старший брат продолжил говорить, а Вера прошептала бабушке: «Простенькие такие туфельки у девушек, но со вкусом». И от парадокса подняла бровь. Вдруг женщины запели – тонкими улыбающимися голосами. Все замолчали и присмирели от того, что вот так, без музыки, не поднимаясь на сцену, под облаком комаров запели три американских женщины в белых юбках, даже неловко было смотреть на них, и многие отводили взгляд. Откуда-то появились бубны, и мужчины стали хлопать по ним, производя звон, а женщины закивали, соглашаясь с этими звонкими ударами *оу йес*, и тогда мужчины на удивление чистыми голосами подхватили песню вторым рядом, повторяя за женщинами слова, и женщины этому как будто обрадовались. Когда песню закончили, мужчины подняли бубны вверх и, торжествуя конец песни, загремели ими. Публика культурно, как в филармонии, захлопала. Вера, умевшая петь, одобрила: «Молодцы!» Старший брат снова что-то заговорил и тут уже показал бумажку, на которой были голуби и женщина в накидке. Он поднял картинку и многозначительно замолчал. Тамара снова крикнула *Йес!* И снова засмеялся американский мужчина, а второй хлопнул в бубен, и на этот его хлопок засмеялись американские женщины. Женщины стали раздавать такие же бумажки всем, и мы брали скромно, деликатно, Алевтина взяла две («Я для соседки, она не смогла прийти», – пояснила она), Вера поблагодарила: «Вери мач». Мы стали смотреть на бумажки, и тут до Алевтины дошло: «Так это же Христос!» Женщина в накидке действительно при ближайшем рассмотрении оказалась Христом в сиреневом плаще. Американки снова запели, мужчины сразу вступили с ними, и после открытия Алевтины в песне все мы (только Тамара вслушивалась и не могла никак разобрать) расслышали Джизас, Джизас, а кое-кто ещё и Крайст, и Вера даже попыталась подпеть. Потом старший брат назвал всех по именам. Джеф – повторил как будто специально для забывчивой Евдокии и ткнул в себя пальцем. Марк – младший брат, и мы узнали это имя по сериалу, и сделалось приятно. «Совсем не похож», – удивилась Тамара. Сьюзен, Роуз. «Это как Роза по-нашему», – пояснила Вера, и все посмотрели на Розу Гавриловну, она смущалась. Дайайая что-то, мы не поняли, но Тамара сообразила: Диана. Джеф

показал фотографии, где девушка в белой одежде стоит в воде, а рядом мужчина придерживает её, словно она может упасть. Потом они снова запели, и так пели до розовых сумерек, мы уже легко узнавали американского Иисуса – Джизаса и хлопали вместе с бубнами. На прощание Джеф всем, кто не испугался, жал руку. Тамара показала ему, что у него на лице сидит комар, и он ответил ей: «Пасиба ольшое». По пути домой Вера сказала: «У Сьюзен такая цепочка красивая, я обратила внимание».

На неделе выяснилось, что эти американцы – евангелисты.

– Они не православные, – предостерегла Капа и немного обиделась, – и песни у них другие.

– Да вроде про Иисуса Христа, – удивилась Тамара.

– Но они совсем по-другому верят, – настаивала Капа, – вы бы лучше к вечерней службе к отцу Андрею сходили.

Но к вечерней надо было подниматься на высокий четвёртый этаж, а больница на летнем солнце прогревалась, и в церкви было жарко, душно, и Алевтина осталась недовольна: еле выстояла, вышла с мокрой жопой. А вечером, когда свежо, сиди себе на лавочке и слушай про Джизаса, а если помазать ноги меновазином, то и комары не так пристают. Поэтому и на следующей неделе мы пошли на концерт. Джеф снова улыбался, раздавал листовки, и там теперь было на споткнувшемся русском: посещайте на выходных в церковь «Часовня у Голгофе», улица Степана Разина, иди и молись с нами. И нарисован такой голубь, летящий вниз, как у Джефа на значке.

– В Америке я бы ходил в церковь, – прошептал мне Игорь, ему очень нравилась Роуз.

– А Голгофа-то что такое? – спросила Вера.

– Это где Христа распяли, – сказала в недоумении Тамара.

Капе решили не рассказывать. Антонина поехала в эту часовню, привезла оттуда детские цветные книги.

Капе летом было не до нас. Господь вдруг хмуро посмотрел на неё, и она вытянулась в неудобной позе. Сын Капы нашёл на балконе сумку с грязными банками и удивился, откуда это и почему мать не помыла, а прямо грязными поставила на балкон. Да и не мог вспомнить, чтобы они ели голубцы, фаршированные мясом и рисом в томатном соусе, кашу гречневую с тушёнкой, пахло старой кислой грязью. А потом присмотрелся и понял, что сумка эта – бабкина, и что

он видел её с этой сумкой на улице и удивился ещё тогда, что она там несёт так много, ведь в магазин она не ходит. И тут всё зашевелилось и сложилось – Капин сын был рад, как от ловкого решения задачи: это бабка принесла с помойки. Он обследовал балкон, уже предчувствуя, как будет по-учительски отчитывать её, нашёл ещё перевязанные журналы, ковшик со сгоревшим дном, разбитый светильник и побежал с удовольствием кричать на бабку. Даже номер дома на журналах, кричал он, не наш. Она понимала, что он чем-то недоволен, но не сразу разбирала слова, а только через время додумывала: *что за что-то вно что-то шила*. Говно пришила, догадалась Капина мать, а что за говно? Но когда она увидела, что он с балкона несёт её сумку с банками, она вдруг (*говно притащила!*) поняла, что сейчас он выкинет или разобьёт, и стала у него отнимать, а он злой, сильный, из школы милиции, и когда она схватила руками его сцепленный кулак и стала тянуть, он дёрнул, и её рука отскочила ей же по губе, и совсем вроде несильный удар, но синяк тут же, как пятно краски, растёкся по губе, и она заплакала, обидевшись и сморщив сразу всё лицо. Он забежал по квартире и от ужаса, что всё выглядит так, будто он ударил старуху, начал кричать на неё, что она выжила из ума, совсем уже, и зная, что она плохо слышит, он наклонялся к ней, как будто переводил – крутил пальцем у виска. А когда Капа пришла со службы и увидела синяк, Капе больно было представить, что этот синяк появился на лице, которое она помнит с детства, и мать сидела с мокрыми щеками и умной, смиренной рукой придерживала рот, а сын истошно кричал, что на балконе воняет помойкой и что она старая дура. И Капа развязала внутри узел, чего не делала ни разу за этот год в церкви, и стала сама кричать истерично, с неприятным чувством узнавая в своём крике интонации сына, чтобы он, малолетний пиздюк (плюнула она ядом и получила удовлетворение и сразу же повторила – как гвоздь вколотила) пиздюк не смел тут распускать руки, маленький пиздюк (сверлом сверлила), и она схватила даже ремень по старой привычке воспитывать его, как она делала всю школу, последний раз в начале девятого класса. Но сын дёрнул ремень у неё из рук так, что она поранилась о пряжку, кинул в кухню со всей силы (там что-то зазвенело) и закричал дрожащим от страха голосом: «Ещё бить меня будет!» Капа зажала рану, зарыдала и побежала на кухню, уже планируя повязку, а сын выскочил из квартиры, хлопнул дверью, и всё

в Капе дрожало, и седое суровое лицо Бога смотрело внутри Капы, и она уже раскаивалась и начала искать какие-то слова, но пока всё дрожало, слова не находились. Сын вернулся всего через десять минут, решительно открыл дверь, она даже подумала, что он вернулся, как бывало с ним раньше, чтобы продолжить кричать. Но он сказал странным голосом, предназначенным для посторонних:

– Мать, там тебя спрашивают, у Кочетковых трагедия.

Она не поняла, что за трагедия, и он так неумело выговорил это непривычное, у подъезда, наверное, подобранное слово, что она спросила:

– Кто сказал?

Но в прихожей уже звал испуганный голос Тамары:

– Капа!

«Пятёрка», утомлённая речным зноем, с остатками еды, с пляжными одеялами в багажнике, просела на железнодорожном переезде, и фирменный поезд Москва – Пермь ещё километр толкал её, прежде чем остановиться. Отпускные люди, возвращавшиеся в Пермь через Москву, почувствовали толчок и с интересом посмотрели в окно, кто-то расплескал чай. В «пятёрке» не спасся никто, умерли оптом: Михаил, Светка, их дочь Лена с мужем и двумя дочерьми, четыре года и пять месяцев, куколка, погремушки. Ни долгой раковой опухоли, ни инфаркта, ни почечной недостаточности, ни разорвавшихся сосудов – только одна случайная глупая минута, когда поезд неотвратимо ехал на них, и закричали, наверное, дети, хочется зажмуриться. Поезд назывался «Кама», был ярко-голубой, и мы с Мишей не раз махали ему с холма. Из всей семьи осталась только Рита, полноватая, близорукая, с приятным детским лицом, глаза увеличены очками и поэтому всегда удивлены – вторая дочь Михаила и Светки. В квартире было тесно, а станет свободно. И от того, что теперь Рите одной плакать по шестерым, что придётся пересчитывать гробы, заказывать сразу шесть крестов на кладбище – от этой арифметики всем делалось страшно.

Наш двор стонал в голос. Мы видали смерть, но такого не ожидали. В Перми встречали родных из Геленджика: загар, корабль в бутылочке, пляжные фотографии. И прислушивались к ракушкам, и волны шумели в их живых, счастливых ушах. Всё-таки, Господи, раз уж ты еси на небеси, скажи нам, в чём Твой план? Ведь всего пять месяцев, Господи! И кричали, наверное, от страха, нет, нет,

невозможно. Евдокии (соседка по этажу, сидела несколько раз с детьми) хотелось молиться, но молитва казалась неискренней, не помилует нас, как ни проси. И Твоё ли это царствие, Господи? И на всё ли воля Твоя? И святится ли имя Твоё после такого, Господи? Нашу новую нежную веру расчертили рельсами и шпалами, и даже Капа ходила с пристыженным лицом, особенно когда Рита закричала на неё: «Не пойду я ни в какую церковь, тётя Капа!» Отец Андрей сказал: «Хорошо, что успели покрестить девочку». Капа согласилась, но не могла потом понять, почему это хорошо, кому это хорошо, и даже представляла, как мать могла бы в последнюю секунду выкинуть девочку из окна, а не прижимать к себе, и даже подстилала под маленькую эту Иринку мягкую густую траву, в которой она лежала бы, ждала бы, когда её подберут, и Бог бы улыбался с неба тому, что спас невинную жизнь. Но он не спас, а прибрал.

Накануне похорон шесть гробов разного размера подняли в квартиру. Таков был обычай: покойник ночь проводил дома, а утром уезжал навсегда. Только один, Светкин, гроб раскрытый: её как-то выбросило, синяки, опухшие губы, но показать можно. А пять заколоченных: внутри – синева, кое-как, ненадёжно (а зачем надёжно?) выпрямленные переломы, на крышках – фотографии, чтобы не спутать. Светку поставили на раздвинутый обеденный стол, детские разместили на журнальном столике и на телевизионной тумбе, а Лену с мужем положили в той же комнате на разобранный диван. Не поместился только Михаил, его оставили в коридоре на трёх табуретках. Рита испугалась ночевать, ушла к школьной подруге, и там вся семья сидела вокруг Риты тихая, без аппетита.

А Капа вызвалась ночью читать молитвы у гробов.

Капа однажды покупала у Светки малину и сразу узнала мебель в коридоре, зеркало на стене. Она разулась, чтобы не натоптать Светке, смутилась от этой мысли, заметила изобилие тапочек, но побыстрее отвела глаза. Капа дотронулась до Михаила и прошла к другим гробам. Ей показалось, что открытая Светка представляет всех и что с ней и нужно говорить. За окном смеркалось нестрашными летними сумерками, Капа включила маленький ночник, зажгла свечу и села рядом со Светкой. Капа читала молитву по книжке, которую купила у себя в церкви. Поначалу ей было страшно смотреть на ударившееся Светкино лицо, но она быстро привыкла и смотрела на Светку без

предвзятости и страха, а с пониманием: теперь Светка такая. Капу смущало, что она, кажется, не нравилась Светке. Капа пришла тогда за малиной и дружелюбно, многословно заговорила со Светкой, даже начала вспоминать, как ела малину в детстве со сметаной, но Светка не отвечала, а молча, сурово отсыпала ей в банку ягоды, и Капа осеклась, остановилась, и уже просто улыбалась без слов, поняв, что Света не поверила ей. Потом Света попрощалась без дружбы в голосе, и Капа даже, спускаясь по лестнице, подумала, что вот какие невоспитанные люди – не могут поддержать разговор. А теперь она читает над Светкой молитву. Капа чувствовала вину, что она сидит такая живая перед страшно умершей Светкой и её заколоченной семьёй. От напряжения у Капы заныла шея, запершило в горле, и когда свечка догорела, она подумала, что вполне, наверное, допускается сделать перерыв и выпить чая, Бог вряд ли против. Капа встала и увидела в серванте фотографию, прислонённую к фарфоровой пирамиде из блюдца и чашек: Светка, увалень Михаил, две девочки-погодки, море, что ли, у них там сзади. Капа подошла, и правда: на фотографии подпись *Феодосия 79-й год*. Мёртвые люди на фотографии показались ей грустными и умными, а Ритка, напротив, легкомысленно смотрела через очки. Капа вышла в коридор, снова ободряюще дотронулась до Михаила, как будто Михаил сидел в очереди и Капа хотела сказать ему, что ещё чуть-чуть осталось подождать. На улице стемнело, коридор спрятался, и Капа пошла на кухню, угадывая направление по планировке Веры, которая жила в такой же квартире, но на первом этаже, и долго искала выключатель в темноте. Он оказался не наверху, как у всех, а почему-то ниже, на уровне пояса. Наверное, догадалась Капа, потому что так легче было включать детям. И когда Капа поняла, что это Михаил, который сейчас лежал на табуретках в коридоре, сделал выключатель пониже, чтобы девочки могли доставать, она как раз открыла шкафчик над раковиной в поисках чашки и увидела там маленькую детскую кружку, лиса и журавль, намекающую на пальчики, какие были у её сына в детстве, и она вдруг заплакала и заохала, и охала и плакала громко, в чужой кухне, хоть ей и стыдно было, что она так громко плачет не у себя дома, и казалось, что кто-то слышит её и сейчас войдёт и пристыдит, что плачет она громко, и не только по мёртвым детям, по Михаилу, но и, как догадывался этот кто-то, по себе, по своей матери, по ушедшему детству и по какой-то ещё

мелочи, которую Капа не могла даже назвать. И она плакала, плакала и говорила *ой, ой*, и в голове у неё кружилось, и она, плача, налила воду в размазанный чайник, зажгла мокрый газ и стала искать чай в чужих Светкиных шкафах. Уж прости, Света, проносилось у неё в голове, прости, Света, и она нашла чай и заварила. И пока пила, успокоилась. Из-за слёз Капа как будто сблизилась со Светой и теперь имела больше прав сидеть у Светы и читать по ней молитву. И когда она вернулась в комнату, сказала: «Вот так, Светочка...» И нежно села на табуретку. Капа открыла жёлтостраничную книжицу, похожую на учебное пособие. Старый, вязкий, обнимающий шрифт жучками-паучками расползлся по странице и что-то обещал. И Капе легко и уютно сделалось от этой страницы, и она прочла:

– Безначальная Троице Святая, Боже Отче и Сыне и Душе Святыи, в лице святых причти душу преставленнаго раба Твоего и огня вечнаго избави...

* * *

Утро было ясным и уже жарким. Похороны начались рано, пришло много людей. Бабушка не спустилась, болела нога, и не хотелось видеть, как плачут. Я смотрел из окна подъезда. Отпевать позвали не отца Андрея, а кого-то из города, священник у гробов волновался складками рясы, но его толстое бородатое лицо сурово одобряло Бога. Рита в чёрной косынке обиженно плакала, прикладывая руку к груди, как будто надеясь на понимание. Катафалки, извинившись, выползли из двора. Всех, кто хотел ехать на кладбище, собрал большой автобус. Я не поехал и поэтому заметил, что двор выдохнул, расслабился, и сначала нерешительно, а потом всё увереннее пошли люди по делам.

День похорон – день наших летних каникул, и мы с Игорем, конечно, не можем этого остановить. В солнечном дырявом лесу мы ступаем осторожно, боимся змей, выходим у сцены. Среда, середина тёплой летней пустоты, и до воскресного Джизаса ещё далеко. В дальнем углу сцены выломаны доски, тут мы спускаемся под сцену. Сначала Игорь, потом я. Под сценой можно двигаться только в согнутом виде, здесь у нас есть старая крышка, чтобы сидеть, и

кусок плёнки. От уединения во мне нагибается ветка, пружинит, может обломиться. Зачем мы залезли сюда, мы точно не знаем, но нам именно сюда хотелось. У Игоря всегда с собой сигареты, которые изображают цель: мы залезли, чтобы курить. Мы курим одну на двоих, я беру фильтр после него и держу осторожными губами. Сигаретный дым прячется в темноте, только в нескольких местах широкие щели между досок ловят его.

– Ну что, – говорит Игорь, – будем сегодня?

– Давай.

Игорь снимает футболку, белая сутулость выкатывается колесом. Он поворачивается спиной и опускается на колени на плёнку. Я сажусь сзади, рассматриваю его позвонки, моё молчание уплотняется и раскачивается между нами. Наконец я решаюсь и пользуюсь голосом незнакомого мальчика без лица, без отца, с сигаретной горечью во рту. *Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы*, протягиваю руку, провожу пальцем от шеи вниз и перечёркиваю, *ехал поезд запоздалый*, огибаю большую мягкую родинку, *из последнего вагона вдруг просыпалось зерно, пришли куры, выклевали, пришли гуси, схватили и потянули, потащили нас всех, пришел дворник и подметал, подметал*. Я заканчиваю массаж и неискренне хлопаю его по спине: «Письмо шло и пришло!» Игорь говорит: «Хорошо!»

В выходные отец повёз нас на мотоцикле купаться в Нерли. Выезжать семьёй было страшно, и мама подумала, что так вот и останется Денис один, если что, без родителей, бабушки и младшего брата, и, совсем испугавшись, мама утешилась тем, что Денис сможет переехать в Киров к другой бабушке, и мы поехали. Такая хорошая погода, что будем жалеть потом, если не искупаемся. Мама села за отцом и держалась за него, почти обнимая, а мы с бабушкой залезли в коляску. Отец натянул над нами брезентовый тент, чтобы не пекло голову и не дуло. Обогнув город, мы покатались по Суздальской дороге, обгоняя автобусы и некоторые грузовики. *Иже еси на небеси, громко читала бабушка на светофоре, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя*. Мотоцикл грохочет, и слышит ли её кто-нибудь, кроме меня?

В августе отыграли свадьбу отца Андрея, Капа сама вышила наволочку, прихожанки тоже дарили всякое – и деньги, и фужеры. Матушка отныне всегда приходила в церковь на службу, высокая,

молодая, красилась неярко. Галина Андреевна, правда, видела, как матушка в мини-юбке выгуливала огромную волосатую колли. Это в будний день, уговаривала её Капа, в будний можно, а в Господне воскресенье ну разве что стрелочки себе сделает матушка и всё. Но прошло полгода, матушка вернулась раньше времени из колледжа и поймала отца Андрея с любовницей – блондинка, чёрные брови, смазанный красный рот. Галина Андреевна как узнала – хохотала до слёз. Матушку уговаривали все, и даже мать матушки просила успокоиться: всё-таки отец Андрей крепко стоит на ногах, а время безденежное. Но матушка была непреклонна: подала на развод, написала церковному начальству, и отец Андрей лишился прихода и, кажется, сана. Из города прислали нового священника – отца Дмитрия, старого, седого, пьющего, путающего имена прислужниц. Многим он не понравился, приход пустел. Регулярно приходили только больные из отделений, пахли перевязкой. Капа по-прежнему держалась церкви, но новый священник не различал её, а просто давал задания, неласково называя *голубушка*, чем напоминал Капе её бывшую начальницу в бухгалтерии.

Бабушка в церковь в больнице больше не ходила: очень высоко, девяносто две ступеньки. Колено болело без изменений, иногда обманывая надеждой: вот так ногу положишь, и вроде меньше болит, а встанешь – и снова. Молитва, как и настойка из цветов одуванчиков на водке, не помогала, хоть бабушка и продолжала всем этим пользоваться, и Пресвятая Богородица Дева всегда сильно пахла водочкой.

Капина мать приносила вещи с помойки до глубокой осени. Зимой к помойке было не пробраться, и она перестала, но периодически обнаруживались тайники еды, которые она делала в квартире: завёрнутые в платок сушки, котлеты, кусок сыру. В кухне появились тараканы и испуганно разбегались, если включить свет. Сын кричал, свирепо выкидывал всё найденное и однажды выбросил даже Капину подборку «Крестьянки», решил, что это тоже с помойки. Капа ему не перечила неделями, но, если он вдруг обзывался, а мать, расслышав, начинала плакать, Капа чувствовала внезапную яркую злобу и тоже кричала, чтобы он (после паузы) гадёныш (так она договорилась с Богом заменять мат) закрыл поганый рот свой и не смел орать на старого человека, за ремень она больше не хваталась.

После того как Капа просидела всю ночь с шестью гробами, её стали звать к покойникам. Она научилась обмывать и правильно готовить человека, когда-то жившего и отдохавшего в Феодосии, к гробу. За одну зиму Капа обмыла Лизу из двухэтажного дома, мужа бывшей коллеги, который ни разу не поздоровался с Капой, когда приходил к жене на работу, онкобольную Катю, которая ещё в церкви рассказала Капе, во что её одеть и где она это хранит, соседку Веры по даче – старуху с сиреневыми волосами, которую Капа иногда видела на рынке, но не знала даже имени, и вот выяснила – новопроставившаяся Софья. И даже Галину Андреевну, когда она упала от инсульта в ванной и там же (нашли вечером) умерла. Хоть Галина Андреевна и предупреждала сына, но невестка запаниковала и решила на всякий случай попросить Капу читать молитвы и даже священника наняла для отпевания. Все во дворе знали, что Галина Андреевна не верила и не хотела бы этого, и поэтому она всем показалась недовольной в гробу. Платили Капе щедро, благодарили, но и сторонились: Капа теперь вместе со смертью приходила и была в глазах людей как-то с ней связана, белое лицо Капы перестало светиться и напоминало о трауре: чёрное на бледном фоне. Евдокия так пошутила накануне своего юбилея (семьдесят пять лет): «Капу звать не буду. Помру – пусть тогда приходит». И Капа со временем пришла.

По талой тропинке больничного двора идёт грешник – я. Над больницей, над небом – Бог. Но я от стыда не поднимаю головы, мы слишком хорошо друг друга знаем. Я молюсь о прощении за мой грех, невольно вспоминается поцелуй, рука, стена подъезда, но я брезгливо морщусь, отгоняя сюжет. Когда Бог наказывает, родители ругаются за стеной и нечем дышать под одеялом. *Святой боже, святой бессмертный, святой крепкий, ну!* Но на третьем этаже я теряю надежду, различаю голоса, они уже кричат, и внутри всё делается холодным и ломким, и завтра первым уроком алгебра, никто не помилует меня. У соседей громко работает телевизор, я завидую им. Я решаю подняться ещё на пролёт и посидеть на подоконнике. Над гаражами в свете фонарей мучается снег. Дальше – конец, всё отрезано стеной чёрного леса, пахнет изгнанной из чьей-то квартиры геранью. Я сижу, жду паузы в криках и, когда она наступает, вхожу домой. Плотный воздух скандала, свет в каждой комнате и на кухне, видно,

что здесь недавно бегали и хлопали дверьми, опрокинута табуретка.
Сегодня мы с Богом больше не разговариваем.

Наничку

I

Ну пусть полдень.

Из высоких Евдокииных окон первого этажа тянется песня. Евдокия глуховата, поэтому на улице всегда слышно, что она смотрит по телевизору. И вот сейчас – сериал «Никто, кроме тебя», песня на языке, которого мы не понимаем и даже не знаем, что это за язык (мексиканский?), но по первым нотам узнаём. *Дон корасон авентурьеро*. Что это значит – не ясно, но очень, очень красиво. Потом в газете «Антенна» написали, что *корасон* – это сердце по-испански: дон сердце – лжец, дон сердце – авантюрист. Мне казалось, что эти русские слова не очень-то и подходят, там должно быть что-то другое, не про сердце.

Сонный дневной повтор сериала смотрит только Евдокия, потому что вчера задремала, а мы сидим в тени, на лавочке, выглядываем из ситца (косыночка, кепочка, сарафан) и пытаемся разгадать замысел: как же так? почему так колет сердце? чего добивается этот Ельцин? что ещё за ваучер? когда будет пенсия? Мы знаем, что в заставке сериала солнечно, красивая, увесисто-макияжная девушка Ракед идёт по берегу моря (бабушка сразу вспоминала Азовское, но у Азовского волны маленькие, игрушечные, а здесь – огромные, намного сильнее человека), и садится на скалу, и смотрит в морскую чёрно-белую, а поэтому едва различимую даль. Но если купить цветной телевизор, то даль вдруг делалась яркой, синей, незабываемой, *дон корасон, маэстро дйамор*.

Громкая Васина машина («ауди» с заплатками) ворует звук телевизора и возвращает, когда неприятный гнусавый голос уже пересказывает краткое содержание предыдущих серий: Антонио Ламбардо получает огромное наследство и попадает в аварию, виновник аварии – его брат Максимильтян, Антонио спасается и вплавь добирается до необитаемого острова, но тут в него стреляют, и Маура, его бывшая любовница *уоу-уоу-уоу-о*.

Всё это произвело для нас мексиканское телевидение и повесило где-то наверху, в районе рая: белый дом с колоннами, брючный женский костюмчик с голой спиной, клипсы золотым венком, томная, шубкой приправленная походка – какая, господи, роскошь. Но и

бедность была неузнаваемой – многокомнатная, с отдельной, без спальных мест, столовой, в центре которой свободный, не прижавшийся к стене стол. Особенно поражал бабушку сифон, советская редкость, запросто стоявшая на бедном мексиканском столе. Сифон бытовой, предназначенный для газирования (детское *ха-ха-ха!*) воды – коробка из-под сифона осталась в саду (помнишь?), в ней сейчас детки чеснока (жалко тыкать в землю), а сифона и не было никогда, это от тёти Лары коробка попала к нам (оберегала бутылку бальзама в дороге).

– Почему Антонио всё время ходит в библиотеку? Он же не учится, а всё в библиотеку, – спрашивает Алевтина, третий подъезд, второй этаж.

– Так это комната такая, – отвечает Лидиякольна, первый подъезд, первый второсортный этаж, угловая трёшка.

– Комната?

– Ну с книгами, отдельная.

– Аааа.

– Он там, наверное, на диване сидит, читает да сигару курит.

– Аааа, – выдыхала, как будто зевая, Алевтина, – точно, точно, я поняла.

И грустно было смотреть на гаражи.

– Сколько же в ней метров, интересно?

Больше пятнадцати никто не мог вообразить: хрущёвский район, серия 1-527, кухня шесть метров, но есть кладовка, очень удобно. Книги у Алевтины – над диваном на двух полках ступеньками (осторожно-голову-береги): Жюль Верн, Майн Рид, «Вокруг света на „Коршуне“» – стоят иронично, как будто Алевтина мечтает о путешествиях (но это сына, а она даже не открывала), потом красный песенник, не сразу дающийся языку случайный Брет Гарт (дали за макулатуру), дальше загорожено фотографией внука Илюши, и с краю, чтобы не двигать стекло, – «Рецепты народной медицины» с торчащими закладками: давление, запор, геморрой, варикоз.

II

И вот цветной телевизор. От него не уйти, он – «Горизонт», обступает со всех сторон и обозначает предел. Вот туда бы, туда бы, там так красиво розовеет. Были ещё два – «Рекорд» и «Рубин», высокий и драгоценный, тоже недостижимые.

Тамара (появляется) – невысокая раздражённая сердечница, волосами завязанная на злой узел. Что-то вроде горькой луковицы. Тамара очень хотела цветной телевизор. У неё стоял чёрно-белый, на тонких ножках, с нависающей чёлкой-салфеткой, ещё мама когда-то помогала купить. Оттуда чёрно-белые демоны рассказывали Тамаре про приватизацию, про ваучеры, про доллар, и она кричала на них: «Козлы! Козлы! Такую страну просрали!» И давно уже хотелось цветной. Зимой, в темноте, которая, извините, с четырёх дня уже, и по серому предсмертному снегу Фая из соседнего дома ведёт свою потускневшую колли – вот тогда бы включить «Горизонт», и пусть разноцветно тлеет концертом: «Льдинка, льдинка, скоро май!»

Тамара всегда получала мало, работала птичницей в институте защиты животных, легко провожала кур на смерть. И после пятидесяти пяти планировала работать и откладывать пенсию – на телевизор. Но как только достигла возраста, только одну ногу занесла, её тут же, как топором, сократили – по достижении. И ещё раскричались в отделе кадров: посмотрите, что делается, молодым работать негде! И так Тамара, раненная, оказалась на лавке у подъезда. Она сильно переживала, усилились рези в сердце, но на лавке сидела как-то цепко, и было видно, что, во-первых, так просто её отсюда не стонишь, а во-вторых, она будет мстить.

– Козлы! – кричала Тамара. – Козлы!

И Тамара мстила. В основном летом и ранней осенью. Она решила воровать (у Ельцина, кажется) всё, что плохо, с краю, росло: горох, кукурузу, свёклу, картошку с колхозных полей, иногда забиралась в колхозные сады за мелкими сливами, кислыми яблоками, вяжущими грушами, возле школы милиции черноплодная рябина, возле аптеки шиповник, и Тамара прогуливалась туда вечером, когда око уже дремлет, приходила домой с пузатыми карманами.

Тамару на лавочке недолюбливали: резкая, злая, назидательная. Зачем ты так солишь, делать тебе нечего! Кто же так квасит капусту! Да кто так яблоки сушит! Вот старый дурак! Вон пошла проститутка! Да ну, ещё я буду портить глаза твоими «Поющими в терновнике»! Или просто посмотрит без слов, одним восклицательным знаком – как ударит. Но меня Тамара любила. Я как-то шёл к бабушке тёмными гаражами, старухи увидели меня и испугались: что же ты идёшь по такой темноте, ведь там шпана и алкаши! А я говорю: да под фонарями больше шпаны встретишь. «Вот точно! – сказала Тамара. – Не слушай никого, ходи где потемнее!» А в другой раз я назвал Раису Максимовну Горбачёву *мандавошкой*, поддакивая общей ругани. Я, правда, не знал тогда, что это значит, и слово *мандавошка* казалось мне хоть и ругательным, но уютным: мандавошечка ты моя, прыгучая, родная мандавошечка. Все притихли, бабушка задумчиво посмотрела на небо, а Тамара хрюкнула от удовольствия – и с тех пор считала меня за своего.

– Да эта Раиса – старая проститутка! – подтвердила Тамара.

Бабушка дома указала мне пальцем на свой подол (разноцветные маргаритки): вот где живут эти вши. Я недоумевал: где? где? «Ты знаешь, что такое манда?» – тихо, но решительно спросила бабушка. И снова показала на разноцветные маргаритки. Со временем я понял.

На воровство Тамара сколачивала банду. Ей, кажется, нравилось, что мы вот так все вместе идём, мировой пожар в крови, и покажем им чёрта на куличиках, господи, благослови. Обычно в банду входил Тамарин улыбчивый муж Слава, две-три старухи из соседних подъездов, сумасшедший Артём. А вот теперь и меня позвала.

– Пойдёшь с нами за горохом, Юрочка?

Тра-та-та! Вышли на следующий день после утренних сериалов.

До горохового поля нужно было идти через три леса. Первый – придомный лес, весь расчерчен и размечен. По бокам – гаражи, возле дороги – канавы с водой, две перекладки для чистки ковров приколочены к деревьям. Лес глухо и хозяйственно хлопал выбивалкой, особенно в выходные, особенно перед праздниками, а мы с Игорем свисали с этих перекладок вниз головой, переворачивали мир. Здесь в тряпочке из мамино халата захоронен под веселенькими берёзками мой хомяк Пуфик, которого Артём вы- и закапывал раз в неделю, ему очень нравился ритуал. Он снимал венок из одуванчиков с

головы, и получались похороны: от Артёма – Пуфику, вечная память. Артём всё время переносил могилу на более подходящее место: холмик, под ёлками, в орешнике, «простимся с рабом божьим Пуфиком, господу помооооо» – басом гудел он, а я требовал вернуть хомяка и однажды нашёл в вырытой могиле уж совсем неожиданное... Впрочем, вот второй лес – за гаражами, густой, тропа на косой пробор и только одна лысина – пруд. Но всерьёз этот лес мы тоже не воспринимали: несколько наших насиженных шалашей, землянка, тарзанка над оврагом (хорошо лететь ногами вперёд) и всего пятнадцать минут от тропы до инфекционной больницы или до новых огромных небоскребущих девятиэтажек. А вот третий лес, отчёркнутый заброшенной дорогой, уже ширится без границ. Начинается он загадочной *станцией второго подъёма*. Где первый подъём? И что это вообще такое – станция подъёма? Ну вода там! – отвечала Тамара. Ааа, вода! Чувствовалась в этом какая-то торжественность. Станцию охраняли собаки, которые, услышав нас, лаяли. Из-за них было немного страшно.

В третьем лесу узкая нерасчёсанная тропа, и мы, шестеро, идём строго друг за другом: зачинщица Тамара, тра-та-та, добрый Слава, гипертоническая Евдокия, пережившая рак почки Лидиякольна (из-под ситцевого платица торчат тренировочные), сумасшедший Артём, начинающий вор я. Евдокия не рассчитала и выпила лекарство от давления, а оно мочегонное, и мы останавливаемся время от времени. «Весь лес засышь!» – кричит Тамара. Все смеются, пока Евдокия стесняется там в листиках, а когда она вылезает, пристыженная, обратно, мы идём дальше. Идём минут сорок, начинаем уставать, но вдруг лес выдыхает полем – всё оказалось не всерьёз.

Поле – репетиционное, не гороховое, с какой-то травой по колено. Мы переходим его, рассекая траву, словно позируем для открытки: Артём побежал вперёд – киль, надрезающий море, следом женщины в косынках, особенно высоко повязана у Евдокии, у Славы – рюкзак за плечами, седая голова, я в беленькой кепке с пластиковым козырьком.

И наконец – горох. Большой квадрат горохового поля, три стороны – лес, а последняя, незакрытая, с горизонтом – дачный овраг, речка, печка, огурчики, бутончики, яблочки, чк, чн, делается уютно и спокойно, как будто с мягким знаком.

Мы начинаем собирать горох, шесть вороватых спин. В основном нам нет ещё и семидесяти, а если есть (Лидиякольна), то только немного торчит краешек, у нас есть силы, и мы хотим побольше собрать, закатать в банки, на крышку приклеить пластырь и надписать ручкой 1992 год, заставить долину под кроватью. И потом зимой (*если доживём*, конечно – это приставлено ко всему, на небе написано, и страшнее всего – Лидиякольне, она смотрела куда нельзя), и вот зимой, встав на колени перед пролетевшим летом, доверительно заглянем под свисающее покрывало, вдохнём пыль и будем двигать пыльные тайные банки, доставать и удивляться: ох, это вот оно что. А у Тамары – *кладовка*. Всё раздражённо выкинула и освободила для заготовок, Слава сделал полки, провёл свет. Включишь – и всё видно: варенье из яблок, светленькое, веселенькое, тёмный, загадочный компот из черноплодки, сложные тесные грибы (чесночок, листочки) в трёхлитровой банке, упорядоченный, геометрически верный горошек. А выключишь свет и – всё гаснет, ждёт в покое.

Печёт спину, мы переговариваемся, перекидываемся рецептами, пастеризуете ли банки, класть ли перец, сколько соли, Евдокия сама раньше не консервировала горох. Мы слышим отдалённое тарыхтение, оно запуталось среди ветра, птиц, далёкой дороги за деревней, но вот выпуталось, окрепло, и Тамара всё поняла:

– Патруль!

Все разогнулись, глаза испуганные.

– Где?!

– Батюшки!

– Господи!

– Где?

– Не слышишь, что ли?

– Что?

– Да мотоцикл едет.

Что-то хрустнуло, и как будто порвали верёвку – все грузно побежали в лес. Минуточку, сейчас и я побегу, но пока посмотрю на крупный пожилой бег, пригнули спины, чтобы уменьшиться в размерах, ох-ох, вступило, зажало, дёрнулось за ребром – всё это быстро, страшно, весело. И красиво мелькает ситцевый подол Лидиякольны. Артём (белая футболка) уже вскрыл рощицу, и в эту щель мы пролезли.

Тамара командует спуститься в овражек и там сесть, и мы осторожно пристраиваемся. Евдокии бы помочиться, но Тамара приказывает сидеть, пока мотоцикл не отъедет. «А то повяжут тебя прямо без трусов!» Мы все трясёмся от смеха, а Евдокия смеётся испуганно, удержаться бы. Мотоцикл рычит совсем рядом, потом удаляется, вероятно, поворачивает, уходит за поле, уже не так страшно, оставляет тоненький след, пузыри на воде, и пропадает, деревья, птицы, ветерок. Тамара боится хитрости сторожа и отправляет Артёма (палочкой тыкает в капкан) посмотреть, уехал ли мотоцикл. Артём возвращается радостный: уехал! Мы выходим из леса и ворует с дополнительным азартом: мы не просто воры, но и ловкачи. Получайте! Вот вам!

Обратно идём увесисто (пять кило, не меньше), и как будто сложилась жизнь. Выясняется, что у всех есть планы на вечер, и все даже торопятся домой: к телевизору, к внукам, и варенье ещё доваривать, знаете какое (рецепт).

А вечером, часов в девять, можно увидеть Тамару на лавке, смягчённую закатом и халатом. Она выхватила у жизни гороху, прожила удачный день и теперь смотрит по сторонам, пахнет жареными семечками.

– Козлы!

III

Вот так волновались и радовались, а всё оказалось только прологом. Дальше так.

Тамара знала все грибные места в округе и как будто владела ими. Находила всюду: под еловыми ветками, в травке за берёзовой рощицей, среди надменных, церковных сосен, на пне, за пнём, в канавке, на пригорке. Но никому ни разу не выдала ни одной грибницы. Тамара никого, кроме Славы, не брала с собой, а если случайно встретить Тамару в лесу и спросить, где это она набрала такие красивые красноголовики, она разозлится и скажет, что здесь никаких грибов нет, а нужно идти в сторону Спасского, потом повернуть на север, и через два километра, за старой березой, снова повернуть и вот оттуда уже прямо идти на хуй (гром и молния). Зато около дома охотно показывала соседкам: «Смотрите, какие у меня белые, смотрите, какие подберёзовики!» Все охали, а она золотыми зубами улыбалась. Потом наступали опята, и Тамара со Славой приходили с огромными корзинами наперевес. Груздей почти не было в наших лесах, и Тамара собирала валуи, которые многие считали несъедобными, а Тамара собирала и отмачивала (валуи плавали в тазу обиженные), чтобы засолить их в высокие банки под пластиковую крышку.

В девяносто втором году случилось на редкость черничное лето. Говорили, что черники в лесах – ну это просто неприлично сколько, чёрные от ягод поляны. Люди несли вёдрами, протирали с сахаром, варили, некоторые даже замораживали – это если был отдельно дрожащий морозильник на кухне. Черника бушевала уже недели две, а Тамара никак не могла до неё добраться. За черникой нужно было идти в другую сторону – за Московское шоссе, спуститься с холма мимо городских садов, перейти железную дорогу, и вот там, в болотистом лесу – черника. Тамара того леса не знала и даже побаивалась из-за болота, но и чернику Тамара хотела, поэтому стала искать кого-нибудь, кто согласится отвести её.

И нашла. За шоссе в двухэтажном доме старой постройки жила тихая пенсионерка-садовод Тоня. Мы часто встречали Тоню, поднимавшуюся из сада, всегда уравновешенную двумя тяжёлыми

сумками, она здоровалась, преодолевая отдышку. Тониного мужа Колю давно парализовало, перекосило, отняло правую сторону и не вернуло: язык не произносил слов, как умел раньше, на лице схватилось свирепое смятое выражение, и рука, и нога – отказывались. Но Коля был молоденький совсем – ну шестьдесят пять лет, энергия в нём осталась, и Тоня подвязывала ему правую руку косынкой, выдавала палку, клала на голову кепку и выпускала на улицу. Коля куда-то ковылял, гремел собранными бутылками, как-то крутился в нашей общей воронке. Тонин сад был прямо у железной дороги, три сотки, ухоженный, унавоженный, солнечные грядки, синенький дом-фургончик, у домика две яблони и недавно посаженная слива-ребёнок, яркое пятно сиреневых флоксов у бочки. Тоня сгибалась над грядками, выставляла васильковый зад (старое платье доживало в саду), поезда проезжали мимо неё, и, может быть, кто-то даже запомнил васильковую Тонину задницу в огороде. А прямо за железной дорогой стоял большой лес, перед которым Тонин сад – ну брошечка. По краям лес разлинован соснами, а дальше – намешано. Тоня знала этот лес, собирала там маслята. Поэтому Тамара предложила Тоне сходить за черникой вместе. Тоня согласилась.

– Юрочка, пойдёшь? – спросила Тамара. – Мать отпустит?

Конечно, отпустит, конечно, пойду.

– Но встать придётся рано! – предупредила Тамара. – Нужно успеть до жары, так что будь готов в полшестого.

Лёг пораньше, когда летняя ночь ещё не наступила, а только припугнула и красиво висела с жёлтыми разливами, остро кричали стрижи за окном. Будущий день уже постукивал у меня в голове, и я долго не мог уснуть. Но проснулся быстро и легко. А небо – как не ложилось, снова посветлевшее, разбавленное. Мама дала мне фляжку воды с вареньем, бутерброды с сыром и какие-то пусть будут печенья. Я надел курточку от спецодежды, которую мама принесла с работы, плотные брюки, резиновые сапоги (на них особенно настаивала Тоня), бейсболку USA California (новенькая, на затылке сеточка), взял эмалированный, орфографически неловкий бидон (скрипучая ручка, отколовшаяся краска, кто-то давно ударил и забыл, а бидон не оправился) и спустился к Тамаре на второй этаж. Звонок у Тамары с упругой жёлтой кнопкой, я недавно начал до них дотягиваться и поэтому нажал с удовольствием. За дверью резкий звон, энергичные

шаги, Тамара открывает: пахнет зубной пастой, лицо пока ночное, не вступившее в силу, ясно, что ещё не собралась.

– Юрочка, вот посиди тут.

Я сел в коридоре на табуретку. Я проснулся вовремя, собрался, на мне бейсболка, и мне очень приятно и спокойно подглядывать за утренней Тамариной жизнью. Слава выходит из комнаты – как по учебнику: по-доброму выбрит, майка белая, синие тренировочные штаны. На кухне открыто окно, и там деревья, которые я знаю только с земли. На столе – вазочка с вареньем, сахарница, чашки, хлеб, набросок завтрака. И вот Тамара готова, тоже в спецовке (Слава принёс с работы), с рюкзаком за спиной, надевает резиновые сапоги. Мы со Славой молчим и смотрим на её ноги. Ну, с богом (Тамара берёт большую корзину), пошли, Юрочка. С богом, подтвердил Слава и закрыл за нами дверь. И мы с Тамарой ножками по ступенькам раз, раз, бидон скрип-скрип, вышли на улицу.

Летом всё самое красивое, новое, прохладное начинается как раз в районе шести утра, когда можно любое место застать врасплох, а оно – голубенькое, незлое. Мы свернули за дом и шли как будто к почте, а потом как будто в школу, а потом будто вдруг передумали и – на рынок, а потом бог с ним, пойдём в старое кафе, и в итоге (скрип-скрип) дошли до светофора и встали перед Московским шоссе. Мимо осторожно проезжали редкие, невыспавшиеся машины, и огромные изначальные грузовики сотрясали землю, везли далёкий, уставший в пути груз: куда они так рано? где Москва, направо или налево? Впрочем, всё равно. Перешли дорогу, завернули за клуб и там – Тонин двухэтажный дом. Мы открываем подъездную дверь, в темноте виднеется ненадёжный скелет деревянной лестницы, а нам навстречу – Тоня. Оказывается, она ждала нас у окна и вот спустилась, белокосыночная, в спецовке (унесла с работы, когда вышла на пенсию), улыбается.

Мы идём втроём: взрослая библиотека, дом моей учительницы, потом будто к нашим садам, и вот уже видна водонапорная вышка, красненькая, уверенная в себе, не знает, что её в конце концов снесут, и теперь бы вниз к садам – но мы сворачиваем. И всё сразу же преломилось и подсветилось новым: тут я ещё ни разу не ходил. А оказалось, что там разное есть: сперва немного смотрящих друг на друга сарайчиков, перед которыми раскидано сено, мелкие какашки, за

дверями притаилась запертая животная жизнь (куриная? козья?), и кто-то там сейчас смотрит блестящим глазом, услышав наши шаги, хлопает крылом, но мы не останавливаемся. После сараев – лабиринт гаражей: прямо, направо, налево, разноцветные, как набор фломастеров, ворота (даже жёлтые есть!). Мы идём направо. Гаражи, помелькав, закончились у леса. Дорога рассыпалась щебёнкой, быстро повела вниз с холма (энергично скрип-скрип-скрип-скрип). Вдалеке вдруг споткнулся какой-то механический звук и стал расти. Я тут же узнал: поезд. Звук креп, обосновывался и наконец громко заколотился по рельсам совсем рядом, за деревьями. А когда щебёнка переменялась на песок и лес закончился, перед нами показалась железная дорога. И всё уже неважно по сравнению с ней. Железная дорога величественно расходится в две стороны, разрезает мир пополам блестящими сильными рельсами. Вдоль неё навтыжку стоят столбы, держат спину. Мы, маленькие, подходим к насыпи и осторожно забираемся, чтобы идти какое-то время по железной дороге. Тоне и Тамаре, кажется, всё равно, лишь бы не споткнуться о шпалы и не упасть (перелом бедра, долгая горячая постель), а я иду ювелирно, перебирая, потому что знаю, что там, где сходятся, обманув нас, рельсы, – новый, лучше старого, Уренгой, нижний огромный стальной Тагил, мягкий, синенький (в цвет вагонов) Пермь, блестящая полноводная Лена – на всех этих поездах я ездил к бабушке в Киров. Какое-то время мы идём по шпалам, пародируем великие поезда. Справа шагают по холму сады, слева лес стоит декорацией: густая зелёная темнота, только иногда берёзовый орнамент или ногастая сосна. Потом Тоня даёт сигнал, и мы уходим с железной дороги. Из леса торчит незаметный кончик тропинки, и, если бы не Тоня, мы никогда не заметили бы её. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на железную дорогу ещё разок, перед разлукой.

– За полчаса, наверное, дойдём до поля, – говорит Тоня.

IV

Тут достаточно длинного тире: шли – и пришли. Но невозможно смириться, ведь, кажется, у нас и нету ничего, кроме этой дороги. Нам нужно перейти лес, потом большое поле, снова войти в лес, и вот там, в объятиях болота – черника.

Лес берёт нас и тут же прячет, никто и не подумал бы, что только что по шпалам шли три небольших человека. С неба через деревья тянется где может неуверенный свет. Внизу тихо, темно и тесно, а если запрокинуть голову, то там берёзы, сосны, осины, освободившись от глупостей орешника, движутся с ветром, шевелят листьями – красивый высокий порядок. И что там внутри, внизу, у пяток – лесу всё равно.

Тамара достала маленькую красную баночку с золотой звездой – бальзам «Звёздочка».

– От комаров, – сказала она.

Запахло бабушкиной профилактикой против гриппа. Тамара нанесла мне несколько мазков на лоб, щёки и подбородок, помазалась сама и дала баночку Тоне. Глаза заслезились.

Мы шли и не разговаривали. Лес помелькал и быстро стал неинтересен. Только, может, арки из орешника над тропой удивляли намеренной формой, как будто кто-то специально сделал их так, сами они не додумались бы. Завтрак, планы на день, заготовки увязались за нами и тянулись, не отпускали. Так что пусть у Тони мешок песка за дверью в спальне, стоит с зимы, и хорошо бы протереть чернику, а не сварить, но тут же появились чёрные пятна фитофторы, главного врага Тониных помидоров, и нужно бы развести золу и обработать, потому что в прошлом году – и прочее, прочее, на каждую грядку мысленно заглянула. А у Тамары пусть грибы сушатся на решётке над плитой, что-то из холодильника мелькает в памяти (сметана?), и как мама снимала пенки с варенья и складывала их в такую мисочку, и варенье пахло, и детский лёгкий дом пах и поднимался повыше над землёй, а Тамара давно не варила варенье, не очень-то и ели они со Славой, но с такой властью станешь что угодно варить и заготовливать, вместо конфет с чаем пить, козлы, просрали, дальше совсем уже что-то неразборчиво, и пусть так. А что же я? А я ничего, звеню серединой

летних каникул, может быть, внутри у меня какая-то песенка, которая тем летом вылетала из проезжающих машин, перелезала через забор из соседских садов (радиоприёмник на крылечке), скользила по озеру с того берега и висела над водой, над дорогой и всякой пылью: стэээй вииз мииии. Лес ослабел, стал пропускать деревья и закончился. Тропинка, вывалившись в траву, быстро убежала в поле.

После узкой духоты леса приятно было спуститься в мягкое туманное поле, всё расширилось во мне и не чувствовало края. И кажется, не было края. В поле стояли две электрические вышки и напряжённо держали провода на плечах. Когда мы подошли к ним, стало грустно и тяжело, как бывает рядом со всем большим и железным. Тамара достала пакетик с чёрными сухариками, угостила нас с Тоней, и мы втроём стали хрустеть, как будто издеваясь над электрической мощностью. Почему-то появляется история буханки (запомни, буханка чёрная, батон белый): Тамара со Славой купили одновременно хлеба, и вот буханка залежалась, треснула в середине, и Тамара её на противень, сверху немного подсолнечного масла и соли. И вот так спасла. Нам всем нравится эта история: всё экономно, всё можно спасти. Сухари Тамара ссыпала в тарелку, поставила на окно, и хорошо было есть и смотреть в окно, кто там идёт в ярком летнем платье. Вот и мама моя идёт в ярком летнем платье, синие босоножечки. Мы достаём фляжки, запиваем сухари. У нас с Тамарой одинаковые, будто война и землянка, а у Тони – красивая плоская фляжка из нержавейки с каким-то выпуклым цветком по центру. Тоня объявляет: восемь утра. Сейчас московское время делает где-то «пип-пип-пииип», и хорошо прогретая ткань середины июля вот-вот разгладится, и медленно, спокойно всё начнёт работать, попкивая, а мы подходим к лесу и легко решаемся на темноту, на душную влагу, потому что впереди – черника.

– Пройдём болото, оно тут справа, – говорит Тоня, – а потом свернём с тропинки.

Бо-ло-то (словарное, большое, круглое слово) тихо лежит и потеет где-то за деревьями. Я всматриваюсь: ничего не видно. Одинаковые шаги, скрип-скрип, привычная Тамарина попа передо мной, там дальше Тонина, но её не видно. Мне делается скучно, и трясётся в помехах изображение, вот-вот пропадёт и забудется навсегда, как я шёл той тропой. И только, может быть, Стефани Харпер появляется

ненадолго, миллионерша из сериала, владелица поместья «Эдем», муж столкнул её в мутную жёлтую австралийскую реку к кро-ко-ди-лам, чтобы получить её кор-по-ра-цию, ну и так далее, сколько-то серий, и я представляю, что я – Стефани, меня тащит из грязи красивый доктор с белой флегматичной бородой, и я хватаюсь за его руку и возвращаюсь через леса Владимирской области, и хочу отомстить, и отомщу, и спущусь в сверкающем красном платье по крендельной лестнице, и дам пощёчину своей двоюродной сестре Джил, которую играет Пета Топано, ну пусть играет.

– Пора сворачивать, – говорит Тоня.

Мы сворачиваем с тропы и тут же начинаем бояться всего скрытого.

– Под ноги смотри! – по-соседски волнуется Тамара. – Тут змеи могут быть!

Стефани исчезает, поморгав, а я внимательно смотрю на свои резиновые сапоги. Мы идём без тропинки, полностью повторяем за Тоней. В лесной гуще иногда попадаются солнечные кругленькие пропуски, но в основном темно, ёлки пауками повесили ветки. Кусты, потревоженные Тамарой, замахиваются на меня, и я стараюсь держаться на расстоянии. Душно, жарко, во рту паутина, но я предчувствую, что вот-вот что-то откроется.

– Ну вот, – объявляет Тоня и раздвигает нам занавес.

Лес как будто решил передохнуть, и получились полянки. Туда дотягивается солнце и спокойно, как во дворе, лежит там.

– Видишь ли ягоды? – спрашивает Тамара.

Я не вижу.

– Вон маленькие такие кустики.

Я присматриваюсь и не вижу, но не признаюсь.

– Только смотри, гадюки! – зло говорит Тамара. – И не беги от гадюки никогда, а смотри ей в глаза и пережди её.

Тамара и Тоня расходятся по поляне в разные стороны и тщательно, физкультурно сгибаются к земле. Я боюсь гадюки, но, чтобы не показаться трусом, присаживаюсь на корточки. И тут же вижу ягоды, тёмно-синие, но мутные, как будто туман или пыль, но, если провести пальцем, ягоды проясняются, проступает блеск, и делается очень весело. Я осматриваюсь: кругом становится заметна черника, вон тут, и там, и если немного отойти.

В траве тайно ползёт тёмно-серая гадюка, утолщённая, сорокасантиметровая смерть, отряд чешуйчатых, тип хордовых, плещется в гадюке яд, острятся в гадюке зубы, прицеливается в гадюке глаз, чтобы найти рабов божьих Тоню, Тамару, Юру, надкусить их жизнь в тонкой кожице, и – пусть вытекает.

Я не вижу гадюки. Я складываю сиреневыми руками ягоды в бидон. Монотонная звукопись: птицы, шелест листьев, можно услышать, как отрывается каждая ягода. Собираю долго, час, но всё ещё видно дно, и мне снова делается скучно. Стефани Харпер выглядывает, собирает ягоды, чтобы не умереть в лесу, планирует платье для мести, но затекли ноги, болит спина, и Стефани не задерживается. Я встаю коленями на траву, одной рукой опираюсь о землю, другой срываю ягоды – лёгкая преклонённая жертва змеи.

Я поднимаю голову и вижу Тамару, она сердце своё сдавила и свесила аортой вниз над черникой, и кровь стекла ей в лицо, и дышится тяжело, и седые пряди выпали у неё из косынки и висят теперь страшно из Тамары.

– Юрочка, ну как, собирается? – Тамара распрямляется неожиданно довольной и улыбающейся, уже не меньше литра, волосы поправила обратно.

Мне приятна нежность (чк, чк) Тамары.

– Черники – хоть жопой ешь! – радуюсь я, делая верную ставку на жопу, которая должна понравиться Тамаре. И я прав.

– Точно! Хоть жопой! – золотыми зубами смеётся Тамара. Тоня не разгибается, но попа её весёлая.

Я вдруг чувствую торжество от нашего лесного приключения, от того, что там, в глубине леса, темно, а здесь – солнце и полно ягод, и мама удивится, когда я принесу их домой. Мы собираем дружно, запасливо. Иногда кто-то из нас срывается в чёрную тяжёлую мысль (Тонин сын много пьёт, всегда утром злой и красный, потом ведь не остановится; у Славы аритмия, и Тамара думает, сколько ещё ему, сколько ещё ей самой; я вспоминаю, как родители ругались в выходной, а я стоял в подъезде и боялся войти в квартиру), но мысль быстро как-то сохнет, мы согнуты и больно натянуты над ягодами, всё ноет (особенно поясница) громче всяких мыслей, и мы спасены ягодным ритмом (с куста – в корзину), двигаемся по поляне, переходим на следующую.

На Тамарином пятом литре, на Тонином шестом, на моей трети бидона останавливаемся, чтобы поесть. Все достают еду. Тамара картошку сварила в мундирах (и мерещилась тогда в этом какая-то шутка: картофелина в военной форме, потом перестало), взяла соль в спичечном коробке, чёрный хлеб. У Тони варёное яйцо и малосольные огурцы, открыла пакет, и сразу всё переменялось от чесночного запаха, и проступил божий замысел: он специально так придумал, чтобы делалось сразу хорошо и завидно от чеснока. Я разворачиваю утренний мамин бутерброд, который она собирала так давно, и так далеко она теперь, за лесом, за полем, за железной дорогой, за Московским шоссе, а сыр стал мягким, и хлеб пахнет кислым, молочным, и приятно так шуршит пакетик у носа, и мне жалко маму, которая давно, летним утром девяносто второго года делала мне бутерброд. Тоня предлагает всем по огурцу, а Тамара даёт картошку, а мне нечего дать, но я не переживаю, а всё беру, и очень вкусно запивать сладкой водой. Я выпиваю фляжку до дна. Мы смотрим на поляну, на тёмный лес, который притаился и тихонько – ну, щёлкает. Нам сыто и спокойно, и тут грузовик сбивает меня, Тамара падает под колёса, и голова её отлетает. Ладно, ладно, всё это специальный эффект, но прямо по нам, прямо по нашим ягодкам в две тысячи первом году с силой пролегла автомобильная дорога М7, которая разделила лес на две части, лиса не вернулась к лисятам, разлучённые печальные животные. Было решено сделать объездную дорогу, чтобы грузовые машины огибали город и ехали прямо по чернике. Разобравшись с лесом, дорога уносилась в Нижний Новгород, оттуда в Чебоксары, потом в посёлок Кугеси – не за чем, а просто чтобы в темноте лежать, и снежок падает из неба, и ветры, и спящий посёлок городского типа Кугеси, жёлтые окошки. Дорога удивится: где-то она уже всё это видела, и заснёт, припоминая. А утром – дальше, дальше, прогрохотать колёсами грузовика над рекой Средний Амиш, и дальше – в Тюрлему, деревню в Чувашии, которая образовалась в тысяча восемьсот девяносто восьмом году для обслуживания железнодорожных... – какая разница для чего, и дальше, дальше, французский городок Шали (Пестречинский район Татарстана). М7 устало кончается в Уфе, переходит в М5 и, покривлявшись, заканчивается где-то – тупиком, полем, насыпью или, если повезёт, оборванным краем земли и морем: поклониться, погрузить и

возвращаться. И дороге всё равно, что мы сидели однажды в лесу и пили из фляжечек, что счастливы были лисы, что черничные места. Но, Господи, хватит.

Тоня от еды размякла и как-то на сытый тёплый желудок особенно загордилась сыном, который родился у неё крошечным, рос с крепко завязанным галстуком на шее, а теперь стал продавать на рынке около «Факела» (раньше – кинотеатр, а теперь – дискотека) какие-то в сеточку кофты с красивыми деревянными пуговичками, мадэ ин чина. И так хорошо продавал, что накупил всякие фокусы: тостер, электрический чайник и даже купил ей кухонный комбайн, – ну или, может, не тостер, а утюг, который важно выпускает пар – не помню точно, что купил, пусть что угодно купил её галстучный нежный мальчик, она всему рада, курил у школы с первого класса, и тогда она ругалась, а теперь это как будто его ловкость была.

– Мне сын купил кухонный комбайн, а я и не знаю, как им пользоваться, – говорит Тоня, выставляя перед нами новенький, жёлтенький: вот, смотрите.

– Ну у меня комбайнов нету, я руками. – Тамара недовольно отворачивается.

– Да и я руками, – оправдывается Тоня.

– Все всю жизнь руками всё делали и ничего.

– Ну и я ему говорю, купил бы лучше телевизор вон маленький на кухню, такой, с антенной. Сейчас даже цветные такие есть.

Тамара посмотрела на лес, все чёрные тени увидела.

– Ну хватит, зимой будем сидеть, – говорит Тамара. – Уже три часа.

Нас, и особенно – Тамару, приговорили к суровой зиме, к маленькой запоздавшей пенсии, копейки (хором) – и те задерживают. Мы снова гнёмся дугами, принимаем ноющее положение. Время от времени Тамара сосредоточенно разгибается и удивляется: небо, облака – и тут же снова вниз, как будто и не было неба. Тоня разгибается реже и с благодарностью: хорошо, много. Я смотрю на небо. Там где-то далёкая Мексика, в роли Даниэлы – Мария Сорте. Мир не гудел, машины ещё не ехали, терпимо ныли наши спины, мы медленно перемещались, литр за литром, и лес, казалось, по-доброму стоял и даже защищал: пусть ползают, сопят носом, пусть легонько вспоминают мамино платье, потирают пусть спины.

Тамара не видела гадюку (о ней не забыли, нет), хоть она и совсем рядом с ней лежала, и когда гадюка изогнулась, Тамара ещё прикидывала, что до полной корзины всего ничего – не больше литра. И тут вдруг Тамара присмотрелась и сказала:

– А откуда мы пришли?

И сразу удивилась своему голосу и даже как будто стала узнавать: ну вот ёлка, вот берёза, но там чуть дальше кусты с красными ягодками, и кусты почему-то испугали Тамару, и испугало солнце, которое уже, наигравшись, поехало. Мы с Тоней (гадюка поползла дальше) выпрямились. Я смотрел легко, а Тоня оглянулась – лес трещиной пошёл перед ней: а откуда мы пришли? Тоня, не узнавая, осторожными глазами перебирала и берёзу эту, и ёлку, и тот незнакомый куст – лес по деревцу рассыпался. Была тропинка, с неё мы налево свернули, потом ходили по полянке, потом ели, и тогда лес организованно стоял за спиной, а теперь перед Тоней огромная гора деревьев.

– Потерялись, что ли? – охнула Тамара.

Тоня не ответила. Мы замерли маленькими человечками, перепуганные бровки, под кожей тёпленькая кровь, под одеждой хлопковые трусики, необязательно постукивают сердечки.

– Да навряд ли потерялись, – сказала Тоня. – Давайте доберём и будем возвращаться.

Решили, что ну ещё полчаса – до половины пятого – пособираем и пойдём. Наклонились, а ягоды чёрные, мёртвые, неприятные. Позади нервно ждал лес, и всё время хотелось обернуться. Добрали кое-как, не доверху. Тоня и Тамара крепко, медицински перевязали корзины марлей, а я накрыл бидон пакетом.

Тоня с грустью подумала о боге и сказала:

– Господь впереди, а мы, рабы божии, сзади. Аминь.

– Аминь. Юрочка, скажи аминь.

– Аминь.

Перекрестились волной – от Тони ко мне – и пошли.

Тоня неуверенной спиной показывала путь. Шли осторожно, припоминая, но пока оптимистично: кажется, вот так – левее, левее. Сколько идти до тропы? Ну минут тридцать, не дольше. Лес показывал нам отжившие, с тенью, поляны, деревья, которые вот уже устали и ждут вечера, и дождутся, ёлки всё так же пугали, а берёзы потемнели и

припрятали что-то нехорошее. На каждом шагу мы ожидали выйти на тропу, но через полчаса, и через сорок минут, и через час тропы не было. И когда ноги уже очевидно сбились, устали, заныли, проступило по слогам: по-те-ря-...

– Блядь, потерялись! – удивилась Тамара.

Тоня прислушивалась, поворачивая голову (правое ухо, левое ухо), как будто пыталась узнать лес по голосу. Где-то там железная дорога, и, когда проезжают поезда, стёкла в её садовом домике дрожат от этой длинной громадины, и Тоня хотела нащупать однозначный железнодорожный звук, или хоть бы дети пришли на холм к соснам, где их хорошо видно, и замахали бы рукой машинисту, и он бы протяжно загудел им в ответ, и мы бы услышали тогда гудок – далёкий, грустный. Но дети не приходили, не махали, машинист не гудел, а мы стояли в лесу без края, и лес расслабленно перебирал листиками, что-то иногда пролетало, хрустело, падало. И птицы посвистывали, как будто покручивали пальцем у виска.

Пошли дальше. Молчали. Тамара тяжело дышала и иногда кашляла. Мы всматривались через решётку леса – вот, может быть, тут? Но нет, не тут и не тут. Тропинка не находилась, всё время выскакивали, повторяясь, деревья. Крепкие длинные стволы, бросив нас, уходили в небо и там раскачивались. Лес обманул и показывал теперь силу, самое время вытянуть все его звуки в долгую верёвку: лееееес, прочный, сильный, сожмёт птичку до хруста костей, свернёт шею кролику, перебьёт ноги лосю. Самое время вспомнить, как лес съел дорогу, которую тут проложили перед войной. Тогда на реке собирались строить гидроэлектростанцию, дорога была из камня и дерева, и по ней проехали самонадеянные машины с материалами. Но потом война, строительство станции отложили, лес схватил дорогу и сожрал. Самое время вспомнить, как лес взял дом егеря и пророс через него, а ведь когда-то на стенах висел календарь, жена егеря варила в кастрюле, егерь стучал молотком, собака егеря лаяла, а теперь только лес, и если первые лет десять после егеря ещё виден был фундамент дома (кто-то, не мой ли отец, приходил туда посмотреть на остатки и знал егеря по имени – Василий?), то теперь только деревья, прямо из лучевой кости Полкана растёт осинка. Лес съел дом егеря, егеря, жену егеря, собаку егеря, и это мы ещё ничего не знаем о детях егеря, ведь могли же быть и дети егеря. Всё под травой, под тяжёлыми

стволами осталось. Вот с кем (пусть даже спаслись дети егеря), вот с какой огромной, прозорливой силой мы имели дело.

– Леший нас водит, – сказала Тамара ещё через полчаса.

Старые уставшие женщины с корзинами, Тоня и Тамара, когда-то энергично, с надеждой повязавшие косынки, упёрлись в лес и остановились. В них бились старые уставшие заблудившиеся сердца. Я почему-то совсем не боялся потеряться и рассматривал Тоню и Тамару с музейной беспощадностью: что же теперь? Мне было интересно и весело, я улыбался. Тоня и Тамара огибали меня испуганными глазами, стараясь не встречаться с моей беззаботностью.

V

Задача по природоведению, поведение в лесу: определяем части света, чтобы понять, где дом, а где смерть. Давайте присмотримся к дереву. Вот тут, видишь, мох, это значит, что со стороны мха (не моха!) притаился и холодеет север, зима, вот эти вьюги, помнишь, когда колко и безнадежно идти по улице к гаражам. Ну а с той стороны, где мха нет, там лето, вечное, каникулярное, с открытым балконом лето. Получается, там – север, а там – юг, это понятно? Понятно, но куда же нам идти? Мир (магазин, библиотека, старая школа, гаражи, дом культуры) не лезет на карту. С какой стороны у мира мох?

– Клязьма на юге, – напрягается Тоня, поднимает наш посёлок вертикально и примеривается: падает поссовет, обелиск жертвам и героям летит, труба валится с котельной, но река точно ложится южнее.

Тамара молчит, тикает, сдерживаясь из последних сил, и наконец взрывается:

- Да сроду не было Клязьмы на юге!
- А где же она? – удивляется Тоня.
- Давно ли тут живёшь-то?
- Ну и где же Клязьма? – защищается Тоня.
- Господи, да какое на юге, ты совсем уже.
- Ну а где же?
- Да что она тебе далась, эта Клязьма? Домой как идти?
- Если Клязьма на юге, то нам на север.
- Какой на юге, Тоня!
- Ну а где?
- В пизде!

Тоня растерялась, но быстро пришла в себя и обиделась. Пошла сама, не хотите – не идите за мной, но там же где-то должно же быть что-то, то, то, же, же. Тамара зло посмотрела ей вслед, громко сказала: «Вот блядь!» и пошла за Тоней, душой, идиоткой, которая не знает леса и завела. Я шёл за ними, сначала только под ноги смотрел, скрип-скрип, а потом решил взглянуть перед собой: у Тони спина отвернувшаяся, обиженная, а у Тамары нервные, возмущённые плечи, и голова надменная, чуть-чуть, блядь, назад.

– Вот ядрёные пассатижи! – говорю я и жду, что Тамара ответит мне весело, но Тамара молчит и не оборачивается. Я смотрю на Тамару, и тоненькое лезвие надрезает меня, и пока не проступила кровь, но вот-вот. Наша с Тамарой сквернословная дружба перестаёт действовать и даже хуже: Тамара злится. Лес встаёт в полный рост вокруг меня и теперь – наконец – надавливает холодной палкой в живот, называет меня по фамилии (ну что, Каракур, допрыгался?), и из лесу вышел хорошо знакомый мне демон: двое взрослых поругались и теперь не разговаривают со мной.

Идём снова долго. По ощущению – час, пи-пи-пиии. Тамара с трудом несёт своё злое сердце: дура Тоня, дура, идиотка, как могли потеряться, – такое проталкивает она по сосудам, дура, дура, дрянь, завела. Тамара, старая, седая, развязавшийся узел, устала совсем, идёт без пружины, а ведь она – ловкая, цепкая героиня мифов, бегала перед комбайном и успевала на бегу рвать кукурузу, громко, по-разбойничьи свистела, браконьерски ловила рыбу – и вот она идёт тяжело, еле-еле, и как будто через стёклышко – вдруг – проступает Тамарина мама, и Тамара даже противится ей сперва, нет, нет, это мешает злиться, но потом всё-таки мама показывается через банку, через пакетик, и безо всякой истории, а просто мелькнула, и даже лицо не живое, а с какой-то фотографии, но Тамара цепляется за неё: мамочка, покажи мне дорогу, мамочка. Это похоже на приметку, на старинную мудрость, чтобы мама так вот, из другого мира, показала дорогу, и Тамара просит, от надежды лицо морщится, как сухой гриб.

А Тоне жарко. Тамарин горячий злой взгляд покалывает поясницу: в пизде, в пизде – как будто она виновата (или виновата?). Сегодня Тоня могла пойти в сад и обработать крыжовник, и проверить капусту, нет ли гусениц, и она выбрала бы середину дня и постелила бы под грушей пальто прохладой подкладки вверх, и легла бы, и листала бы газету против солнца про Аллу Пугачёву, и никто не видел бы её, и только около трёх часов мимо прошёл бы долгий тяжёлый поезд с товарами, и она лежала бы, и удары колёс проходили бы через неё, и потряхивали бы Аллу Пугачёву, но она лежала бы, как лужа, как озеро, как большая мягкая женщина под богом: две груди, живот, полные ноги, ситец, кепочка с вишнями. Но Тоня зачем-то в лесу закидана ветками, спрятана от бога, и никто не разглядит её здесь, и чёрные ягоды тянут руки, и тяжелеет в Тоне её сын, его красное лицо, и как

она нашла на кухне бутылки, и как говорили про него, и Тоня с трудом несёт это через ветки, а это всё тяжелее и нужно перехватывать уставшими руками, как про него сказали, что он еле шёл и ведь днём, и она на плечи кладёт и на плечах несёт его жизнь и куда, куда? где выход? лес заплетён, завязан, на юге ли Клязьма? Господь Бог впереди, а Тоня, рабыня в тренировочных, позади.

И тут лес вдруг выплюнул нас: мы выпали, а перед нами тропинка, пунктирная, узенькая, как всякое счастье, но всё-таки определённая тропинка (это мамочка? это Господь?), которая быстро, по-деловому бежит, поднимает мир на ноги, ставит упавшие дома, трубы, дом культуры – по местам. Мы смотрим удивленные: ааа, ну да, вот оно как. Тоня рада и улыбается, слегка скрывая радость от Тамары, слава богу, даже блины в мыслях появляются. Тамара рада ужасно и не скрывает, мамочка (она!) вывела, и ей так приятно держать тяжёлую корзину и спасти чернику из леса. А я вижу, как Тоня с Тамарой расцвели и смягчились, добрые, приветливые попы, всё прошло, как хорошо.

Мы поворачиваем направо: да, железная дорога должна быть там, потому что с тропинки к чернике мы поворачивали налево. Мы идём весёлым спасшимся гуськом. Лес скачет с обеих сторон, чёрный, бодрый, но он – за решёткой, и нам безопасно, мы забываем о нём. Зашевелился разговор между Тоней и Тамарой: Тамара кидает Тоне слова в спину, но Тоня отвечает великодушно и даже с готовностью, в конце концов бог с ней, с пиздой, есть ведь эта общая радость спасения, поэтому она будет отвечать. Они перекидываются чем-то мелким, хозяйственным вроде банок, крышек, рецептов, потом потяжелее – Чубайсом, внезапно появляется Римма из шестого дома, которую сократили ну как косой, а дочка из Канады присылает ей двести долларов каждый месяц, и Римма ходит подкрашенная, и Тамара как-то тут глядит, а у Риммы вон пальто появилось новое, и шапку обновила, помнишь, у неё была такая белая песцовая (и Тоня – помнит), что и говорить, там-то люди живут, не то что у нас – хоть подохните (что-то сорвалось в лесу и сильно запищало, но нам – не страшно), хоть подохните. Придумали ещё эти ваучеры, говорили всё: дают – бери, на них можно купить «Волгу». И не хочется про это даже думать, и поэтому повременим, потянем абзац, уж лучше про ваучеры: ими вон только можно жопу вытереть, так Любкин муж и вытер жопу

ваучером и сжѐг, ну пьяный, конечно. И мы хохочем, мы снова подружились, пусть там и пищит от боли и страха белая, может быть, птица, а нам уютно, надёжно, развалили страну, но мы вот несѐм чернику, и слава богу.

Но придѐтся всё-таки сказать: что-то треснуло, лопнули ниточки, и поехал шов – должны бы уже выйти в поле. Тоня бросает разговор, отвечает невпопад, всматривается вперѐд: деревья часто и густо, тропинка крутит воронку – левее, правее, левее. И Тоня нехотя, ведь мы, кажется, спаслись уже, начинает сомневаться: почему мы доверились этой извилистой хитрой тропинке? почему свернули направо? И будто догадавшись о чём-то страшном (господи, чужой ведь ребёнок с нею), Тоня посмотрела по сторонам и сразу же как-то устала. Это всё ещё он, он никуда не делся, не отступил, не сбежал, смешанный, вечерний лес, зоркий и равнодушный. Оказалось, что это она, Тоня, шестидесяти семи лет, это она в клетке, в плену, и какой-то сильный большой зверь разглядывает её из темноты. Тоня испугалась, внутри холодная рука сжала Тоню: непонятно, куда теперь, и наверняка не успеть до сумерек, и Тамара будет кричать, и по темноте нужно будет идти со злой этой чёрной Тамарой, и дома парализованный, крепкий муж ждѐт её, и когда она вернѐтся, муж будет мычать, и она поймѐт только кое-что, и он начнѐт злиться, споткнѐтся о стул, и ей страшно представить, что в этом узле, в этих изогнутых остатках запрятан тот давний Коля, который когда-то ездил на мотоцикле, и фотографии остались, где он на реке, и совсем страшно представить, что он тоже помнит это всё, и быстрее бы его хромота стихла в соседней комнате, быстрее бы он уснул, и затих бы, и успокоился бы уже, и тут в лесу снова зануло, осуждая Тоню, и Тоня стала просить прощения, прости Господи, Иисусе Христе, пусть подольше, ну куда же, куда же?

Тамара вдруг споткнулась о корень и из последних сил, из последней своей звериной ловкости зацепилась когтями за землю, еле удержалась. В Тамаре всколыхнулась злоба, и ко всему миру добавился мат: ебучий лес, ебучая тропинка, ебучая Тоня, черника, поле, железная дорога, жизнь – всё ебучее, надоевшее.

– Когда мы уже выйдем-то?!

Тоня специально как-то промолчала, и Тамара всё поняла. Уже давно должны были выйти, а значит, свернули не туда, не та тропинка,

какая-то осталась со времён войны, старая, фашистская, и с очевидной злой ясностью разглядела Тамара: лес, огромный, ебучий, неотменимый, наступает на неё, как молчаливый танк, прямо из болота вылезает.

– Да мы вообще хуй знает куда идём! – сказала Тамара.
Шли, шли и – потерялись. Длинное равнодушное тире.

VI

День закончился, небо понемногу сворачивается. Все наши соседи посмотрели уже вечерний сериал, зажгли газ под сковородкой и стали на медленном огне жарить курицу, крылья и ноги. Как будто испугавшись такой судьбы, особенно громко закричали вечерние стрижи за окнами и летали, летали, не останавливаясь, летают и до сих пор. А мы который уже час идём по лесу.

– Хочется пить, – говорю я.

– А вода закончилась у тебя? – спрашивает Тамара. – И я свою допила.

– Ты тогда ягод поешь, они сочные, – советует Тоня.

Я залезаю рукой под пакет и раньше времени, воруя, зачёрпываю ягод. Мне становится свежо, легко и кисленько – как будто жвачку дали пожевать. А Тамара злится на Тонины советы, ведь мы (прописью) *потерялись* по Тониной вине, и Тамара злое ядовитое копье кидает в Тонину спину:

– Тоня, а чего ты в свои огурцы чесноку-то столько набухала?

Тоня закачалась, но не обернулась.

– Сколько надо, столько и набухала... – сказала Тоня, на плечи бог зачем-то посадил злую, бесконечную Тамару.

А Тамара окрепла от злости и начала обстрел:

– Кто вообще в лес берёт солёные огурцы? Ещё бы селедку взяла... И ладно бы сама ешь что хочешь, так ребёнку дала ещё! Надо было придумать такое! Или ты в лес три литра воды тащишь?

Тамара палкой проверяет Тонину мягкую, безвольную тушу и достаёт нож:

– И вообще, Тоня, леса не знаешь – не суйся!

Тоня дёрнулась, но как-то смиренно, а Тамара уже вырезает язык, вынимает кровавые субпродукты: желудок, печень, сердце.

– А уж если понёс тебя чёрт, то людей не бери хотя бы, сами погрём, без тебя!

И от ярости закидывает подальше Тонино сердце:

– Ребёнка вон потеряла, мать теперь заплачется!

Жаркая, с испариной спина у Тони: завела и потеряла. Тоне вспомнилось лицо моей мамы (где-то на рынке), и от этого лица,

приятного в общем-то, стало тяжело: наплачется потом, и Тоня, не желая, даже сопротивляясь, увидела, как рот моей мамы начинает изгибаться, и Тоня жалобно попросила *Господи* и на всякий случай *Дева Мария, Христос*, покажите, куда идти, где дом, где сад, где сын, господи.

И хотелось бы сразу, чтобы Тоне было спокойнее, но нет, мы ещё идём и идём, и только потом какой-то сбой передо мной, непонятная суета, и выясняется, что, боже мой, мы вышли на перекрёсток. Очевидный крестик, наша тропинка, поуже, накладывается на более широкую, утопанную, и отсюда, столкнувшись, перепрыгнув через поваленное дерево, тропинки сосредоточенно, опустив головы, расходятся в разные стороны. Я начинаю радоваться находке: куда, куда теперь? А Тоня с Тамарой молчат, их ужас умножается на два: куда теперь? вперёд? направо? налево?

– Всё, не могу больше, – говорит Тамара, ставит корзину на землю и садится на дерево, дерево трещит, крошится, но выдерживает Тамару. Тамара закрывает лицо руками и держит так немного, как будто плачет, но потом снимает руки, и лицо сухое, злое.

– Пойдёмте по широкой тропинке, по ней чаще ходят, – говорит Тоня.

– Надо же придумала, спасительница, а куда идти-то? В какую сторону?

– Мох надо посмотреть.

– Блядь, что тебе мох, Тоня?

– То и мох...

– Как мы домой-то пойдём?

Тоня отходит к дереву и нагибается к земле, рассматривает ствол.

– Вот мох с этой стороны, – говорит Тоня, – значит, Клязьма там.

– Какое там?

– Река там, на юге, а дом там.

Тоня раскидывает руки, указывая части света.

– Клязьма не на юге, вспомни-ка, автобус-то как на Семязино ездит! – Тамара машет в другую сторону.

– Не знаешь, а споришь. Говорю тебе, Тамара, река – там!

– Вот ты упрямая пизда, Тоня! Не там!

– Поменьше бы тебе орать, Тамара...

– Ты меня не учи, лучше сына своего алкаша поучи.

Лес охнул, Тоня оказалась тонкой, стеклянной, щёлкнула, и трещина нервно побежала от горлышка к самому дну.

– Поучу, не беспокойся, – ответила Тоня по-школьному, не то, что хотела, но не сообразила другого, ранец, тонкие волосики захвачены косичкой.

– Не очень что-то ты научила его водку не пить!

– Мне хоть есть кого учить, – догадывается Тоня, – а тебе только коту в жопу дуть.

– Посмотрите-ка на неё, какая семейная тут нашлась! Сын алкаш, муж паралитик, и всегда был ёбнутый! – спрыгивает с дерева Тамара, земля трясётся. Тамара хватает корзину, говорит мне: «Юрочка, пошли!», и мы уходим от Тони по одной из тропинок. Тоня всё меньше, меньше, брошена на кресте, дура, пизда, заебаааа.

Обернуться на Тоню тогда неловко, а сейчас хочется, в последний разок: как тебе стоится, Тоня, дорогая, пока жизнь не полетела вниз? Но не обернулся, и как Тоня осталась там, я не знаю. Ну, наверное, ножки (варикозненькое расширение) стояли подошвочками на земле, ручки висели грустно, и волосы в косынке припрятаны, – что-то в этом духе? А через пять лет Тонин сын – впрочем, ладно.

VII

Через двадцать минут, не больше, только чуть-чуть помелькали ёлки, одышка и правый коленный сустав – всё больное захныкало в Тамаре, и она останавливается передохнуть.

– Сейчас припрётся вон.

Лес пересчитывает нас (раз и – всего-то – два) и темнеет ещё, начало девятого.

– Тащится еле-еле... – говорит Тамара примирительно.

Мы ставим чернику на землю. Тамара пытается подхватить и усмирить дыхание. В животе ноет догадка (а что если...), и мы жадно (ох, нет, нет) прислушиваемся: лес негромко что-то скидывает, перекладывает, чем-то скрипит, разрешает спеть птичке, которой никогда не видно. Но Тоню не слышно.

– Антонина! – строго и немного стесняясь зовёт Тамара. Услышав это, Тоня должна бы очнуться, одуматься, всплеснуть руками – что же это я! – и побежать к нам. Но Тамарин голос звучит глухо, стучается о деревья и не уходит далеко. Тоня очевидно не слышит.

– Тоня! – решается Тамара на погромче. – Тоня!

Тоня не откликается.

– Тоня! – подхватываю я, хотя это невежливо – без *тётя*, без отчества, но нету у человека никакого отчества, он ни *тётя*, ни дядя, нет у человека согласных, когда он один в лесу, а только «оооо», «аааа» остались; послушайте, послушайте, как громко я кричу: – Тоооняааа!

Мы большие тревожные уши приложили к лесу: давай, Тоня, пошурши ветками, закашляйся, крикни нам в ответ. Тони не было. Из скобок вышло: Тоня оставила нас и пошла в другую сторону.

– Ну пусть плутает одна, – говорит Тамара.

Тамара поднимает корзину как чужую, удивляясь весу: что это? ах да, ягоды, мы когда-то хотели варенья. Я оглянулся: позади валялась пустая тропинка.

Но нет, не ладно: через пять лет Тониному сыну придётся продать машину, чтобы отдать долги, придётся просить денег у матери, придётся совсем спиться и кричать, кричать на обои, на тёмные углы, и застегнуть потуже ремень, и повеситься придётся на батарее в ванной, прямо под тряпочками для пыли, под носочками Тониными,

под маечкой Тониной, 1965 длинное тире 1998, страшно представить, да мы и не представляем. Тоня! Тоня! – кричу я.

Лес вёл независимые приготовления, выключал просветы, натягивал темноту снизу вверх. У поссовета ещё светлый вечер, солнце завалилось за картофельное поле, но оттуда, из ямы, светит, и хватает света, и в халатах женщины щёлкают семечки. А в лесу, под подкладкой, уже темно. Впереди много деревьев, оврагов, о болоте не хочется даже думать, и в Тамаре кто-то произнёс слова *старуха, ребёнок*, и когда они соединились, *старуха и ребёнок*, ей сделалось очень жаль – старуху и ребёнка, двух несильных людей, и снова загорчило глубоко в горле. Ей всё время хотелось обернуться и посмотреть, не идёт ли Тоня, и она злилась на Тоню, дрянь, эгоистку. И всё же Тамаре было неприятно, как будто подкисло и свернулось что-то внутри, вспоминать, как она кричала на Тоню. Нет, нет, отбрасывала Тамара свои грехи, эта Тоня, дура, завела их. Тамара подкладывала гири, крепила магниты под чаши весов, и огромный Тонин грех, конечно, перевешивал: завела, запутала, не знала леса, и теперь вот они брошены в лесу, старуха и ребёнок.

Мы остановились пописать. Тамара назвала это детским мягким словом *посикать* и ушла с тропинки, громко боролась с ветками и звонко сикала, а вышла грустная. Потом моя очередь, я отступаю в другую сторону и дальше, дальше, чтобы Тамара не разглядела меня. Я снимаю штаны, но не могу начать писать и вспоминаю, что мы с бабушкой смотрим сериал «Антонелла» в 16:10, после обеда, когда сыто и сонно, и сохнут на кухне тарелки, и кошка лежит на балконе в тени (начинаю тихонько, на дерево, чтобы Тамара не слышала), и лету ещё долго жить, август нескоро – вот когда мы смотрим «Антонеллу», чёрно-белый телевизор (обливаю наивный, ничего не понимающий папоротник) показывает картинку, сопротивляясь яркому солнцу в южное окно, бабушка значительным холмом заснула на диване и храпит (заканчиваю и возвращаюсь на тропинку).

Мы идём дальше, Тамара устала, задохнулась, и сердце заворчалось, как будто его разбудили. Тамара вспоминает, что в груди у неё вредное, ненадёжное сердце, прошлой зимой она после инфаркта лежала в больнице (спирт, ватка) и, когда чуть окрепла, подолгу, опершись на подоконник, смотрела на больничный двор, на инфекционное отделение, и грязные серые декабрьские фургончики

скорой помощи мёрзли, но, вдруг задёргавшись, уезжали, и по тропинке, преодолевшей сугроб, проходили цветные береты или норковые шапки. А ранним вечером, когда санитарка разносила звонкий кефир в стаканах, всё в палате становилось серое, неприятное, но свет включали как-то не сразу, как будто воспитывали больных, и уборщица мыла полы с хлоркой в остро-ярком жёлтом коридоре, что-то там советовал врач, *вар...* что-то, мелкие такие таблеточки. И даже аптека с синими камушками в витрине вспомнилась Тамаре, пристройка торчит из общежития, и фармацевт Нина с прижатой шапочкой химией. Надо бы (Тамара постаралась поглубже вздохнуть, но сердце ударило в стенку, как разозлённый сосед, которому мешают) вырастить мяту, она, говорят, полезна для сердечников, и вот даже два глиняных коричневых горшка показались Тамаре – на балконе, мокрые после дождя. Что-то неуловимое изменилось, будто тропинка вздохнула полной грудью и потянулась увереннее, и Тамара отрывает взгляд от земли и видит, как разбавляется лес, вдруг через него показывается сиреневое небо, и уже не огромный лес, а тонкая сеточка перед нами. Поле, поле, предчувствуем мы, и уже готовы увидеть его впереди, и взгляд, разогнавшись, взлетает, и Тамара говорит:

– Блядь! Клязьма!

Я выглядываю из-за Тамариной попы.

– Погляди-ка, Клязьма... – повторяет Тамара, смягчаясь.

VIII

Лес обрезают, он взвизгнул резким спуском (в дырках – ласточки), а внизу – спокойная медленная река лениво отражает небо. Глаза наши от непривычки удивляются, что можно смотреть так далеко, без перечёркиваний. Конечно, река значит только одно: мы вышли не туда и нужно возвращаться в лес. Но когда так высоко стоишь и так далеко видно, хочется стоять и смотреть, и чувствуется в этом какая-то отгадка. И мы с Тamarой стоим и смотрим. Розово-жёлтое небо, надвигается синее, в воде всё дрожит и слегка изгибается.

Но отгадки не найти, и даже больше мучаешься – что там, что там дальше, за горизонтом? Мне кажется, что всё-таки можно дойти и заглянуть. Я представляю там Киров, а в Кирове трубы незнакомого завода, которые видны из окна кировской квартиры, или старый ржавый трамплин для лыжников над речкой (говнотечкой – добавляется всегда само собой), с трамплина зимой можно съехать и подпрыгнуть высокооо и увидеть всё размашистое, картографическое Предуралье. Тысяча километров, двенадцать часов – и это на фирменном поезде, а пассажирский едет бесконечно, перекур на каждой станции, возьмите вот малину, клубнику, огурцы, даже чеснок со своей грядки. И я уже вспоминаю билетную кассу, гранитный прохладный вокзал, уже отодвигаю занавеску, чтобы смотреть из окна поезда, уже иду шатаясь по вагону – за кипятком – как будто волна раскачивает, но не бросает меня. А Тамара привычным прыжком (как над всякой рекой) прыгает к Вовчику, в деревянную молодёжную лодку, удар воды о борт, упругое сопротивление реки, которое запомнилось навсегда. Он (мама говорила: «Твой Вовчик!») держит красивыми руками вёсла (грязные ногти), она в глупом (глупеньком) платье, волосы увязаны в кренделя, хохочет как дура (дурочка). «Поедем к реке?» – спросил Вовчик. Ну пусть так спросил Вовчик, некому проверить. Хорошо, пусть не кренделя, а длинные распущенные волосы. Она, конечно, соглашается до сих пор: давай поедем. Вовчик, а если расправить имя, то Володя, был высокий, худой и поэтому ломкий, как будто вот-вот разбегутся трещинки от позвоночника, и он развалится на куски, и она поехала к реке. Володя – так особенно красиво, но и тяжело, даже сейчас, на *Володю* надо

было ещё решиться, и она, наверное, решилась всего пару раз. И Володя грёб (неприличный глагол), наклонялся к ней, нависал над нею (неприлично, неприлично!) и с силой толкал воду, и солнце висело красное, а она отворачивалась, ей казалось, что это так красиво – грустить перед ним, вот мой грустный профиль, смотри какой. Но он как-то резко и даже разочарованно смотрел на берег, казалось, он устал и злится, и Тамара вдруг почувствовала, что совсем, совсем не знает его, и при каждом его движении из-под рукава показывалась большая подживающая ссадина, и откуда эта ссадина у него на руке? Ей обидно было, что она не знает, обидно, что у него своя, незнакомая ей жизнь, и хотелось как-то обидеть его или посмеяться над ним. И тогда она, безо всякого грустного профиля, а просто смотрела на реку, и река что-то хранила на глубине и с таким значением отражала небо, что Тамара думала, *что же дальше?* и хотелось домой. Тамара не может припомнить лицо Вовчика, он всё время как будто против солнца. А я не могу представить поездки дальше Муромы, потому что после него я обычно засыпаю (ночной поезд, темнота).

– Пойдём, Юрочка.

Отвернуться от реки тяжело, но мы отворачиваемся и – ох, снова лес. От этого уже все устали. Ну давайте соберёмся с силами и ещё разок посмотрим. Длинное, длинное тире: потерялись – и плутали, плутали.

Лес ещё темнее, чем мы запомнили – чёрная громадина. Деревья совсем осунулись, постарели, и не хочется входить туда после розового неба. Но река тянется за нами, её не забыть, и нам почему-то делается понятнее от того, что позади течёт река. Тамара удивляется и смущается даже, что до сих пор помнит Вовчика, и от смущения начинает подсчитывать, сколько лет прошло, потому что с цифрой как-то спокойнее, и получается сорок четыре года. Она тяжело идёт и несёт Вовчика – ну пусть в животе, где раньше трепетало и билось, а теперь спокойно, прохладно лежит Вовчик.

– Устал? – спрашивает меня размягчённая состарившаяся Тамара, сорок четыре года прошло.

– Да нет, не устал.

– Боишься?

Мотаю головой: нет, не боюсь.

– Ну и умница, не надо бояться, – говорит Тамара и от всего сердца врёт: – Скоро дойдём.

IX

Так нельзя, но сегодня, двадцать два года спустя, на улице от сердечного приступа упал Слава, Тамарин муж. Успел ли схватиться за грудь – непонятно. Или, может быть, только выгнулся от боли, напряг шею: где воздух? воздуха не стало. Тридцать первое мая, тяжёлый, как сразу все припомнили, падучий день: и Евдокия упала (это давно, пятнадцать уже лет назад, запомнилось, потому что в один год с бабушкой) – лицом к телевизору, и мамина подруга Нина упала у подъезда тридцать первого мая в прошлом году – резко заболела голова и успела только пожаловаться, что сильно болит. Ну и Слава, от которого не ожидали, высокий, оглохший, седой, бесцветные губы – уже почти памятник, стой себе и стой, но вот упал и ободрал локти об асфальт, ударился головой. И вся его многолетняя улыбчивая жизнь в этот момент заболела в груди, обожглась на локтях, намокла на затылке, а потом снова – в груди. Соседки стали тут же охать: как же теперь Тамара без него? Тамара несколько лет назад поломала бедро и с тех пор не выходит – всё он, и в магазин, и везде. Везде – это, конечно, за квартиру платить, вызвать врача, всё это маленькое, с бумажками в руке называется безграничным словом *везде*. И пока мама не узнала, что с ним, я отправлял его везде: с Тамарой за грибами, за горохом, отправлял на Клязьму рыбачить, к его матери в Камешковский район, и даже он поехал у меня в Крым и плавал в чёрных трусах в Алушке. Но потом мама сказала, что Славу положили в больницу, он идёт на поправку, и я вызвал его обратно телеграммой, он вернулся загоревший, и они с Тамарой лежали на соседних кроватях и болели вместе: сердце и бедро, восемьдесят один год и семьдесят девять лет.

Х

Мы долго, как полагается, повторяем пройденное и возвращаемся, наконец, к перекрёстку тропинок. На перекрёстке совсем лица нет: Тонин, почерневший. Наивные глаза сами по себе осматривают землю: не валяется ли чего Тониного, вдруг обронила косынку, пакетик, даже на секунду шальная мысль: может, записка? Но нет, всё это, конечно, фантазии, и мы прячем Тоню поглубже, как будто вообще без неё пришли, как будто не знали её.

– Юрочка, давай посидим.

Мы садимся на дерево (Тамарина попа помнит рисунок, а мне – в новинку) и с особым энтузиазмом работы над ошибками комкаем, выбрасываем неудавшееся и вот теперь сделаем хорошо – дайте новую контурную карту.

Вдруг оказывается, что день уже закончился и стал воспоминанием: так давно было утреннее поле, перекус, ягоды на кустах (вспоминаются ярко, с ощущением чего-то прохладного, влажного). Несколько часов назад, с Тоней, мы пришли по тропинке справа, и хоть мы не знаем точно, куда выходит эта тропинка, но возвращаться не хочется. Позади – река. Значит, остаётся либо вперёд, либо налево. И мы пойдём... Тамара прокладывает в голове уверенно текущую за спиной Клязьму (Северный Ледовитый океан лежит белой глазурной корочкой сверху, без него не нарядно): примерно от Химзавода, ровненько мимо вокзала (река поглядывает на железную дорогу), потом кишечником (влево-вправо) до Улыбышева, и там Клязьма нежной дугой поглаживает кладбище, где мамочка Тамарина, и вытягивается серой дождевой ширью, когда холодно и поминальный мамин ноябрь. Тамара сбивается, но потом возвращается, подхватывает петельку Клязьмы, и тянет, и выравнивает её в параллельную с железной дорогой линию, а это значит – у Тамары уже кружится голова, – что раз Клязьма внизу, то дом наверху (появилось видение проклятой Тониной правоты, но Тамара гонит его). Получается: по тропинке вперёд.

От такого решения Тамаре делается страшно. Ведь если не туда, то точно ночь в лесу. Тамара посмотрела на свои ноги: резиновые

полуботиночки по-мужски, галкой стоят на земле, две заплатки хорошо легли, не протекают.

– Юрочка, давай переоденемся наничку, – вдруг говорит Тамара.

Я смотрю на Тамару и не понимаю: как? во что?

– Нужно снять одежду, вывернуть наничку и снова одеться.

Тамара встала и сняла куртку. Я удивляюсь тому, как быстро из-под привычной зелёной спецовки высвободилась незнакомая пышнорукавая, пышногрудая блузка, цветочки, мелкий орнамент, пропущена пуговка.

– Давай, давай, снимай, а то не выйдем до утра.

XI

Тамара развязывает косынку. Там, оказывается, хранилась седая коса и вот теперь вывалилась. Гладкие, крохотные пуговицы блузки не даются её пальцам, выскальзывают, но всё-таки расступаются у воротника, и показывается белая сильная Тамарина шея, и там уязвимая серая верёвочка, обещающая крестик. Мне неловко смотреть, я встаю и снимаю бейсболку California, думаю, куда положить, и кидаю на землю, и мне тут же жалко её. Тамара дошла до конца кофточки, выпустила как будто неокрепшие крылья, заколыхалась нежным, шелковистым. И я понимаю, что это всё теперь окончательно: Тамара раздевается.

Я снимаю мамину спецовку и кидаю её на землю. Тамара буксует на верёвке, которая вместо ремня удерживает её штаны. Я расстёгиваю одну, вторую, третью пуговицу на старой деда Якова рубашке (прошлым летом спасли от гаража, от сада), и там видна моя белая, тонкая, с косточками грудная клеточка, и потом – четвёртая, пятая пуговица, всё смягчается животом и булочной дыркой пупка. Мне стыдно, я смотрю вниз, но боковым испуганным зрением замечаю, что Тамара подхватила верёвку и развязала – значит, боже мой, Тамара спускает штаны, и теперь из-под расправленной кофты появляются и белеют неожиданные, голые Тамарины ноги. Я не решаюсь сразу снять рубашку, и она болтается на мне расстёгнутая.

– Снимай штаны, Юрочка. Нужно всё скинуть, а потом вывернуть.

Тамара снимает кофту, остаётся в лифчике, полнится атласной блестящей грудью, лямки застиранные, перекрученные. Труссы Тамариных я боюсь и стараюсь не смотреть на них. Я неловко, как в раздевалке перед физкультурой, стягиваю штаны и, когда нагибаюсь, чтобы подцепить штанину, случайно вижу Тамарины трусы: как у бабушки, кремовые, чай с молоком. Мои ноги встают поближе друг к другу, как будто нужно тесниться, занимать поменьше места, так не страшно. Я снимаю рубашку, и только белый стыдный конверт трусов на мне. Дядя Юра умер, а его юношеские трусы, пожелтевшие от старости, достались мне, и там есть дырочка, через которую, два раза повернув пальцем, можно достать – но я не достаю, это для взрослых.

– Исподнее тоже снимай, – говорит Тамара.

– Что?

– Ну трусы. Давай, давай, а то не выйдем.

И Тамара осторожно, как хрупкую вещь, снимает лифчик и тут же подхватывает грудь правой рукой, чтобы она не упала, и крестик серебряный заметно лежит у Тамары под загоревшим летним треугольником.

– Отвернись, я сниму трусы. И сам снимай.

Я поворачиваюсь к Тамаре спиной, мне десять лет, мне стыдно и жалко показывать Тамаре свою попу, но лучше всё-таки попу, а не всё остальное. Я слышу, как Тамара шуршит, и снимаю сначала носки (раз, два с дыркой), а потом двумя пальцами начинаю спускать трусы, медленно, резинка спотыкается о кожу, но решаюсь и спускаю их до колен, дальше – они сами, и тут же удивляет меня прохладный ветерок. Он, оказывается, есть, но обычными местами не чувствуется, а тем, которые (*нет* слова и неподходящие игрушечные *яички*) обычно кучно лежат в тепле, очень приятно.

– Теперь давай встанем лицом к тропинке и перекрестимся, – говорит Тамара.

Мы встаём к тропинке лицом, не глядя друг на друга, но в краешке глаза синеватым, нагим, повисшим торчит Тамара. Она крестится, я подхватываю крест и с опозданием повторяю: лоб, пупок, правое плечо, ветерок в паху, левое плечо.

– Теперь поклонись три раза.

Я кланяюсь, чувствую новую неожиданную свежесть три раза.

– Господи, лешего прогони, путь покажи. Во имя отца и сына и духа святого. Аминь!

– Аминь, – говорю я.

Мы ещё несколько секунд стоим в лесу голые. Даже мне кажется, что после «аминь» сразу одеваться нельзя, и секунды дрожат, трясётся, удерживаясь, изображение, лето девяносто второго года, которое ну ничего пока не значит, не закончилось, не запомнилось. Тамара, сокращённая пенсионерка, пятьдесят девять лет, пахнет железным потом, Юра, мальчик десяти лет, белые, голые колышки. Получилось, если точно, семь секунд, и дёрнулось дальше лето девяносто второго года.

– Ну вот, теперь можно одеваться, – послепроцедурным облегчённым голосом говорит Тамара. – Выворачивай и надевай.

Я поднимаю одежду, родную, спасительную, выворачиваю и надеваю трусы (тут же чувствую себя в безопасности), а дальше рубашку, штаны, носки и кепку остроумно, Калифорнией назад, кладу на голову. Тамара отстаёт на лифчик, но догоняет меня, закладывает косу в косынку – готова.

– Ну вот, – довольно говорит Тамара. – Пойдём!

XII

Лес не мелькает, а чернотой стоит по бокам. Белая Тамарина косынка движется передо мной. Страшно нам? Кажется, нет. Устали мы? Кажется, да. Мы идём как-то без вопросов. И через какое-то время – едва прощупываемый под грудиной (приложить плотнее, не дышать) стук, что-то вроде тух-тух туг-дук, тук-дук, но вообще не поддающаяся буквам аритмия поезда, далеко, за матрасом как будто. Мы останавливаемся: верить или нет? Насторожённая Тамарина косынка прислушивается. И отвергающий сомнения далёкий гудок, протяжный, ровной чертой подчёркивает. Косынка поворачивается, появляются белые Тамарины зубы и несколько серебряных: правильно идём. Поезд засуетился, как бывает перед концом, и вот тоньше, дальше, ухо пытается удержать, догнать и в итоге отпускает, но и ладно, ладно, мы счастливы. Мы ухватили мотив и быстрее, припевом идём, и в том же предложении выходим на поле. Господи, а мы так ждали его. Поле разлито в изобилии, щедро, в тёмных густых разводах лежит немного синего, туманного неба, и вышка намёком темнеет, красные огоньки в небе торчат рожками. Пошли и – пришли, потерялись и – нашлись, мы предчувствуем конец.

И не нужно нам это поле (а сейчас бы оглянуться), теперь нам быстрее бы срезать коротенький лесок, теперь нам хочется железную дорогу. Мы лесок – как тяпкой рубанули и вышли: блестят на насыпи две длинные черты. Стало ещё темнее, небо отобрало остатки светленького с земли, и теперь только белый свет далёкого фонаря затачивает рельсы, шпалы провалились. Мы заходим на дорогу, здесь гудело и стучало огромное, сильное, здесь Тоня вела нас, но уже и это ничего не значит, потому что нам теперь вот туда, чуть-чуть до садов дойти, гаражи и так далее.

Дальше мы всё знаем: дорога вокруг садов тянется к гаражам, а потом к сараям, скучно представлять. Поднимаемся по щебёнке, скрип-скрип, вишенки Прониных висят в темноте. Тамара дышит тяжело.

– Давай постоим, Юрочка.

Мы встаём. Зародившись, застучал в полную силу ночной поезд у нас за спиной, нам не видно его отсюда, но судя по звуку –

нагруженный, длинный, товарный. Всё осталось лежать позади: черничные полянки, тропинки, поваленное дерево, где мы сидели – никогда не вернёмся. Я совершаю уже знакомое мне пугающее упражнение: представляю себя ночью там, где был днём, например, там, где мы ели, и мне, конечно, от этого страшно, но почему-то жалко, что шкурки наши картофельные, яичная скорлупка, крошки от баранок остались там одни.

– Ну мамка твоя наплакалась уже, наверное, – говорит Тамара.

Заканчиваются чёрные, вырезанные из картона сады (силуэт забора, дерева, домика). Начинаются гаражи, а над ними фонари – с одного столба смотрят в четыре стороны. Мы удивляемся им и выходим под свет во всех деталях: потное Тамарино лицо, швы спецовки наружу.

После сараев и дома моей учительницы торчит Тонин двухэтажный дом, деревянный, старый, готовый разрушиться от горя. И мы, оказывается, к нему идём. В Тониных окнах, в глубине, тлеет свет, приглашает раскрытая форточка, и Тамара глухо кричит, стараясь будить только одно окно:

– Тоня! – подделка лесного крика. – Тоня!

В окне, как заготовленная, появляется Тоня. Уже, конечно, после ванны, мокрая голова. Мы смотрим на Тоню как на воскресшую. Тоня рада и спрашивает глупо, довольна:

– Пришли? – улыбается Тоня.

– Иди ты на хуй, Тоня! – говорит Тамара.

Мы уходим, Тоня ещё виднеется в окне.

– Смотри-ка, уже намылась, – говорит Тамара. – Чтоб у неё эта черника из жопы полезла!

Мы смеёмся. Мы все втроем спаслись и абсолютно счастливы.

Вышли к Московскому шоссе. Все спят, а светофор работает. Лупогазо проехало несколько машин, в кабинах чёрные сосредоточенные люди. Перед определённой большой асфальтированной дороги на Москву совсем меркнут лесные наши страхи и даже прячется Вовчик, которого я придумал для Тамары. Загорелся зелёный. Остановленный грузовик возмущённо ждал, но потом уехал с грустными красными фарами на спине. Посёлок ночью стоял электрический: поссовет с синяком фиолетового фонаря, магазин «Продукты» дребезжал лампами в витринах, школьный двор за

клёнами наполнен светом, даже над старым колодцем фонарь показывает, как сгнили и развалились брёвна.

Вот уже наш двор. Сирень, шиповник пахнут, не показываясь. С хорошо отрепетированным скрипом открываем подъездную дверь. Трубы трубят, тянутся скрипки, мы торжественно возвращаемся. Поднимаемся на второй этаж. Тамара стучит в дверь, и дверь тут же распахивается: там Слава с испуганным лицом, но сразу облегчение, слава богу.

– Да потерялись! – как будто отвечает ему Тамара. – Чернику держи!

Слава подхватывает корзину, и Тамара как в шкатулку входит, но оборачивается ко мне:

– Давай, Юрочка! Спокойной ночи! Мать, наверное, наплакалась, – говорит Тамара. – И сразу ложись отдыхай, завтра помоешься.

Я поднимаюсь, скрип-скрип, и в окне подъезда вижу, как в темноте из трубы котельной выкипает серый бесшумный пар. Мне делается грустно без Тамары, я вспоминаю, как мы переодевались в лесу, и по мне всюду расползаются швы. В молчащем подъезде слышно, как крутятся счётчики электричества в щитке, это мама плачет под включённой лампочкой или работает холодильник. Ещё чуть-чуть, и я спасусь, но пока я слушаю счётчики, смотрю в окно, Тамара укладывается на бархатной подкладочке, в хрупком деревянном доме по росту засыпает Тоня. Если вернуться туда, в лес за железной дорогой, то там сказано про сына Тони, про ремень, про Славино сердце и перелом Тамариного бедра. Но сейчас в лес не хочется, сейчас всё спокойно, июльская тёплая ночь, и завтра утром у всех нас будут блины с ягодами и со сметаной, этим белым словом всё заканчивается.

Ледокол

Мы с бабушкой сидим у Московского шоссе на бетонных плитах. Машины трясутся легко, грузовики тянут сложные громкие тяжести, мотоциклы мучаются в пыли, автобусы издеваются, медленно открывая двери: нет, не она! Мы устали ждать, жарко, пыльно, попе неудобно, но мы были бы рады ещё два часа просидеть, не дожидаясь и вернуться домой ни с чем – без тётки Лары. Ещё в мае тётя Лара из Москвы предупредила в письмах: бог даст, если здоровье позволит, если буду жива, приеду в августе, повидаюсь с тобой, милая сестричка Галочка, и Танечка от меня отдохнёт. Но надежда ещё была. А вчера тётя Лара прислала категоричную телеграмму: **приеду завтра автобусе встречайте три часа лара**. Из этого мы поняли, что бог дал, не умерла, здоровье позволило. Телеграмму бабушка скомкала и бросила в мусор. Но перед сном полезла в ведро и долго копалась там: «Во сколько хоть она приезжает? В два или в три, я забыла». В три. Утром я окинул взглядом бабушкину квартиру, прощаясь на две недели. Бабушка варила щи в очках, сомневаясь во всём: «Даже не знаю, обжаривать ли лук, а то скажет ещё, что жирновато. Ей же всё жирновато». Бабушка прикрыла побыстрее крышкой, чтобы не смотреть и не переживать. «Укроп она не любит или петрушку? Хоть убей, не помню!» Пока мы шли к шоссе, казалось несправедливым и даже нечестным, что где-то в Москве Таня будет отдыхать от тётки Лары целых две недели.

Около четырёх приехал рейсовый автобус, особенно наглый, долго интриговал закрытыми дверями и даже, отвлекая, выпустил сначала какую-то толстуху в ярком платье с подсолнухами, и потом только – тётю Лару. Даже не верилось: что, уже приехала? Тётя Лара помахала нам рукой, но мы не спешили. Может быть, это не она, а какая-то другая седая женщина со стрижкой-каскай машет рукой другим людям, не нам.

Но это была тётя Лара, и махала она нам. Она поставила дорожную сумку на землю и радостно ждала нас: шляпка, дамская сумочка через плечо, юбка в горох.

Мы поднялись и медленно пошли ей навстречу.

– Это что же, и сумку за неё нести, – тихо сказала бабушка и помахала Ларе в ответ, – приехала принцесса.

– Галочка, – улыбалась хорошим зубным протезом тётя Лара.

Тётя Лара была бабушкиной двоюродной сестрой (далёкий мёртвый дядя Федя из Бердянска). Когда-то давно тётя Лара жила во Владимире, в красном доме на улице Гагарина. Отец бывал там и запомнил мать тётя Лары – Веру Ильиничну, суровую учительницу русского языка и литературы – и большую, но однокомнатную квартиру с пианино, с солнечными лучами на полу (в них висела, должно быть, непрременная пыль). Вера Ильинична занималась с отцом правописанием. Это было начало шестидесятых: гар-гор, зар-зор, бер-бир. Тётя Лара руководила цехом в «Автоприборе», на хорошем счету, на почётном посту, разведённая мать троих детей: Серёженька, Наташа, Таня. Потом им дали квартиру на проспекте Мира над ателье. Там было три комнаты, но кому они – эти комнаты? После переезда умерла Вера Ильинична, вскоре после неё заболел острым, режущим лейкозом Серёжа и тоже умер, бедненький, молодой, сфотографированный грустным. Наташа и Таня уехали учиться в Москву, поступили в МГУ. И вот кому они, эти комнаты? Тётя Лара вышла на пенсию и поехала в Москву к дочерям. В то время, когда я её помню, тётя Лара уже много лет жила в Москве и блестела высоко в небе над нашим дефицитом.

Преодолевая дефицит, мы были однажды у тётя Лары в гостях. Мне только исполнилось пять лет, меня взяли, чтобы предъявлять в магазине продавщицам: вот, две детские руки, давайте больше колбасы, сыру, конфет. И меня предъявляли: мы купили два килограмма птичьих конфет – «Ласточка» и «Буревестник», которые звали в высокий полёт (на жёлтом и на белом фоне), и у нас выросли собственные крылья за спиной; две больших палки ветчины в красной оболочке – сложить крестом и преклонить колено; два килограмма теснящихся податливых сосисок, которые бабушка приморозила перед отъездом, и они окрепли и затвердели. Из поездок по магазинам я помню угол какой-то улицы и необходимость перейти дорогу, остро пахнущую раковину входа в метро, ловкие турникеты с фокусом – кинул жетон и проскочил. Я не помню, были ли мы на Красной площади, видели ли хоть одну высотку, но маленькое, поднесённое к глазам запомнилось. Тётя Лара жила тогда в коммуналке на станции

«Спортивной» – высокие потолки, высокие окна, высокая соседка со сложным характером. У соседки в ванной хранилась круглая баночка с блестящей крышечкой, которая ужасно мне понравилась, я даже не думал, что баночки могут быть настолько маленькими. Я открыл баночку, и она прекрасно пахла, и дно у баночки начиналось прямо вот сразу под крышечкой. Я поводит пальцем по дну, и оно вдруг продавилось. Я попытался всё вернуть и расправить дно, но стало ещё хуже. В итоге я задвинул баночку подальше на полку, она стояла там и тикала, а потом вдруг рванула, когда соседка захотела помазать веки новым кремом. Начался крик на кухне, бабушка увела меня гулять во двор. И отчего-то – будто промыли в проточной воде – помню поездку в троллейбусе, запотевающую близость стекла, выскочивший сквер с яблонями, на которых краснели яблоки, и то, как меня это поразило: висят и бери сколько хочешь. Мы шли по какому-то московскому скверу, тёплая осень, тётя Лара с бабушкой в ранних плащах. Мы уже всё купили, и у бабушки лёгкое закупившееся сердце. А я упрашиваю их: давайте пойдём и поищем сад с яблоками, я видел из окна своими глазами. Яблоч, конечно, не нашли. Но до сих пор, хотя проступили уже вокруг меня московские жилы, до сих пор оборачиваюсь иногда: не этот ли сквер? не видно ли яблоч? Спустя годы после поездки вскрылось: «Ты не помнишь, как она нас уложила вдвоём на раскладушку?» Я не помнил, а тётя Лара тогда сказала, что у неё очень удобная раскладушка. И мы с бабушкой легли вдвоём и повисли, как в мешке. А сама она легла на кровати и расхваливала ещё со своей перины эти старые пружины. Очень удобная раскладушка, Галочка! И как захрапит. Бабушка лежала со мной под боком, смотрела в потолок. Помню ли, как бабушкино сердце обиженно билось у моего уха? Нет, не помню, а оно билось. И перед отъездом не покормила даже: чай с баранкой, вода с нулём, в животе урчало от голода уже в Балашихе. Бабушка зареклась и больше не ездила к тётя Ларе. Да и сосиски быстро надоели, полгода ели их, откалывая отвёрткой и молотком от замороженных братьев.

С тех пор тётя Лара сумела выбраться из коммуналки и съехала с дочкой Таней. Теперь они жили в трёхкомнатной (и обязательно добавлялось: крошечной) квартире в Ясенева. За этим стояла какая-то с трудом преодоленная сложность, почти авантюра – выписать и прописать свекровь, а потом убедить жить с другим сыном в

Московской области. Притом свекровь – резкая, склонная к скандалам женщина, которая один раз сказала такое: «Лариса Фёдоровна, помолчите!» Мы с бабушкой её за это втайне уважали. Дочка тёти Лары Наташа развелась и вышла замуж за швейцарца, переехала в Женеву, оставила взрослую дочь Жанночку в Москве, а из Швейцарии присылала шоколад, брюки, лекарства от давления, фотографии с Женевского озера (*мы с Вальтером, осень 1993 г.*). Тётя Лара съездила к ним посмотреть на границу и осталась на фотографии в сером плаще, в тёмных очках, позади – Женевский фонтан (*Женева, 1996*). Но потом как-то повздорили с Наташей (им больше двух недель вместе нельзя), и Наташа кричала («Ты снова начинаешь, мама!»), а тётя Лара плакала на кухне с Вальтером, тихо, непонятно, по-русски высказывая свою обиженную любовь. Всё это называется «тошша» – Наташа научила его. Больше тётя Лара не ездила в Женеву, но мучила нас фотографиями: десять на пятнадцать, сто штук, это Жанночка поехала к маме, это они в Цюрихе, это Жанночка в Альпах, она не толстая, у неё просто широкая кость.

– Ох, Галочка, как я рада, что добралась до тебя, – объявляет тётя Лара, когда мы входим в квартиру. Бабушка злая от тяжести сумки (я нёс до дома, а она по лестнице) и уже наслушалась: в автобусе был открыт люк, и оттуда поддувало, и тётя Лара всю дорогу прикрывалась шарфиком, потому что дуло прямо в шею, а у неё и так немеет рука.

– Сейчас будем обедать! – нервно говорит бабушка.

– Ой, Галочка, а дай плечики повесить мой пиджачок.

Шторы, сказала тётя Лара, лучше задвинуть, потому что у тебя, Галочка, окна на южную сторону, а яркий солнечный свет вреден для глаз. И бабушкина квартира опустила веки, помрачнела, тут же сдала тёте Ларе стул – сюда брючки, кресло – сюда кофточки, тумбочку – сюда кремы, мази, капли. Пока тётя Лара раскладывается, я собираю свои вещи, чтобы они не мешались. Потом запираюсь в туалете и долго сижу там, не желая выходить к захватчице тёте Ларе.

– Галочка, я привезла вафельный торт к столу! – кричит тётя Лара из комнаты. – Но сейчас открывать его не будем. Завтра утром попробуем.

Бабушка выкручивает газ, чтобы побыстрее закипело.

Несколько лет назад у тёти Лары обнаружилась катаракта, которая с тех пор тихо, тупо мутнела. Чтобы беречь глаза, тётя Лара в

солнечный день носила тёмные очки, в них она была похожа на гнома-следопыта, особенно если надевала ещё свою кепочку из Женевы. «Следствие ведёт Колобок», – говорила бабушка. В следующем году тёте Ларе должно было исполниться восемьдесят лет, и эти цифры как будто сияли над нею. После выхода на пенсию она и так жила с чувством, что в её возрасте надо бы уже поберечься, старела щепетильно, придирчиво, всё принимала, всем растиралась. А теперь и вовсе села на трон. «Галочка, чай будет?» Между ними было всего семь лет разницы, но получалось так: молодая сестра и старая сестра. Дома о слеповатой старости тёти Лары заботилась дочь Таня, а здесь, в гостях, забота поручалась бабушке. Чтобы не повысилось давление, чтобы не было запора, чтобы невралгия не обострилась! И бабушка, как могла, служила тётитаринуому долголетию: готовила постное, замачивала чернослив кипятком, мыла посуду, ни в чём не противоречила. На руках, узнала тётя Лара, есть точки здоровья, которые отвечают за разные органы, и нужно по минуте в час массировать беспокоящий орган на руке. Тётя Лара массировала почки, сердце, для профилактики печень. Ела тётя Лара уменьшительно-ласкательно (огурчик, редисочка, яблочко, всё в тёрочку) и до шести вечера, а всё жареное критиковала. Иногда тётя Лара близоруко чистила яичко от скорлупки или яблочко от кожицы – а в остальном отдыхала, чтобы не умереть. Пока бабушка мыла посуду после завтрака (овсянка пригорела и не отставала от дна кастрюльки), тётя Лара тонизировалась вьетнамской «Звёздочкой», после обеда (посуда возрастала: ковшик, половник, суповые тарелки, салатничек, пиалочка) тётя Лара ну полчаса дремала, после ужина (тяжёлая, подавляющая жиром сковородка, прокипятить, потом содой) тётя Лара доставала массажёр – бугристое колёсико на палочке – и катала по шее.

Я пришёл утром, сразу после завтрака, чтобы идти с бабушкой на картошку, и прежде чем войти, подслушивал под дверь. Играло радио, голоса молчали. Я постучал и услышал бабушкины шаги. Пахло рисом, тётя Лары не было видно, я кивком головы и бровями спросил: а где? И бабушка показала на туалет. Тётя Лара, подтверждая, спустила воду в унитазе, а когда вышла, у нас с бабушкой уже были готовы подходящие вежливые лица.

– Галочка, – сказала тётя Лара озабоченно, – наверное, вечером лучше без риса, а с овощами, а то у меня что-то с перистальтикой не очень.

А потом заметила меня и удивилась:

– Юрочка, как ты сегодня рано!

С приездом тёти Лары наша жизнь вставала перед ней, как перед плотиной, и плесневела у низких берегов, но на картошку мы всё равно ходили через день – собирать колорадских жуков. И тётя Лара, в белой блузе, в панамке, ходила с нами.

Картофельное поле было недалеко от дома – пройти до остановки и спуститься через высокую траву. Поселковый совет поделил это поле на участки и за небольшие деньги сдавал жителям, пенсионерам – по льготной цене. Бабушка взяла три сотки, платила взносы и за вскапывание плугом весной. Здесь же сажали наши соседки: Тамара, Лена, Капа, мамыны коллеги по институту, учительница немецкого из моей школы, почтальонша Люба, которая приносила бабушке пенсию, толстая такая медсестра брала девять соток, на себя, на мужа и на взрослую дочь, зав детской библиотеки сама там не появлялась, а её муж – всё время гнул спину. А также птичницы, холодильщицы, лаборантки, инвалиды всех трёх групп. Недавно попавшие под сокращение окучивали особенно энергично. Только продавщицы, пожалуй, не сажали картошку, в этом чувствовалось косвенное признание: обвешивают. Участки размечались кольшками с номером и фамилией: вот 45 Каракур, вот 16 Сёмина, вот 23 Фролова. В основном, там выращивали картошку (из ведра – чудо арифметики – пять мешков), но бабушка делала в центре участка и маленькую весёлую грядочку моркови – сюрприз, неожиданность, морковка шутит из земли попками. Правда, выростала она тощая, потому что на участках не было воды, а носить – далеко и ноги не те, но бабушка была довольна такой морковью, сушила её на подоконнике. Летом ногой пнёшь, а зимой в пирог загнёшь.

Тётя Лара экскурсионно радуется погоде. «Жарко, конечно, но хороший ветерок», – одобряет она. «Лара, ты вот посиди тут на травке. – И бабушка сажает её в травку – на хозяйственную сумку, чтобы не испачкать брюк. – А то споткнёшься не дай бог о землю и упадёшь». Тётя Лара остаётся в обрамлении цветов цикория, а мы крупными шагами идём по меже, с завистью рассматриваем крепкие

чистые кусты, с чувством собственного превосходства осуждаем участок Славки Латышева, у которого жуки уже всё доедают. Около 35 Курушина я спрашиваю:

– Бабушка, а что это такое пери что-то? Тётя Лара говорила, когда вышла из туалета.

– Перистальтика, – недовольно отвечает бабушка и переводит: – Да просратья просто не может.

Тётя Лара не различала формы облаков, на горизонте для неё не проступали контуры недавно выстроенных коттеджей – только направление солнечного прожектора угадывала тётя Лара и подставляла ему левую щёку. Вокруг пахло травой, она нащупывала стебли, притягивала их к глазам и, ничего не поняв, тёрла, нюхала, что это? пижма? полынь? просто осока? Только свой орнамент из цикория она узнавала рукой.

На участке были прикопаны пустые банки из-под кофе, в которые мы с бабушкой собирали колорадских жуков и толстых красных личинок. Отложенные колорадские яйца мы размазывали прямо на листьях, поэтому наши пальцы становились коричневыми и липкими. Собранных жуков я в самом конце давил ногами на белом кирпиче. Это было кровавое месиво, но на следующий день высыхало и казалось хрупкой мозаикой из полосатых чешуек. Тётя Лара, перенюхав всю траву, начинает томиться и кричит нам: «Ну как, много их там?» «До чёрта!» – кричит бабушка в ответ, а мне говорит: «Давай ещё раз пройдемся, а то дома снова начнёт вещать как радио, уж лучше на свежем воздухе...» И когда мы просматриваем кусты второй раз, бабушка говорит: «Мы с Мусей уходили на весь день в огород, чтобы спрятаться от неё. Садись там в абрикосах на вёдра, семечки щёлкали. Муся потом лицо намочит и скажет: ой, Лара, в теплице упарилась. Хоть отдыхали от неё немного, а то она всё ду-ду-ду».

И на обратном пути тётя Лара – ду-ду-ду. Мы поднимаемся с поля и сразу встречаем Лену, у которой ещё неделя отпуска, она идёт мягкая, выспавшаяся, ездил на рынок купить абрикосы на варенье и не удержалась, рассказывает Лена как шутку, взяла ещё краковской колбасы. «Я люблю», – смеётся Лена. «А если пожарить», – завидует бабушка. А тётя Лара, высидевшаяся в траве, начинает: «Ну что вы, колбаса – это враг здоровья». Бабушка грустно смотрит за дорогу. «Да я иногда только, не каждый же день», – улыбается Лена.

«Холестерин, – упрасивает тётя Лара, – это очень серьёзно. Образуются бляшки, сосуды делаются узкими и не пропускают кровь. С этим не шутят». Лена уже не рада и идёт молчаливо, новые босоножки. «Лучше уж, – пытается разобраться в Лениной ситуации тётя Лара, – запечь куриную грудку с травами и потом холодную есть. Это намного полезней... А ещё лучше, – воодушевляется тётя Лара, – рыбку с овощами!» Лена вчера купила скумбрию горячего копчения, но это уж она промолчит. Шли и смотрели по сторонам, а тётя Лара с настойчивостью слепнувшего человека, который не может видеть выражения лиц, рассказывала про фосфор, кальций, клетчатку, не верилось, что это только третий день, а она ведь на две недели. «Ешь что хочешь, – тихонько сказала бабушка Лене, когда тётя Лара стала подниматься по ступенькам, – и не слушай никого». Дома пообедали, тётя Лара, подавив точки, пошла передохнуть, и уже через десять минут за стеной послышался её храпкий сон.

В конце первой недели под прикрытием тётилариной катаракты прорастала бабушкина уставшая злость.

– Я яблочко порезала, Галочка, можно делать салатик!

Бабушка закатывала глаза.

– Ну что же, Галочка, время зарядки!

Бабушка за спиной у тёти Лары махала рукой, вроде как отгоняла муху.

– Галочка, последние известия! – звала тётя Лара к телевизору.

– У меня ещё предпоследние не кончились! – отвечала бабушка из кухни.

– Галочка, не слышу! Что?

– Галочка, задёрни шторы, яркое солнце вредно глазам!

– Галочка, время ужинать!

– Галочка!

– Овсянку лучше на воде!

– Галочка!

Наконец – взрыв. Требовательное, оздоровлённое чудовище тётя Лара после завтрака (бабушка встала мыть посуду) слушала радио и в охотку комментировала: «Коммунистам нечего предложить этой стране!» Когда она не могла расслышать, она делала недовольное лицо и просила: «Галя, выключи воду, ничего не слышу!» Бабушка выключала и кровавым взглядом смотрела в стену, вела глазами по

кафельным швам. Взять бы ковшик, думала бабушка, да и ёбнуть. «Галя, что ты там всё моешь, выключи воду, я не расслышала атмосферное давление», – раскапризничалась тётя Лара. И бабушка столовые приборы горстью кинула в кастрюлю, расплескав воду, решительно, почти не хромя вышла с кухни, накинула плащ и сказала: «Я за хлебом». И когда тётя Лара начала только «А что, у нас...», бабушка заткнула её хлопком входной двери, а в подъезде ответила на незаданный вопрос: «Не твоё собачье дело!»

Я вижу бабушку на лавке во дворе. Понятно, что собиралась быстро: плащ поверх халата, домашние носки, непричёсанная. «Чего ты на улице?» – спрашиваю я. «Да в жопу! – говорит бабушка. – Прямо хуже грыжи! Радио ей не слышно, атмосферное давление ей надо знать. А я ей и завтрак, и суп, и в магазин, и рыбу! Молодую нашла! У меня колени болят, еле стою! А она посуду мне складывает в раковину! Цацей всю жизнь прожила, на пенсии ни дня не работала!» Бабушкина злость приводила меня в восторг, и я, как мог, подыгрывал ей. Мы ходим вокруг дома: бабушка злая, я весёлый. «Как ни спросишь раньше *Лара, где ты была? В санаторий ездила, подлечить почки.* Какие, в жопу, почки! У неё их три! Здоровая как лошадь! Пока она по санаториям сидела, у меня вон санаторий – огород. И теперь я ей ещё и прислуживаю!» Я со всем соглашался и тоже негодовал: просидела по санаториям! лошадь! в жопу! Бабушка тяжело поднималась по лестнице, горничная, посудомойка, каторжанка. Тётя Лара встречала в прихожей, раскачивалась мутноглазой неваляшкой: «Галочка, ну как, купила хлебушка?» «Не было, будем есть сухари», – мрачно говорила бабушка. «Чёрные!» – добавлял я.

Мы пошли на картошку, а тётю Лару не взяли: очень жарко, давление, чувствуется, нехорошее, так что ты лучше полежи, отдохни, послушай радио, Лара, а мы скоро. «Можешь, – пошутила бабушка, – нарезать салатик к обеду». И когда обувались, внутри уже поднималась огромная озорная радость: вот сейчас сбежим. И сбежали. Шли на поле быстро, энергично, атмосферное давление – прекрасное! «Какое там! – вспоминает бабушка. – Как заведёт свои проповеди, мы с Мусей только переглядываемся. Есть после шести запретила, и мы два дня не ели, но потом Муся утром встала злая и говорит: я всю ночь не спала, и больше я не жрамши спать не лягу!» Я никогда не видел тётю Мусю – бабушкину сестру из Горловки под Донецком – она умерла в

прошлом году (ночью что-то оборвалось), но по пересказам она мне всегда нравилась за её колкости и ругательства. «Лара, ты как хочешь ешь, ты у нас птичка, а я не жрамши спать не лягу!» И пожарила вечером картошки с салом, достала малосольные огурцы, сварила толстые сардельки. Но поразило всех то, что тётя Лара ела наравне: и картошку, и огурцы, и сардельку. Она, конечно, просила: Мусенька, умоляю, мне половинку, я сыта. «Но сожрала, – пересказывает бабушка Мусю, – целую, не подавилась». Я бью колорадских жуков кирпичом, и мы смеёмся над Мусиными шутками четырёхгодичной давности. «Ничего себе птичка, – говорит тётя Муся, когда Лара попросила добавки винегрета, – прожорливая утка». Мы садимся в поле, где недавно сидела тётя Лара, и как будто возвращаем себе это место, сидим как полагается, без позы. «А привезла с собой, представляешь, ириски – «Ледокол» и «Золотой ключик». Едет из Москвы в деревню, считай, знает, какой там у Муси дефицит, а везёт ле-до-кол». Бабушка по слогам произносит Ларину скупость. «У всех же протезы, кто будет их есть – эти ириски. Так, наверное, и лежат там до сих пор». Бабушка замолкает и смотрит за поле, ей грустно представить, как сейчас в том доме после Мусиной смерти, как там стоит мебель, закрыты окна, сложены кастрюли, они тогда купили красивый эмалированный набор и поделили: бабушка увезла кастрюльку, ковшик и высокую такую кружку, а всё большое – для заготовок – оставила Мусе. «Но мы как увидели ле-до-кол – обомлели. Муся сразу сказала: в жопу бы ей вставить этот золотой ключик». Мы смеёмся: ну тётя Муся! Вернулись домой через три часа, а тётя Лара сидит за столом и, близоруко склонившись над досочкой, мелко режет огурчик для салатика. «Лара, – шутит бабушка в память о Мусе, – ты как для гномов нарезала».

Сериал «Во имя любви» тётя Лара даже успела полюбить. «Хочешь, – предлагала бабушка, – послушай радио на кухне». Но тётя Лара шла в комнату, садилась у телевизора на стул и с видом грибника рассматривала экран. Елена отдала своего сына Габриеле, ночью, тайно, во имя любви, но сможет ли Атиллу простить её, ведь он оплакивал сына, который жив. Тётя Лара ориентировалась по голосам, иногда уточняла, кого именно сейчас показывают. Тяжело ей давались сцены бессловесной любви или интриганства.

– Галочка, что они?

- Плачут.
- А сейчас?
- Целуются.
- Галочка, что там?
- Обжимаются.
- Господи!
- Теперь всё что хочешь показывают...
- Всё обжимаются, Галочка?
- Нет, это уже Бранка следит за мужем.
- А он интересный мужчина?
- Лысый, губастый, толстый.
- Мужчине достаточно быть чуть получше обезьяны.

Пока мы расставляли тарелки, тётя Лара думала над сериалом: «Как не простить мать, ведь мать всё сделает ради детей...» И лицо её было расстроенное. А когда она вышла из туалета (помыла ручки), то уже бодрым голосом (всех простила, всё в прошлом) сказала: «Галочка, напиши мне потом, чем у них всё закончится, мне Таня прочитает». Я удивлённо посмотрел на бабушку, а бабушка потом пояснила: «Да у неё в Москве в своей комнате нет телевизора, а с Таней и Валерой она не смотрит, они смотрят своё».

За ужином тётя Лара (как подслушивала нас на поле) вспомнила Мусю. Помнишь, Галочка, как Муся встала утром и говорит: «Я больше не жрамши спать не лягу!» Тётя Лара засмеялась, показав красивый ровный протез, который тут же напомнил мне про ле-до-кол. Как жалко Мусю, ведь тётя Лара думала, что доведётся ещё повидаться, съездить к морю. Вот, казалось бы, пришла безработная старость и теперь бы доживать свои сестринские жизни вместе, выложив ноги в мягкое Азовское море, а Мусенька умерла ночью (что-то оборвалось во сне), и остаётся только вспоминать. Галочка, помнишь? Тётя Лара собирала виноград каждое утро, красивые такие веточки висели против солнца и густо просвечивали. Галочка, а помнишь абрикосы какие? А черешня? Тётя Лара сильно улыбалась слепым лицом, вспоминая яркое, красное, четыре года назад она видела значительно лучше. Галочка кивала, но помнила и другое: как они с тётей Мусей шептались на кухне и даже смеялись тайно, сипло, ударяя друг друга по бокам, тише, тише, услышит. И даже сейчас, когда Муся умерла, а осталась почему-то Лара, самая старая из них, ей

всё равно смешно, как они смеялись на кухне: «Колбасу припрячу, а то вдруг проповедница ночью проголодается». А помнишь, спрашивает тётя Лара, как у Муси разболелось ухо? Это могу пересказывать даже я, потому что про это помнят все: попала, вероятно, вода на море, тётя Муся пошла к лору, а вернулась недовольная. Врач пытался сделать промывание, но ему не удалось: пробка не вышла, и нужно теперь капать.

– Старый пердун! – возмущалась тётя Муся.

– Сколько же ему лет? – удивилась тётя Лара.

– Да лет шестьдесят...

– Мусенька, так он моложе нас... – обиделась тётя Лара.

– А мы что, не пердуны? Пердуны! И ты, Лара, пердунья!

Хохотали втроём, а с тех пор и я добавился. И ты, Лара, пердунья!

Виноград висел на крыльце, тёплый ветер дул в окно.

Тётя Муся умерла (не проснулась утром, и бабушка плакала по ней и завидовала её смерти: не належалась; так бы всем, всем не обременя умереть), а к Илье в Новоазовск не наездишься (отдыхающие в каждом углу). Помнишь, как она стояла на крылечке и махала нам? говорила тётя Лара. Знать бы, что мы видели Мусеньку тогда в последний раз. Да, врала бабушка.

Бабушка как будто фокус показывала: она видела Мусю ещё, тогда, на крылечке, был не последний раз. Было ещё дополнительное, вырванное у смерти лето, о котором они с Мусей договорились не проболтаться тёте Ларе и всем вообще московским родственникам. На следующий год бабушка приезжала к Мусе одна и прожила август и даже чуть-чуть сентябрь. Привезла оттуда ящик изабеллы, и он пах на кухне, рассказывала за долгим чаем, как дела у Мусиной дочки Лоры, у внука Ванечки, показывала чёрно-жёлтые какие-то фотографии. И после этого крылечка, которое помнила Лара, Муся провожала бабушку на вокзале и даже побежала, полная, грузная, за поездом и пробежала (больно от каждого шага) совсем чуть-чуть, пока поезд не задвинул её.

Тётя Лара грустнела за пару дней до отъезда, вздыхала, предчувствовала расставание, а у нас смех давил горло, лица улыбались сами собой, математичка заболела, отменили крепостное право, советские войска прорвали блокаду. Тётя Лара возвращалась на свой двенадцатый этаж, в комнату напротив двери, откуда просто так

не выйдешь погулять, а Таня занята домом и сыном, а Валера приходит с работы раздражённый, и желательно не показываться или только – привидением – в туалет и обратно, но уж точно не заговаривать, ни о чём не спрашивать, и тётя Лара старалась из комнаты не выходить, крутила туда-сюда привычную, в деталях изученную ручку радиоприёмника, который стоял у кровати, нащупывала точки на ладонях и как-то от катаракты в другую сторону всматривалась: как там сердце, сосуды, почки, как там прожитая жизнь, как там все они, особенно сын Серёженька, лейкоз, всего двадцать лет.

– Галочка, будем надеяться на встречу следующим летом... – чуть не плакала тётя Лара.

– Живы будем – встретимся, – улыбалась бабушка.

Мы провожали её на ту же автобусную остановку, шли с удовольствием, хороший денёк, пусть дождь, пусть что угодно. На прощание бабушка обняла тётю Лару и обняла тепло, искренне, мы почти любили её за то, что она уезжает. Обнял тётю Лару и я, на ощупь она показалась мне гипсовой, неудобной, на объятие почти не ответила. Ура! Уехала! Бабушка подкупила майонез накануне, картошку, селёдку, будем есть на ночь! Квартира пару дней ещё помнила тётю Лару и по инерции подстраивалась (тёрочка на мойке, платок, если вдруг дует, висит на кресле, тапочки приглашают в коридоре), но потом понимала, что уже всё, и расслаблялась, раскидывала руки, пахла прижарками, и занавески не останавливали солнце.

Мусе, дополнительно шутила бабушка, лор сказал промывать уши. Наберите, говорит, в резиновую грушу тёплую воду, постелите под ухо полотенчико, произносите по слогам ПА-РО-ХОД и на «ХОД!» вливайте в ухо. Муся садилась и говорила: ЛЕ-ДО-КОЛ. А однажды даже: ЛА-РО-ЧКА. Бабушка хохотала, а тётя Лара ничего не понимала и отзывалась:

– Муся? Ты меня звала?

– Да хотела спросить, Лара, ты не проголодалась?

Все в конце концов проводили друг друга и оставили тётю Лару одну, старую, стрижка-каска: бабушка, молодая сестра, неожиданно умерла первой. Тётя Лара приехала на похороны с лёгкой сумкой (одну ночь переночевать), молчаливая, особенно чёрного цвета платок: вероятно, потому что седина, бледные глаза, бескровные губы. «На

кого ты меня оставила, Галочка?» – спросила тётя Лара у гроба и заплакала. Тётя Лара значительно пережила бабушку, год за годом увеличивала отрыв. «Как хорошо мы жили с Галочкой, душа в душу!» – так она вспоминала.

Потом тётя Лара пропала на годы, а вернулась уже тонкой пунктирной линией – на границе моей поездки в Москву. Я учился в институте и приехал в Москву ради музеев, гостил в Ясенева у Тани и тётя Лары. Я был влюблён, носил свою любовь всюду по Москве, спускал её в метро, и она там клокотала: где ты? где ты? Поэтому на тётю Лару я не обращал особенного внимания: ей было уже за девяносто лет, она почти не выходила из своей комнаты, иногда встречалась мне в коридоре, рукой касалась стены, в темноте коридора не понимала, кто это идёт. Меня положили на раскладушку, и, ненадёжно повиснув на пружинах, я вспомнил рассказы бабушки о том, как мы с ней спали на раскладушке в квартире на «Спортивной». Я поглядывал с московских мостов на реку, и там, под бензиновыми радужными пятнами, плыла, раскинув поломанные плавники, и смотрела на меня моя любовь. Она смотрела на меня с картин Пушкинского музея, не говоря уж о статуях – от них я даже отводил взгляд в стеснении. В день моего отъезда тётя Лара подарила мне постельное бельё, цветочное, две наволочки и пододеяльник – фиалки или анютины глазки. Бельё так давно лежало в шкафу, что казалось гербарием, подтверждением абсолютной старости тётя Лары. Я крепко обнял тётю Лару. Может быть, я и не решился бы обнимать её, но любовь моя меня расшатала. Тётя Лара вдруг оказалась мягкой, фланелевой на ощупь, словно ту, одическую тётю Лару укутали во всё мягкое. Она положила ладонь мне на затылок и назвала Юрочкой. Мы обнимались, потому что помнили бабушку, Галочку, летние нежные недели, колорадских жуков, и ветерок, который продувал иногда бабушкину квартиру. Ничего из этого мы не могли вернуть.

В мой следующий приезд в Москву (я писал диплом, мне нужно было в библиотеку иностранной литературы) тётя Лара уже стояла гранитной вазой на своём шкафу. Я спал в её комнате, на её кровати, разложил вещи на её кресле. Но вазу я перескакивал взглядом каждое утро, когда одевался. Ваза видом (тёмно-синяя, с массивной крышкой) была как-то связана с тётей Ларой, только выглядела строже и принципиальнее, стоять перед ней в одних трусах было неловко. И

чтобы не стесняться её, я сказал по слогам: «ЛЕ-ДО-КОЛ!» Все засмеялись – кто как мог.

Эмма Миха...

Эмма Михална едет к нам в гости, бабушка позвала её, как будто руку протянула: ну что вы там будете одна на старый Новый год, Людочка же ещё не приехала на сессию. И Эмма Михална согласилась: действительно, чего сидеть одной, ходить по скрипучему паркету, привычно отражаться в зеркалах, слушать, как ребёнок на пятом этаже разучивает, ошибаясь, пьесу для фортепиано. Поэтому Эмма Михална поменяла постельное бельё, постирала, почитала, что-то ещё с той же приставкой (погладила?), и ей было приятно от мысли, что где-то суетятся, готовят с самого утра, а Эмма Михална спокойно заваривает чай. Эмма Михална даже вышла чуть позже, подкопила спокойный домашний день. В сумке несла конфеты, которые ей подарили на именины, но она их сохранила для таких вот гостей. На улице ещё было светло, но над дорогой уже горели, растрачивая, фонари. Быстро, не дав замёрзнуть, приехал троллейбус, и Эмма Михална села к окну, серым снегом потянулась улица Розы Люксембург, почта, сберкасса, синие заветренные окна гастронома, и Эмма Михална наметила себе, что она завтра, после сберкассы, купит. Особенно хотелось халвы, вспомнился масляный, сильный вкус, и Эмма Михална свернула на Карла Либкнехта, предчувствуя халву. Пока она ехала в троллейбусе, город стемнел, и в чужом дворе пришлось идти осторожно, было страшно упасть. В подъезде, где Эмма Михална не была целый год, привычно пахло подвалом, но чем выше, тем меньше чувствовался запах, а у бабушки на этаже пахло так, что было понятно: люди встали пораньше и долго варили, жарили, запекали, ждали гостей. Эмма Михална позвонила в дверь, услышала шаги, заранее заулыбалась.

Эмма Михална тихо солирует, но вот для неё хор: Галя, Маша, Диечка, бабушка. Раз в год, на старый Новый год, к бабушке приходили её давние подруги. Вместе получалось триста тридцать лет.

Бабушкина тёзка, полная рифма – Галя, работавшая, как и бабушка когда-то, санитарочкой. Она была улыбчивой краснолицей женщиной, но улыбка её пугала меня: весь рот Гали был заполнен железными блестящими зубами. Пока Галя хмуро рассказывала о том, как уволилась из больницы и пошла на птицефабрику птичницей, она выглядела ловкой современной женщиной, сумевшей пристроиться: ей

на работе очень дёшево продавали крылья, голени, яйца, да и физически легче это – ходить за птицей, а не стариков ворочать. Но когда Галя улыбалась (иногда и яички перепадают, ну два-три за смену), казалось, что Галя только притворяется птичницей, а на самом деле она – робот, злой терминатор, угрожающий человечеству. Почему у неё такие зубы? спросил я бабушку. Когда-то было так модно, грустно объяснила бабушка, у Веры в Мариуполе вообще весь рот был золотой, как картинка ходила. Галя считалась до обидного молодой – только что вышла на пенсию, поэтому ей приписывались все желания молодых – одеться, подкраситься, сделать ремонт.

Дичка напоминала именем кислые яблоки. Только к концу школы я расшифровал её как Диечку, Дию Владимировну, но она всё равно вспоминается черенком, гнущейся фруктовой палочкой – худенькая гипертоничка, с упрямыми, не поседевшими до конца волосами. Диечка недавно похоронила мужа и постоянно перечисляла симптомы его последнего дня: сперва голова болела, потом как будто тошнота, и она стала искать активированный уголь. А у него, оказывается, инсульт случился, и так ей было жалко его последней надежды: вот выпью уголь, и полегчает.

Тётя Маша, дальняя, но верная родственница с непрояснёнными связями: у бабушки был почти неродной, на кончике ложечки, брат, а Маша – это его жена, причём вторая. Бабушка называла её ягодно – Маруся, поэтому мне всегда за тётёй Машей мерещилась какая-то красная прозрачная ягодка. В альбоме есть старая фотография тёти Маши, которую она, кажется, сама нам и оставила, чтобы попрочнее обосноваться: у тёти Маши косички-дурочки, ей, наверное, нет и двадцати лет, лицо напряжённое, спорящее с косичками, неизвестная огромная жизнь предчувствуется тётёй Машей, как будто она на вжатой пружине сидит, и – вот-вот. Тётя Маша всегда приносила какую-нибудь крупную невкусную еду: комок пельменей (зимой) или капустный пирог (летом). Эта еда хранилась долго, на чёрный день, если вдруг снова война и немцы – вот тогда вытащим пельменный камень и отколем от него. Машу сильно жалели, потому что единственный сын у Маши оказался неблагополучным: спился, попрошайничал на улицах, его жена, тоже выпивающая, разнимала дерущихся соседей, и ей ткнули в лицо разбитой бутылкой, изуродовав, лишив зрения. Тётя Маша забрала у них внука Ванечку,

разменялась с доплатой и жила в удачно купленной, но очень тёмной квартире где-то в промзонной складке города. Ванечка был нежным мальчиком, но попал в компанию, стал дышать клеем, воровал у Маши деньги, обзывал. А Маша, сильно разогнавшись в начале (уж так он обнимал её), не могла перестать его любить. От жизни тёти Маши хотелось зажмуриться, и ей всегда собирали большую сумку с собой – уж как-нибудь, Маруся.

Наш с бабушкой день начинается, как Эмма Михална и предполагала. С самого утра пахнет пока даже не пирогом, а тестом и жареным луком. Ничего ещё не сложилось, но уже обещано. Мы, неудобно согнувшись у шкафа, ищем скатерть, всё попадается не то, и бабушка выкладывает мне на руки случайно выскочившие полотенца, которые она как-то искала и не нашла, отбракованные скатерти (вишнёвое пятно, слишком маленькая, дырка, след утюга). Наконец обнаруживается нужная скатерть, смещённая к стенке, дополнительно измятая, с ней придётся побороться. Скатерть не отпускает складки, и бабушка долго, в ущерб салату, гладит её. Потом быстренько дорезать в салат то, что остужалось на балконе, порубить замороженный укроп на рыбу, чтобы отправить её в духовку. Успеть бы поставить пирог до гостей, но, конечно, не успеваем: Маша на правах родственницы приходит за час и садится на стул в кухне рассматривать еду, подгадывать, что можно будет взять с собой, изучать, что вообще нового появилось у бабушки. Замечена банка мёда, и теперь всё вокруг этого мёда: где брала? а в какую цену? Сама Маша вот где берёт: от МОПРа надо ехать на семёрке, потом так вот пройти к этой улице, как её... Красноармейская? подсказывает бабушка. Да нет, какое там, недовольно отвергает Маша. Я уношу селёдку под шубой на стол, но возвращаюсь не сразу: мне нравится быть одному в комнате, пока Маша рассказывает про мёд. Я открываю шкатулку, не из любопытства, я хорошо знаю, что там (старые отменённые деньги, несколько бусинок, брошка, янтарные бусы), но всегда приятно открыть шкатулку. Звонок в дверь – приходит Диечка с нервной веточкой хризантемы, сразу сообщает, что шла одну остановку пешком от цветочного магазина, потому что в троллейбусе обязательно бы прижали. Бабушка просит меня освободить вазу от сухоцветов, и я освобождаю долго, избегая неловкости разговоров с Диечкой: она всегда дарит шоколадку, маленькую, совсем, как мне кажется, детскую,

и за эту мелочь нужно благодарить и стесняться. Ко мне в комнату приходит Маша со скумбрией, пробует колбасу, сыр и раздвигает куски, чтобы было незаметно, что она попробовала, при взрослых она не стала бы, а ребёнка она не стыдится. Я приношу вазу. Диечка сидит на кухне, всем видом своим показывая, что ей пришлось ехать долго и, может быть, даже с пересадкой. Чапаева! вспоминает Маша название улицы и настойчиво рассказывает, куда там по ней идти, чтобы взять хороший мёд. Бабушка собирает пирог, подворачивает краешки и невнимательно, почти раздражаясь, кивает Маше. Диечка вообще мёд не любит. Приходит Галя, самая молодая, со всеми на *вы* и с особенным уважением, ехала на единичке, и какой-то мужик положил Гале на плечо обои. Маша догадывается: наверное, со строительного рынка, он там, где танк, что это за остановка?.. Я ему говорю, мужчина, вы что на меня положили как на прилавок? Галя, смущаясь, дарит бабушке что-то своё, простое – яйца (аа! понимающе улыбается бабушка) и сухие грибы (сама насобирала, Галя?). Маша смотрит внимательно, называя всё, но уточняя: какие грибы? это какой категории яйца? чем кормите птицу? Галя отвечает как ребёнку, не договаривая: белые и подберёзовики, первая, да комбикормом, а чем ещё. Бабушка отправляет всех садиться и ставит пирог, засекает время: «Юрочка, в двадцать минут, не забудь!» И вот наконец, когда все уже сели, Маша положила себе «шубу», Галя стесняется с одной колбасой, а Диечка уже хвалит скумбрию, звонок – Эмма Михална. Бабушка идёт открывать.

Эмма Михална была задумана для тихой части городского парка, где вечная тень от храма, куда люди, увлечённые фонтанами, не доходят – вот там Эмма Михална, из аккуратного гипса и серого твида, у ног бархатцы или сиреневые астры, если уже пора в школу, белые камешки окружают её. Такой она и пришла – белая, прохладная, по-мраморному сдержанная. Детский мой взгляд не видел главного в Эмме Михалне, но сегодня утром бабушка упомянула, что Эмме Михалне всегда тяжело с верхней одеждой. Почему? удивился я. Бабушка удивилась ещё больше: разве ты не замечал? у Эммы Михалны горб. Я действительно не замечал. Присмотрись вечером, говорит бабушка. Одиночество Эммы Михалны – общеизвестный грустный факт, чаще всего всплывающий в разговорах о еде: ей одной много не нужно, для себя одной она не печёт, да сколько ей одной

нужно огурцов. Два раза в год к ней приезжает племянница, студентка заочного отделения филологического факультета, и живёт по месяцу, вот тогда только разжигает Эмма Михална духовку, замешивает тесто. А одной ей много не надо. Это из-за горба она одна? спрашиваю я. Но бабушке сложно сказать – может быть, из-за горба, а может быть, такое воспитание, что она лучше дома с книгой посидит, может быть, припоминает бабушка, была у Эммы Михалны какая-то неудачная история много лет назад. Но итог такой – аккуратное, сгорбленное одиночество на улице Розы Люксембург, от остановки немного вглубь, в сторону Дома быта.

В коридоре раздаются звуки подаренной коробки конфет (ну что вы, нет, нет, пусть будет к чаю), и Эмма Михална входит – интеллигентно, извиняясь позой, как бы говоря: я что-то припозднилась, не рассчитала, да и через весь город. У Эммы Михалны яркие красные губы, не для красоты, а для торжественности, как транспарант, флаг, шары на параде. Вот теперь, когда все чётко соответствуют количеству фужеров (громоздкое, легко бьющееся слово), становится понятно, что всё началось. Ну, говорит Эмма Михална, сядет он за свой прибор ужинать с тобою. Все недоумевают, а Эмма Михална рассказывает, что они с племянницей разучивали к сессии «Светлану» Жуковского, и она с тех пор повторяет её, чтобы тренировать память. У меня уже и тренировать нечего, смеётся бабушка, про пирог бы не забыть. Я смотрю на часы: ещё семь минут. Геннадий Михалыч, вспоминает Диечка, знал всего «Онегина» наизусть, ну просто с любого места, восхищается она, мог читать. Галя вежливо улыбается, наконец перестаёт стесняться и ест, бабушка жалеет Геннадия Михалыча: куда теперь делся заученный «Онегин». А «Горе от ума» – просто обожал! настаивает Диечка. Юрочка, принеси ложку для кабачковой икры. Я встаю, и совершаю специальный манёвр: иду со стороны Эммы Михалны и рассматриваю её спину, кажется, вижу горб. На обратном пути присматриваюсь снова: почти наверняка – горб. Детям ничего не передалось, расстраивается Диечка, совсем не читают, ни за одной книгой не приехали, а ведь у нас была подписка из «Огонька». Все грустят, Галя цепляет кусочек скумбрии. Я всё продала, говорит Маша сурово, сколько было книг у мужа – всё продала: и пылились, и читать я их не стану, и на Ванечку нужно сколько. От Ванечки все закивали, Ванечку давно все знают, все знают

и то, что Маша под подушку кладёт пенсию и так спит, что носит деньги с собой, боясь оставить дома, поэтому в груди у неё всегда шуршит пакетом. «Бабушка, двадцать минут», – говорю я, и бабушка срывается на кухню, боится чёрной корочки, а Маша продолжает без неё: что покупала ему, он же всё сам и продал, вижу, он давно не играет в эту свою игру, которая к телевизору, а он её и продал уже. Да, выдыхают все задумчиво, Диечка пробует перчик маринованный, Галя хочет посочувствовать, но не знает как, и тайно рада за свою дочь с аккуратным почерком, первый курс, я думаю про «Денди» и как мне его никогда не купят. Что с ним будет дальше? спрашивает Диечка, она никогда не видела Ванечку, и ей интересно от чужих проблем, наркоманы ведь чем старше, тем хуже. Лучший друг нам в жизни сей – вера в провиденье! подводит итог Эмма Михална. Бабушка приносит пирог, и всё вкусно, и всё получилось, все хвалят, но бабушка упрямится: чуть подсох. Я иду ставить чайник, прислушиваюсь ко всем через стену, но чувствую большую свободу, как бывает, если выйдешь на минутку из-за стола, где много взрослых, даже старых людей. Я приношу чайник (уточняю на всякий случай: очевидный горб), и тут Диечка говорит: «Юрочка! У меня же для тебя шоколадка!»

Вечером, когда праздник скомкан, разрезан, размазан, сложен Маше в большую сумку, мы повторяем все номера троллейбусов, снова обсуждаем маршруты. Диечка надеется на пятьдесят второй автобус, он ходит редко и вокруг, но прямо от бабушки, не пересаживаться, это она сюда ехала на двойке, ведь ей надо было в цветочный магазин, надеюсь, постоит хризантема. Галя на единичке поедет, скромно, ничего не рассказав, но наулыбавшись железными зубами, даже в тёмном подъезде сверкают. Маша, с сумкой еды, пойдёт до площади и на сорок восьмом домой, к Ванечке, всем от этого грустно, но слава богу, хоть завтра не готовить. Эмма Михална тоже с площади, чтобы на пятёрке сразу домой, но отдельно от Маши, ей не хочется слушать про Ванечку, поэтому она медлит, просит у бабушки книгу про Анжелику и уходит последней. Мы прощаемся легко, гулко хлопает дверь, теперь всем им ещё ехать и мёрзнуть, а мы – дома и в тепле, вознаграждены за всю суету.

Мы с бабушкой собираем посуду, пристраиваем в холодильник то, что не доели, блюдечко со скумбрией ненадёжно замирает на

трёхлитровой банке, баклажанная икра понижена от хрусталя до пиалы с отбитым краешком, прикрыта тарелочкой, пирог под полотенцем. Хочется обычного, непраздничного чаю, из обычной чашки, под осуждающим взором вымытого сервиза. Ну что, заметил горб? спрашивает бабушка.

Эмма Михална едет домой. Жёлтый свет в троллейбусе, темнота на улицах, только гастрономы посматривают витринами, соки, воды, бакалея. Тускло светится луна в сумраке тумана, думает Эмма Михална, и раз уж ехать ей далеко, она тренирует память, и когда сворачивали с Октябрьского проспекта на улицу Ленина, оглянулась – милый к ней простирает руки, радость, свет моих очей, нет для нас разлуки. И Эмма Михална, как незамужняя женщина, с горбом, произносит с особой, неопробованной мягкостью *милый, милый, милый друг далёко*. Эмма Михална отвлеклась на какую-то женщину, которая показалась ей знакомой и долго, робость ей волнует грудь, две остановки присматривалась к ней через салон, но так и не узнала. Робость в ней волнует грудь, страшно, страшно, припоминала Эмма Михална, пока ехала по улице Сакко и Ванцетти, что-то взглянуть там, женщина вышла и под фонарём оказалась продавщицей из магазина около бывшей работы, страшно ей назад взглянуть, страх туманит очи, что-то там полуночи, сдалась Эмма Михална и поехала пока без стихов, намереваясь не пропустить электронный градусник на универмаге. И наблюдала разжатым грустным умом, освободившимся от «Светланы», окна второго этажа в домах: вот у кого-то гарнитур такой белый, вот лампа, как у Ларисы. Автобус подъезжал к универмагу, и Эмма Михална сосредоточилась, чтобы успеть прочесть, но, слава богу, светофор, и табло долго, даже надоело, показывало погоду – минус двенадцать, и время – 20:43, сделалось даже 20:44. Дальше Эмма Михална поехала довольная, и теперь только её остановка, никаких больше целей в дороге, автобус свернул, распрощавшись с ярким цирком, на совсем уже тихие тёмные улицы, заводской район, скачут... пусто всё вокруг, степь в очах Светланы, припомнила Эмма Михална и решила до конца читать, и читала, читала, пока не вышла из автобуса, а тут уже пришлось присматриваться, чтобы не упасть, поэтому снова расправила она ритм только у почты: ворон каркает печаль, кони суетливы, домик или нет не домик хижина под снегом, дверь качнулась, скрипит (даже так, с *ы*

прочитала Эмма Михална), но когда дошла до в избушке гроб накрыт, перепутала и сказала горб, и дальше вспоминать не хотелось, поэтому она проскочила мимо мертвеца, мимо всякого ужаса тёмного подъезда, когда открываешь только дверь, и там не горит свет. Поднявшись первые пять ступенек, Эмма Михална нажала на выключатель, и электричество преданно, по-собачьи отозвалось. Тогда Эмма Михална, взявшись за перила, прочитала едва ли не вслух свою любимую, мудрую часть: лучший друг нам в жизни сей – вера в провиденье, здесь несчастье (у почтовых ящиков) лживый сон, счастье – пробужденье. Дома Эмма Михална тоже захотела чаю (селёдка, скумбрия), сидела на кухне у тёмных окон, где герани, олеандр, фиалки – все отодвинуты от морозных стёкол, по радио передавали песни, которых Эмма Михална не знала, иностранные, и она выключила радио, в квартире сделалось тихо, только слышно было, как в подъезде ухает, как будто бьётся кто-то и не может захлопнуть дверь. Когда это стихло, Эмма Михална прислушивалась к своей квартире (четвёртый этаж пятиэтажного дома по улице Розы Люксембург) – сервант, портрет, паркет молчали, деликатно, тихонько вздрагивали часы, в трубах в туалете скинулась от соседей сверху вода, заворчал холодильник. Эмма Михална проверила замок, навесила цепочку, из-за чего почувствовала себя уютно, безопасно, захотелось лечь в кровать и включить маленькую лампочку, чтобы она светила жёлтым светом ей одной в огромном зимнем мире, и она легла во всё своё ситцевое, прокипячённое, открыла книгу и читала, и ничего не напоминало ей о том, что у неё горб, что она одинокую прожила жизнь. Утром, около семи, Эмма Михална проснулась и лежала полчаса, постепенно вспоминая себя, вчерашний день, планы на сегодня, квартира была ещё серой, не прояснённой солнцем. Эмма Михална заварила чай с мятой, чувствуя, что заботится о сердце, съела мягкий творог и решила сразу пойти за пенсией, чтобы успеть в гастроном и до обеда вернуться, на день было что-то запланировано, обведено в программе телепередач. Эмма Михална оделась, защитив шею платком, аккуратно поставив на голову норковую шапку, которую она старалась беречь, ведь новую не купить, и сразу, дома, натянула перчатки, пусть руки греются уже в подъезде. По дороге в сберкассу (девять утра, я ещё не проснулся) Эмма Михална только дотрагивалась до всякой мысли и никакую не обдумывала долго: будет ли очередь,

отложить на сберкнижку, как обычно, заглянуть в гастроном, подкупить, приятно вспомнилась халва, а за ней следом умершая сестра, которая тоже её любила, но это без особенной грусти, халва победила. В сберкассе было тепло и пахло бумажными бланками. Эмма Михална едва доставала до окошка, поэтому всегда неловко убирала деньги в сумку, пыталась спрятать поглубже и, чтобы очередь не заметила сумму, сразу сжимала деньги в кулак, поэтому казалось всегда, что она сняла больше, чем на самом деле. На обратном пути зашла в гастроном, взяла молока и ряженку в стеклянной бутылке, хлеба – четвертинку. Халва закончилась, и Эмма Михална решила на пастилу, сероватую, слипшуюся, но хоть как-то развлекающую сумку. Эмма Михална остороженько обошла магазин, гололёд, а песком пока не посыпали, по диагонали пересекла двор (качели, скованная морозом песочница, окоченевшие тополя) и зашла в подъезд. У почтовых ящиков наклюнулись, повторяя вчерашний вечер, слова *лучший друг, в жизни сей*, но Эмма Михална не успела выровнять строчку, когда кто-то неожиданно задвигавшийся сзади ударил её по голове, она испугалась и одновременно с этим подумала: как же так, можно же испортить шапку. Падая, Эмма Михална почувствовала боль и вместе с тем старалась поаккуратнее упасть, ведь в сумке стеклянная бутылка с ряженкой. Но упала как смогла. Человека, который двигался (она слышала его энергичные, рывком движения) рядом с ней, Эмма Михална не увидела. И тёмное, болезненное наступило на неё и накрыло волной, как будто мучительно выключили свет. Ряженку (бутылка не разбилась), хлеб, молоко, пастилу, сумку нашли во дворе на удалении друг от друга, кто-то шёл и постепенно выкидывал ненужное.

На следующий день как-то через знакомых нашли Диечку, а она уже сообщила бабушке, мы ещё не доели пирог. Ведь пенсия-то у неё, говорила бабушка, сто тридцать рублей. А из этого ещё квартплата, за страховку она платила племяннице, откладывала похоронные. И за эти вот копейки убили, обижалась бабушка, за крохи. Убили, убили, звонила всем знакомым Диечка. Да что ты, и насмерть? удивилась Маша уже на восьмое марта, когда приехала праздновать. А кто же? Никто не знает, сказала бабушка, наркоман, наверное, какой-нибудь, и обе они вдруг испугались Ванечки. А я думал, заметил ли он горб, когда подходил к Эмме Михалне со спины? И почему-то мне казалось, что если бы заметил, то передумал бы.

Как корова слизнула Эмму Михалну – стало меньше сапожек в прихожей во время праздника. Вспоминать её не любили из-за ужасно несправедливой, за копейки гибели. Говорили о ней редко, фотографии с ней быстро пролистывали: с дивана смотрела убитая по голове женщина. Но и молчания после Эммы Михалны не наступило. Её смерть стонала, ухала, гудела страшным басом в каждом подъезде, где мы бывали. Кто-то вошёл, напоминала Эмма Михална, и поднимается. И мы смотрели (и смотрим до сих пор) в испуганный дверной глазок: крадущиеся, занёсшие руку тени терпеливо ждут, пока мы выйдем.

В церкви

И который уже раз (как будто за спиной нам кричат «Не снято! Не снято! Давайте снова!») мы с Игорем залезаем в церковь через разбитое окно. С нами нет безопасного Миши, Миша вообще летом в деревне, всё это была выдумка, а только мы вдвоём – я (заикаясь) и Игорь. Мы залезаем в окно безо всякой цели, нам не нужно укрываться от дождя, а просто хочется оказаться в темноте посреди летнего, ясного через запятую понятного дня, и мы подтягиваемся и, победив высоту, проваливаемся, нас больше не видно. В церкви пахнет гнилым, умершим, чем-то деревянным, чем-то, кажется, кислым вроде яблок, а если сделать пару шагов, то пахнет мочой и тем, что хуже.

Но мы не боимся запахов, они всегда такие в темноте, а мы с Игорем только вчера были в абсолютной темноте подвала под домом: вредный сквозняк задувал наши спички, и мы долго шли (над головой горячие трубы), плутали в подвале пятиэтажки, который силился повторить план дома, но пропускал стены, путал повороты, и мы несколько раз сворачивали не туда и возвращались. Но вот наконец туда: впереди, как облегчение, вывалило свет подвальное кошачье окошко, а значит, после этого направо, снова направо и – на месте. В этом подземном незрячем мире у каждой хорошо освещённой квартиры есть своё представительство – сарай, на деревянной двери повторяется номер. Некоторые сараи заброшенные, незапертые, но, если есть огород или дети, тут запирают и хранят в рифму банки и санки. Мы приходим к двери нашего сарая. Мама дала нам повод: принеси из подвала банки для огурцов, литровые. По очереди вспотев (не поддаётся!), мы открыли старый замок и зашли. Здесь нет сквозняка, Игорь чиркнул спичкой, и две полки банок ответили тут же хором пол-литровых, литровых, до трёхлитровых на полу не дотягивается веселье, и они, басом вспыхнув, сразу потускнели, чёрным дном обречены. В банке (детское питание) торчала свечка, которую (не забыть потушить!) я зажёл, и в темноте заплесало лицо Игоря: один яркий глаз, раздвоившийся тенью нос, довольная подвалом улыбка. Зачем-то кто-то (отец-искуситель) сделал задвижку на внутренней, щекочущей стороне двери (толстый деревянный

ромбик), и мы чувствовали себя в полной торжествующей безопасности: ну вот. «Ну что?» – спрашиваю я. Игорь улыбается.

Игоря привезли в апреле из подмосковной, не решившей с ударением Балашихи. Он жил у своей тётки, наши балконы делили одну плиту, и он, перегнувшись через перила, свистел мне, чтобы я вышел. Игорь не ходил в школу, просыпался и смотрел телевизор, и в этой его свободе (целая четверть!) чувствовалось какое-то несчастье. Скоро выяснилось: мать Игоря, пока он был в школе, а отец на работе, выбросилась из окна девятого этажа с полуторагодовалым сыном, оба ударились и погибли. С отцом случился инфаркт, ведь ничего не предвещало: ну уставшая, ну какая-то стала несобранная, зачем-то достанет всю посуду из серванта и не может сложить обратно, но не бросаться же из-за этого из окна. Отец оказался в реанимации, а Игорь – у тётки Шуры, сестры отца, которая до этого видела Игоря всего пару раз и поэтому говорила с ним вежливо, как с незнакомцем, и боялась, что глаза у него и две родинки на шее (одна под другой) – совсем как у матери, а это теперь для неё было как-то связано с безумием. Но она жалела его и всё время жарила блины, которые считала лакомством: в подъезде стоял дымный блинный запах, и соседи знали, что это Шура печёт блины племяннику. Мамина подруга (огород рядом с Шурой) принесла лук-севок и рассказывала маме на кухне, от волнения примеряя снятое обручальное кольцо на каждый палец, особенно мучая большой: «Ведь она не с ним вместе прыгала, а выкинула его одного, и только потом сама прыгнула. До такой степени».

А мне его родинки нравились. И летом никто не ходил в школу, поэтому Игорь казался обычным школьником на каникулах. Если посмотреть на него, перевесившегося через перила балкона, потушившего сигарету в нашем горшке с геранью, чтобы тётка не заметила окурка (а я потом подброшу его в банку с окурками отца), если посмотреть на него сейчас, в июне, не верилось в рассказ о его маме, такого, понимал я с облегчением, вообще не бывает. «В книге, – говорит Игорь, делая мудрое лицо, – мужик высадил личинки мух на пенис (это слово Игорь из-за тенниса произносил с удвоенным «н») и ждал, пока они вылупятся, чтобы словить кайф». Игорь читает эротический триллер, который он привёз из дома: на чёрной блестящей обложке женщина с большими раскосыми грудями, на шее

у неё – петля змеи, в руках – пистолет. Он обещает взять книгу с собой, когда мы пойдём гулять. «Куда сегодня?» – спрашиваю я. Игорь пожимает плечами, высовывается с балкона по пояс и долго, с вызовом смотрит вниз, и я думаю, что, может быть, всё это и правда.

До заброшенной церкви мы сначала ехали на автобусе, а потом дорога обрывалась и выкидывала нас: конечная, дальше – сами, через поле. И мы шли через поле, через мостик, мимо дачных заборов, за кустами сухонько тяпали дачники. Краснокирпичная церковь обижалась на краю села: обезглавленная колокольня, выбитые окна. От вида церкви в животе начинало двигаться что-то прохладное, с лезвием. Мы подходили, изображая беззаботность походки (я ждал в подъезде и слышал, как Игорь крикнул тётке: «Я с пацанами на тарзанку!»), возле последнего деревенского дома монументально жевала траву корова, а вокруг неё суетливо спотыкались, почти пародируя её, куры. Ловкий подмосковный (казалось, именно поэтому он так умеет) Игорь цеплялся за кирпичи, хватался за железный прут бывшей решётки и подтягивался. А оказавшись наверху, спускал мне руку. Я каждый раз не был уверен, поможет ли он мне, и старался не надеяться, но, когда он снова и снова оказывался добрым, великодушным (а это почему-то не вязалось с тем, что он подмосковный), я брался за его руку и был благодарен этой руке за то, что она хотела затащить меня в старую церковь, как будто нуждалась во мне. Не умея подтягиваться, я ломался пополам, помогал себе ногами, обдирал колени. Но наконец мы оба стояли в проёме окна. Солнечный свет падал через окно внутрь церкви и лежал на земле. Пахло гнилой картошкой, чем-то тяжёлым, кирпичным. Игорь, конечно, спрыгивал первым и независимо исследовал церковь, а я ждал, пока он обернётся, и он оборачивался где-то у алтаря, если вдруг представить алтарь там. «Ну...» – начинал Игорь никогда не досказанное предложение, и я прыгал к нему. Прыгать было приятно, потому что всё внутри подскакивало. Не снято!

У гаражей построили деревянную сцену и оставили пустовать, никто не пел и не танцевал там, ну разве что дети иногда забирались на неё, чтобы спрыгнуть на землю. Нас с Игорем интересует изнанка, тайник, и мы через отодранные доски пролезаем под сцену. Здесь темнота, в некоторых местах продырявленная щелями, свет мизинчиком пытается дотянуться до земли, низко, нельзя разогнуть

спину, и Игорь двигается, как какой-то зверёк, глубоко присев на корточки. На крышке, на которой мы обычно сидим, Игорь снимает футболку. Снято! Снято! Нет, подождите: Игорь снимает упирающуюся футболку и аккуратно, даже хозяйственно, чтобы не испачкать, складывает её рядом, а потом смотрит на меня с особенной смелостью, которую я пытаюсь повторить, но не к месту улыбаюсь, опускаю глаза (как будто что-то потерял) и тут же поднимаю (как будто нашёл), и мелко, быстро перестукивается сердце, а в горле круглеет что-то плотное.

Игорь знает стихотворение, которым можно делать массаж: «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый». Зерно изображается ударами пальцев, как будто печатаешь на печатной машинке, куры клюют ноготками, гуси щиплют кожу, слон топчет кулаками, в конце ниоткуда появляется письмо и долгими, нежными поглаживаниями идёт по позвоночнику, письмо шло и пришло: последний шлепок в любое место на спине. «А мать мне делала вот так», – сказал Игорь и шлёпнул меня по попе, повторяя умершую весной шутку. Мы замолчали, потому что оба заметили, что Игорь впервые упомянул свою маму.

Мы с Игорем идём к церкви от реки. Мы плавали, у нас однокоренные синенькие плавки, которые мы постоянно чувствуем: мокрый холодок, и наше тело стало как будто неудобным. Игорь ловко залезает в церковь (в который уже раз? снято?), а я решаю залезть через другое окно, и когда он оборачивается, чтобы подать мне руку, меня нет внизу, и мне приятно понимать, что он удивляется. Мне хочется не сразу же и не во всём следовать за Игорем, а сделать такой вот отступ – соседнее окно через пару минут: потерял меня? Но Игорь быстро, не позвав меня, прыгает в церковь, я слышу, как его тело собранно, прицелившись, приземляется. Мои колени горят от кирпичей, на ладонях крошка. Я встаю в оконном проёме – тень моя падает на разбитые пивные бутылки, Игорь смотрит на меня. Я прыгиваю, в церкви пахнет гнилыми грушами, сыростью, вчера прошёл дождь. Игорь засовывает руку в штаны и решает («Мокрые!») снять плавки. Он спускает штаны, сделав угол правой ногой, футболка повисает на Игоре, тонкие ноги торчат из неё. Когда он снимает плавки, я отворачиваюсь, чтобы ничего не заметить, и чувствую особенное одиночество, которое бывает, если за спиной у тебя чужое,

белое тело, а до коленей дотрагивается ветерок. Всю дорогу к дому мы почему-то молчим, «опель» в заплатках обгоняет нас и, стараясь, гудит впереди, забирается на холм. А в подъезде на лестнице Игорь резко останавливается, чтобы я врезался в него, и я врезаюсь, а он держит руками перила и стену подъезда, не пропуская меня. Я залезаю рукой в его карман, достаю оттуда, как будто шутя, комок мокрых плавок и прячу их в свой карман. Мы звоним в наши звонки, почти одновременно (Шура немного опаздывает) открываются двери. И пока я отвечаю что-то маме (пахнет помидорами и чесноком, летний ужин, макароны не буду), я слышу, как на балконе свистит Игорь, вызывая меня. Он успел пройти за стеной от двери до балкона и снова зовёт меня. Снято!

Бабушка пролезает в окно церкви, как в любой рассказ, и говорит: «Будем кайфовать!» Имеет в виду что-то детское, с шоколадной крошкой, слово услышала по радио («Как теперь говорят молодые люди!») и решила (семьдесят четыре года) вот так, шутя, за столом сказать кайфовать, хотя сама бы предпочла «Будем наслаждаться!». Меня пробивает внезапный пот, но я тут же понимаю, что нет, она не может никак знать, что мы с Игорем залезаем в церковь, ныряем под сцену, поворачиваем щеколду на двери сарая, и он говорит: «Покайфуем?» Нет, тут всего-навсего мороженое. Я ем мороженое (бабушка: «Кайф!») с острым чувством греха и даже, кажется, ощущаю запахи.

Осенью я планировал купить фотоаппарат, а пока взял «Любитель» у отца и практиковался (выдержка, диафрагма) неделю. Нужно было сдвинуть защёлку с верхней крышечки, и фотоаппарат, откинув створки, открывался, как коробочка с фокусом. Смотреть надо было сверху вниз, и там, на дне колодца, под толщей стекла отражался Игорь, поворот реки, лес, кошка, а если отогнуть ещё специальную лупу, то Игорь приближался, крупно облизывал губы. Когда я напечатал фотографии, оказалось, что всё вышло нечёткое, заплаканное: садовый домик, пионы, родители, гости на мамином дне рождения, Игорь задирает подбородок. Следующие двенадцать кадров я снимал иначе: долго прицеливался, просил Игоря держать у лица лоскуток узорчатого бабушкиного платья, чтобы настроить резкость. Отец научил меня выставлять расстояние до объекта, и я выставлял: три метра, два метра, один метр. Игорь, как и полагается, смеялся,

брал лоскуток в рот, вешал на ухо, но я выжидал, пока ему надоест (выдержка, выдержка), так я запомнил его родинки, и потом, когда Игорь терял интерес, я набирал воздуха (диафрагма) и решительно нажимал на кнопку, плёнка, что-то схватив, уползала. Не терпелось быстрее доснять, чтобы завтра уже отнести в фотопечать: чётко или нет? И мы шли дальше в лес, Игорь стоял под елью, подавленный ветками и темнотой, и ехали к реке, где Игорь изображал памятник: голову чуть влево (вправо), рука на боку, а вторая поднята вверх, как бы прикрывает солнце, чёрная футболка, сумочка на поясе с тайнами (сигареты, игральные карты с голыми женщинами, кудри, клипсы, соски). Получилось чётко: Игорь остался на фотографиях со всеми тонкими складочками, в лесу и на речке, зелёный и синий фон, невысокий стриженный мальчик, аккуратная детская голова из размашистой Балашихи, футболка показывает тонкую любопытную шею.

В августе тётка, обнаружив как-то в кармане Игоревых шорт мокрые плавки, узнала, что Игорь ходит без спроса на реку. Она стала запирает его дома на нижний замок. «Пусть тебя отец отпускает, а я не разрешаю», – сказала тётка. За лето обточилось горе, все привыкли к смерти, и тётка устала жалеть Игоря и готовить для него, торопила уже осень, когда отец Игоря закончит ремонт в новой квартире, куда он решил переехать, и заберёт уже мальчика. Игорь подслушал, как она жаловалась знакомой на рынке, что вроде бы всего лишь ребёнок, а стирка, готовка – устала. Игорь не спорил и не защищался, но, когда она уходила на работу, свистел мне с балкона, и, если не выходной день, если отца не было дома, если тётка не должна была прийти на обед, если никто не курил на соседних балконах, если никто не вешал постельное бельё на верёвках перед нашим домом – если весь этот сложный набор совпадал, он ставил ногу на перила, залезал на них и, обняв ногами тонкую металлическую перегородку между нашими балконами, изобразив секс и стоны, подёргавшись, чтобы я испугался, что он упадёт, перелезал ко мне. Я отодвигал буйно, почти бесстыдно цветущие бегонии. Мы смотрели телевизор, перебирали отцовский шкаф с фототехникой, долго рассматривали политический атлас мира: я бы хотел поехать в (по слогам) Вальпараисо (заметили Раису), а я бы на остров Гоф (брит. в скобках расшифровывался до бритый, и только потом до британский). Выходить гулять мы боялись, но несколько раз

с холодными весёлыми животами выбегали на улицу и сразу прятались в лесу от глаз соседей. Тётка работала на базе, с восьми до пяти, в пятницу до четырёх, идти пятнадцать минут, но на всякий случай Игорь вешал на свою входную дверь цепочку, а меня научил забыть ключ в замке, чтобы нас не застали. И однажды, когда отец пришёл с работы раньше времени, Игорь успел выйти на балкон и, пока я открывал дверь (да я в туалете был, а ключ забыл в замке!), перебрался обратно. Такого никто не мог предположить, и мы жили с ярким ловким чувством. Мы сидели на балконе, задрав ноги, ели ягоды из компота и старались подальше плюнуть косточку. Косточка от черёмухи вылетала незаметно и только мелькала в воздухе, а красная вишнёвая – намечала тяжёлую заметную дугу и падала. В дождливый какой-то день я показывал Игорю фотографии, которыми отец гордился, хранил в отдельном чёрном конверте. Пятилетний Денис уходит от объектива, просёлочная дорога, кепочка, шортики, не оборачивается. Денис чуть постарше протягивает маме руку, в том, как он показывает указательный палец, угадывается рана, хоть её и не видно, у мамы на лице удивлённое сочувствие: Денисочка, как же ты так? Денис на трёхколесном велосипеде во дворе кировского дома утопает в тополином пуху. Мама на лыжах под деревьями – подтянутый тренировочный костюм, собранная спортивная куртка, порывистый пушистый берет, недовольное лицо (Володя! Посмотри что на мне! Не надо фотографировать!). Из-за мамино лица фотография кажется незаконной, но отец рад, потому что поймал то, как снег летит на маму с ёлки и вот-вот упадёт. «Хочешь, я тебе мать покажу?» – спросил Игорь. И мне тут же стало стыдно за то, что моя мама тогда, на лыжах, смеялась от неожиданности и жива сейчас, а вечером придёт с работы. Когда Игорь полез к себе, чтобы принести фотографию, я представил лицо, которое увижу – худое и грустное, волосы за ушами, в глазах какой-нибудь намёк, ведь не может же быть, чтобы совсем ниоткуда. Игорь вернулся с эротическим триллером в руках и аккуратно раскрыл его в надломленном месте – страницы выпустили фотографию. Игорь осторожно, за краешек, как научили, взял полароидный снимок и показал мне из своих рук. За праздничным бутербродным столом сняты трое: мужчина и женщина, между ними мальчик, из которого потом появится Игорь, а пока только его брови и нос. На столе, пусть и вполоборота, но узнаётся лимонад, за головами

– сгусток ковра. На лицах удивлённое восхищение фотоаппаратом (неужели сразу появится?), и мама Игоря совсем не похожа на ту, которую я представлял, ничего худого и нервного: волосы стянуты и приглажены, но на затылке разрастаются во взбитую, блестящую лаком причёску (так носит продавщица в хлебном отделе нашего гастронома), ровная полнозубая улыбка, золотая цепочка, шея кажется тёплой и надёжной, от подбородка спускаются две Игоревы родинки. Но больше всего меня удивили очки – уравновешенные, крупноглазые, с оправой из полупрозрачного пластика, почти как у моей мамы. Казалось невероятным, чтобы она, в таких очках, и вместо совсем страшного вспомнилось, как мамина подруга терзала кольцом свой большой палец. Стало неприятно, что у моей мамы похожие очки. Игорь почувствовал, что я насмотрелся, и сказал намеренно матерно: «Она всегда была ёбнутая». Он убрал фотографию обратно (поближе к корешку) в книгу и захлопнул её, повисли женские груди.

«Я приду из школы, этот плачет, – показывает Игорь на кровать в углу их квартиры, – а она вещи из шкафа вытащила, разложила по полу, а собрать не может и орёт ещё на меня. Я ей говорю: Да ты ебанулась уже совсем...» Игорь говорит это неловко, словно повторяет подслушанное, и мы оба понимаем, что он так не говорил, а собирал вещи с пола и, пока на кухне ругались родители, по-детски, не расправив, запихивал в шкаф. Игорь ходит по моей квартире, берёт в руки случайные предметы, крутит их и кладёт обратно: лупа, кассета, мамин браслет, карандаш, беличья кисточка, и, проверяя нежность волосков, Игорь проводит кисточкой себе по губам, а потом, показывая мне, по моим губам, а когда я закрываю глаза, по векам, мне мягко и приятно. Игорь снимает футболку и ложится на полу, из спины выступают острые лопатки. Я запускаю по нему запоздалый поезд, вяло щиплют гуси, долго, долго идёт письмо и приходит – я ударяю Игоря по попе, потому что мы смотрели фотографию его мамы. Игорь переворачивается, улыбается, а потом приподнимается на лопатках и обхватывает мою шею ногами. Он сжимает меня и тянет вниз. Я сгибаюсь, но удерживаюсь руками, чтобы не упасть на него, чувствую его колени на затылке. Потом он отпускает меня и спрашивает: «Почитаем?»

Под напором сентября быстро отскочило лето, показалось неправдой. Теперь алгебра, графики функций. За Игорем приехал отец

на своём красном «фольксвагене». Я видел машину из окна, а самого отца из-за его большого горя все мы боялись встретить в подъезде. Игоря увезли и больше никогда не привозили. Книгу он оставил мне. Начиналась она так: «На Чикаго опускалась ночь». Церковь стояла дырявая круглый год, через неё дул и дул ветер. Моя мама забыла имя того мальчика, племянника Шуры, у которого, помнишь, мать выбросилась из окна с ребёнком. Я помнил. И хоть я не скучал по нему и не писал ему, но, когда я спускался за банками, хрупкая темнота сарая, которую я вот-вот разрушу и в которой (я знал) банки ждут света, вызывала в моей памяти Игоря и приятное чувство прыжка.

Круглая Алла

Алла катилась с холма. Ужасная и сохранившая нас в живых.

Алла носила идеально круглое имя, составленное как будто наспех из двух почти одинаковых букв, и сама была тоже идеально круглой, небольшой. Она родилась в Казахстане, в селе Энгельс, окружённом петлёй речки, и жила там с мамой и сестрой, плотно торчала из земли. Но потом всё с ног на голову, приставки *пере-*: село переименовали, сестра переехала, а мама как-то неловко перезимовала (перелом тоненькой шейки бедра, и после этого – совсем быстро). И Алла покатила, ударяясь боками о разные города: Жайрем, Абай, Астана, шутки ради – Караганда, всерьёз – Новосибирск. И вот когда бабушка оказалась в больнице завода «Автоприбор», Алла лежала на параллельной кровати.

У бабушки – воспаление лёгких. Больница переполнена, и её сперва положили вдоль стены в коридоре (по ночам зудящий свет над сестринским постом), а потом кого-то выписали без улучшений, и бабушке открыли белые двери. В палате было человек десять старух, все болели скромно и тихо, не призывая: интенсивная терапия на фоне инсульта, инфаркта, гипертонии, осложнений после гриппа.

Алла лежала в халате (фонетическое упражнение), поверх халата – два платка (плечи, поясница), кулёк головы завернут в косыночку, оттуда поблёскивают золотые зубы и чёрные глаза.

Смотреть в стену страшно, и Алла рассматривала бабушку.

– Какая ты красивая, Галя! – сказала Алла.

Бабушка даже обиделась:

– Какая красота, когда нет здоровья. До туалета еле хожу.

Две тоненькие ноги, которые торчали из Аллы, были какой-то геометрической шуткой, ученической шалостью в учебнике: Алла не планировалась, но потом ей пририсовали четыре палочки, вот и вышел человек. Ходячие старухи опекали лежачих, смертных, беспомощных: помыть яблоко, позвать санитарку. И Алла, молодая старуха, всего шестьдесят с небольшим, приступ холецистита, стала помогать бабушке. Она приносила кашу из столовой и, пока бабушка ела, говорила:

– У нас в Казахстане не было таких женщин, как ты, Галя. Ты очень красивая.

– Да какая уж красота...

А Алла знала какая: полные красные губы, яркие карие глаза, как будто не высохла со старостью бабушкина красота, а сверкает там, на дне.

После завтрака на Аллу нападала процедурная откровенность: капельница, и медленно, внутривенно, острой иглой рассказывала Алла о своей жизни в Казахстане, во Владимире, иногда всплывал вдруг районный город, и трикотажный магазин у вокзала, но чаще всего в этих рассказах, конечно, умирала мамочка, Алла оставалась одна, и сестра отказывалась принимать Аллу к себе.

В часы посещений в больнице было солнечно (вероятно, окна на юго-запад) и даже весело: яркая морозная зима, высокие комнатные кусты, блестящий линолеум. Бабушка ненадёжно поправлялась, ходила неровно, но распущенные, брошенные волосы молодили её. Мы с мамой приносили жёлтые яблоки, что-то в банке, и бабушка сидела с нами в коридоре, нежная, слабая, больная. Иногда с мороза приходили дочери с рассыпавшейся, отцветшей химией и ворочали старух, ставили на бок, чтобы не было *пролежней* – моя словарная работа той зимы: лежать, и пролежать до крови, и не суметь перевернуться на бок, а только в могилу.

А вечером в больнице всё синело, опасно затихало (вздохнёт ли опять?) и постепенно наполнялось храпом, иногда с кровати у окна прорывался стон (приходите, мне больно). Алла круглела в темноте и смотрела на бабушку недосказанными глазками.

Мамочкины косточки остались у Энгельса, никому не нужны, белели в земле. Алла приехала во Владимир к сестре (двое сыновей, муж умер), а сестра говорит: «Ты мне здесь не нужна! Живи неделю, а потом ищи, где будешь жить!» И всё в Алле надломилось (и «а», и «л») и закровоточило, и платочки все её пропитались кровью. «Ты мне здесь не нужна!» Так и сказала. Была бы мамочка жива, она никогда не позволила бы, но мамочка не может ничего, глазки присыпаны, руки почернели.

А на второй неделе в больнице вскрылась бабушкина аритмия и отныне замерцала: бедные предсердия бабушкины хаотично возбуждались и сокращались. Даже когда любила она, не чувствовала

так своего сердца, а тут – безо всякой любви, стоит надавить, нажать, как в небе, на снегу, на берёзах (особенно на берёзах!) испуганно мерцает её сердце. Врачи назначили дигоксин. Принимать по такой схеме: купите баночку, поставьте в поднос в соседстве с глиняным зелёным кувшином, чтобы на виду и не пропускать, тонким ножом (деревянная ручка) разрежьте на две половинки, теряйте половинки всегда, всегда ищите в очках, приподнимайте поднос, но не находите и режьте снова, а потом находите в блюдечке и так пейте до смерти, а умерев, оставьте невыпитую половинку (утром успеете – вечером нет), чтобы её нашли ваши внуки и плакали бы над этой неидеально отрезанной половинкой. Так бабушка и принимала.

Аллу выписали раньше. Бабушка, говоря честно, обрадовалась. Очень уж тяготили эти Аллины истории: «Так и сказала: ты мне здесь не нужна!» Поэтому простилась с Аллой тепло – навсегда. Алла покатила.

Но как будто за углом всё время была, потому что представьте себе: мы с бабушкой идём поздоровевшей окрепшей весной мимо аптеки, как вдруг слышим крик «Галя! Галя!», и кто-то бросается бабушке под ноги. Смотрим – Алла!

Выяснилось: Алла стала искать приюта, устроилась в институт защиты животных уборщицей и получила (вымолила, выпросила, выстояла, всё это со своими чёрными влажными глазками) крохотную комнату в общежитии на втором этаже (длинный коридор до конца – налево). Прямо под Аллой, на первом этаже, – музыкальная школа днём и кинозал вечером, и там то неуверенно гудели, тянули, жали (Рахманинов), то громко дрались, взрывались, стонали (Жан-Клод Ван Дамм). Но не мешает: Алла так устаёт мыть огромную лабораторию, таскать ведра, даже руки вытянулись, что не слышит ничего и спит мёртвым круглым сном.

– А ты где-то в этих домах живёшь, Галя?

Бабушка соображает быстро что к чему и начинает запутывать след, показывает колибри на ветке, залезает в воду по пояс, чтобы собаки не нашли.

– Да нет, я просто на рынок иду. Там, говорят, машина с дешёвыми цыплятами приехала.

Но Алла, конечно, опытная охотница: ей тоже на рынок надо, и как раз тоже цыплёнка бы купила, и макароны у неё тоже, тоже

закончились, и творожку, и молока, и хлеба, и к чаю, она поможет нести сумку, ну и что, что не по дороге, нет, нет, прямо до дома, и на этаж, конечно, поднимет. Только бы теперь Алле перевести дух, а то задохнулась, и голова кружится. Алла, может, тогда зайдёшь передохнуть? Да как-то неудобно, Галя...

И вот Алла сидит у бабушки за столом, пьёт чай и говорит:

– Какая же ты красивая, Галя!

Алле уютно на табуретке, как будто в маленьком холодном автобусе ехала она всю зиму, по полям, мимо кладбища, где в снегу мёртвые лежат, мимо закрытых магазинов, мимо брошенных домов (пустые мутные окна), и только чтобы – наконец – сесть на бабушкиной табуретке, в цветастом платке, пить из блюдца чай, с вареньем, с баранками, с пряниками (вот они – черствоваты), и не для Третьяковской галереи, а просто после долгого пути.

И, конечно, Алла достаёт свою больную мамочку и выкладывает её нам между вазочек: так тяжело умирала, кричала ночами, как будто кошмары ей снились, и не узнавала Аллу, отталкивала её руки и всё хотела встать.

Бабушка через два часа берёт нож и говорит:

– Ну что же, пора мне ужин готовить.

Алла достаёт щит:

– Ноги так болят.

Бабушка жестоко режет худенькую путассу (голову, хвост, плавнички), сверху лук, злой майонез, делает огонь посильнее.

– Тогда поужинаешь с нами.

– Ой, да как-то неудобно, Галя, – черноглазо улыбается Алла, – вы ешьте, а я просто посижу.

Ест Алла медленно, отвлекаясь, чтобы расхваливать. Я рассматриваю посуду: по краешку тарелки бесконечно бегут две полоски – жёлтая и оранжевая, я пять раз пробегаю вместе с ними, даже кружится голова. Бабушка накрывает снова чай, ударяет стол вазочкой с баранками. У сахарницы удочерённая – от старого заварочного чайника – крышечка. Зато чашки на счастливых, душа в душу блюдцах.

Алла доедает рыбу и спрашивает, смотрим ли мы «Секрет тропиканки». У них с мамочкой был большой телевизор, «Горизонт», но всё пришлось продать, всё за бесценок, а тут у Аллы в общежитии

совсем крошечный, чёрно-белый. Да, да, всё понятно, мы включаем телевизор и пускаем Аллу в наше кресло. Алла сидит как влитая: они с мамочкой очень любили «Рабыню Изауру», а потом мамочка умерла. Мы с бабушкой смотрим молча, не кричим, не бодем за Рут, не называем Ракул ошипанной курицей, и вообще мы делаемся тише, меньше, пока Алла увеличивается. Алла больше нас, сильнее нас, с мёртвой мамочкой на руках, с целым замёрзшим Казахстаном в подоле, огромная многобуквенная Алла. Во время рекламы мы выходим в туалет и там тихо пишем, в зеркало не смотрим: там никого нет. Станным кажется, что когда-то мы шли на рынок моложавой хозяйственной походкой и ещё надеялись.

Не успела серия закончиться, Алла снова: а хоронить так сложно было мамочку, мороз минус тридцать, и смерть некуда деть в такой холод, и мамочка неделю хранилась дома, пока не потеплело, и тогда только смогли расколоть землю для мамочки. А так Алла ложилась с ней ночью и спрашивала: «Как же теперь, мамочка, будет жить твоя Аллочка?» Она выбрала ей самое красивое платье, с любимой оборочкой, длинное и сложила в гроб колечко, цепочку, чтобы там ей пригодилось, а себе забрала часики или бусики, какую-то жалостливую, лезвием режущую мелочь.

– А ты, Галя, выбрала, в чём будут тебя хоронить?

Алла могла бы делать с нами что хотела, пусть даже съесть печень нашу, сжечь дорогие наши фотокарточки, вот нож, вот спички. Мы ложимся на ситцевую проштампованную тряпочку.

Даже так, как бы ни было страшно, уйду, оставлю её одну: одинокая бабушка ложится на ситцевую проштампованную тряпочку, и ей бы повернуться, перевести взгляд на горизонт, но у бабушки остались только слабенькие ключицы, и яркая, чёрная, нефтяная Алла висит над ней, и всё умирает мамочка.

– Галя, не можешь ли одолжить мне рублей тридцать до пенсии?

Господи, бабушка даже не сразу сообразила, откуда засветила жизнь. А потом очнулась и – так, наверное, прорывается жизнелюбивый гейзер. Тридцать рублей? Да бабушка бы станцевала ламбаду, если бы не артрит. Как просто! Ааай, ла-ла-ла-ла.

Конечно, тридцать рублей Алле дали, вернёшь, когда сможешь, не торопись. Алла тут же вошла в берега, засобиравалась, вокруг проступили цвета: жёлтый плед, медная чеканка на стене (Эсмеральда

танцует!), вот и кошечка наша, розовый язычок! Завтра рано вставать, говорила Алла грустно. Да, и нам! В сад пойдём копать грядки! рассмеялась бабушка. А где у вас сад, Галя? Очень далеко, Алла, на автобусе надо ехать! Спокойной ночи, Галя (с многоточием). Пока, Алла (с восклицательнейшим знаком).

«Хуже грыжи!» – сказала бабушка и тут же открыла окна. И хоть прохладная ночь, но мы вышли на балкон и смотрели, как шумит тёмная живая листва (конец мая), как за полем, за дорогой, где-то над лесом шестью точками на вышке краснеет всё далёкое, красивое. Слышался сбивчивый железный пунктир поезда, и я думал о Кирове, а бабушка о Мариуполе, и ничего не напоминало нам про Аллу, а только ярче была наша любовь, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края... Пойди, сказала бабушка, умойся и прочти три раза «Отче наш» – от сглаза.

Бабушка этим летом жила с аритмией по очереди: кто-то брал верх, а кто-то отступал. Помню день тяжёлой битвы: бабушка пришла с жары, в белой кофточке с бантом на груди, и тут же у двери села на стул, в ногах положила прохладную сумку (ну молоко, наверное) и откинула голову: устала, устала и теперь бы подышать. Я прибежал к ней в тёмную прихожую с детской глуповатой радостью: бабушка, бабушка, мне десять лет, скоро что-то по телевизору! Вдруг неожиданно задрожал бабушкин подбородок, а я даже и не знал, что он у неё такой хрупкий, фарфоровый, сеточка трещин на глазури, и бабушка заплакала. Так ей хотелось жить и не хотелось аритмии. Я испугался, взял сумку и ушёл на кухню. А бабушка осталась, и ей не видно было окна, цветов на подоконнике и как изгибается солнечная улица – только аритмия билась в тёмной прихожей сильными крыльями. «Чайник поставить? Будешь чай?» – крикнул я из кухни. «Да», – сказала бабушка непрочным голосом.

А бывало и так: бабушка уверенно вставала перед днём, на крепких крупных ногах, не мерцая, и вытряхивала скатерть с балкона. Где аритмия? Нету, не проснулась, умерла во сне. И бабушка властно, по-хозяйски смотрит на свою улицу со второго этажа, поливает жаркие солнечные бархатцы в ящиках. И даже поёт иногда лёгким голосом:

– Надежда, мой компас земной, а удача награда за твою мать!

Я не понимаю, при чём тут мать, выхожу на балкон и вижу согнувшуюся бабушку, которая одной рукой придерживается за перила

балкона, чтобы не упасть.

– Что случилось? – пугаюсь я.

– Пригнись, пригнись, – шипит мне бабушка, – там Алла.

Я присаживаюсь, и мы в щель смотрим, как тёмный страшный шар Аллы подкатывается к нашему дому.

– Блядь, – говорит бабушка, стоя на коленях. – Это она к нам идёт.

Мы пробираемся на четвереньках в квартиру, поспешно выключаем телевизор, а радио, напротив, делаем погромче (ушли в магазин дня на два, на три, а радио оставили). Ждём у двери. До нас – двадцать две ступеньки, и они дрожат. Острый Аллин звонок, мы, конечно, вздрагиваем, но, господи, у нас два замка и укрепление, и нам с бабушкой делается весело от безопасности: что теперь, Алла? Приходили предприниматели в девяносто третьем году и сказали, что всех грабят, выбивают двери, и вот нужно бы ставить вторую железную дверь. Это дорого, но надёжно, с гарантией. А для вас, пенсионерочки, можно вот дешёвый вариант – укрепление: в дверном косяке сделать такие как бы дырки с окантовкой, а в дверь внедрить металлические штыри, и когда вы дверь закрываете, штыри входят в дырки и укрепляют. Если кто-то будет вашу дверь (обивка из кожзаменителя, красивый орнамент – проволокой и кнопками) выбивать, то вот эти штыри остановят любое преступное плечо, и ваши ниточки (агат, аметист, янтарь), ваши брошки, ваши медальки героев труда, ваши рубрики в кефирных пакетах – всё это уцелеет. Тамара, конечно, кричала на весь двор, что воровать у неё нечего, хоть вообще дверь снимай да занавесочку вешай, такая нищета. А все поставили и зажили со штырями укрепленно. И вот теперь тайный замысел укрепления проступает – штыри против Аллы и были установлены, и пусть бы она ломилась как угодно – не вошла бы! Алла позвонила трижды: вдруг мы не слышим, спим, моемся? так она возьмёт нас сонными, мокрыми. Мы не двигаемся, ждём. По радио рассказывают про бальзам здоровья. В подъезде тихо, и непонятно, ушла ли Алла. Бабушка открывает дверной глазок. Дополнительно объёмная Алла стоит прямо напротив двери и тоже прислушивается к нашему дыханию, сердечному ритму. Бабушка прижимает палец к губам: тише, молчи, она здесь, и у неё револьвер. Я в полном восторге, бабушка тоже довольна, потому что, похоже, мы победили. Я решаю заглянуть в замочную скважину (ключ бабочкой): оттуда пахнет

подъездом, ветерок, от которого глаз начинает слезиться, Аллы не видно, а только оконный свет спускается с третьего этажа и какая-то надежда. Я отворачиваюсь, чтобы побороть слезу, а когда заглядываю в скважину снова, там прямо на меня смотрит круглый чёрный глаз Аллы. Я в ужасе отскакиваю, скриплю полами, шумно задеваю шкаф. Она тут, тут, видела меня в скважине! показываю я бабушке. Бабушка машет на меня рукой: молчи всё равно! Я вдруг понимаю всю бабушкину решимость: мы, если надо, переступим через Аллин труп. Мы теперь жестоко, цинично стоим у двери и ждём, уже не веселимся.

Подъездная дверь хлопнула. Я бегу на балкон, чтобы убедиться, что Алла ушла. Алла грустно так идёт, какие-то цветочки вокруг неё орнаментом, впереди общежитие. Позвать бы её, пожалеть бы, ведь умерла же мамочка, но мы стреляем Аллой из рогатки – пусть летит подальше, хуже грыжи! Юрочка, включай телевизор!

Замочную скважину с тех пор затыкали бородатым куском медицинской ваты.

Алла почти не попадалась нам на глаза, только если издалека (Вон Алла! Где? Быстрее, быстрее!), а потом и вообще куда-то её отнесло (попала под сокращение, переехала, ветер). Про тридцать рублей – не помню.

Я встретил Аллу спустя годы (долгое «о») после бабушкиной (набираем воздух) смерти.

Мир стоял и рухнул, построили город Москву, проложили метрополитен, а тут – Алла, каменная статуя, музейный экспонат. Алла, конечно, постарела и повисла, но всё так же улыбалась, всё так же чернела глазами.

– Как бабушка? – спросила Алла, пришелица.

Господи, она не знает, удивился я. Уже столько лет, что я привык и еду на велосипеде, и солнечно, и всюду бабушка спокойно, ожидаемо мертва. И только вот у Аллы, в Аллиных этих платочках, бабушка, оказывается, ещё жива, ещё жива красивая Галя из автоприборовской больницы.

На этом и остановимся.

Капокорень

I

И вот наконец па-па-ра-па-па-па-ра мы едем в Киров, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Поезд весь год пульсировал где-то рядом, за садами, за лесом, за школой милиции, я умею очень похоже изображать его звуками – чу-чух-чу-чух, ту-дух, ту-дух. Иногда долгий масляный гудок расталкивал тихую темноту, он что-то значил, но что именно – я не мог разгадать. А теперь на поезде поедем мы. Наступил мамин отпуск, первая неделя была наполнена стиркой, уборкой в антресолях и на шкафу, рассаживанием цветов, покупкой подарков с собой, а потом на две недели – едем. Купить билеты заранее на проходящий поезд было нельзя, и мама выбирала день отъезда так, чтобы вдали от выходных: тогда был шанс, что билеты останутся. Несколько раз – перед юбилеем или похоронами, когда ехать нужно было срочно, приходилось платить проводникам и ехать в их купе, среди мешков с постельным бельём, вдвоём на одной полке – тесно, жарко, крахмально. По купленным билетам можно было замерять степень удачи: билетов нет; билеты есть, но только верхние боковые; есть хотя бы одно нижнее место; два нижних места не было никогда. Считалось, что кассирша стремится придержать хорошие места, чтобы сперва продать похуже или подороже, поэтому была разработана особая система задавать вопросы: есть ли два плацкарта рядом, одно нижнее, не у туалета? Пока мы стоим в очереди, я рассматриваю большое расписание поездов, выложенное из белых пластинок с названиями и цифрами. Один поезд вызывал особую симпатию своим непритворным именем – «Лена», как наша соседка, хоть мама и объясняла мне, что это река. Ещё речные: «Кама», «Вятка», «Енисей», у каждого (я знал) свой цвет вагонов. Я научился расшифровывать в расписании пометки «по чет» и «по нечет» – это значит, что поезд как будто из принципиальности приезжает не каждый день, а только по чётным (делим на два) и нечётным (не делим) дням: Москва – Новый Уренгой, и С. Петербург (заметно новая табличка) – Ижевск, на эти поезда я был немного обижен: неужели трудно каждый день? Раньше мы ездили вчетвером (родители и мы с братом), квартира пустовала, бабушка приходила поливать цветы. Сейчас мы едем только вдвоём, я и мама, отцу надоело, Денис вырос, поступил в колледж, сдаёт сессию.

Наконец мама отходит с билетами, по лицу видно, что удалось. Что там? Боковое верхнее и нижнее. Рядом? Слава богу, рядом, отвечает мама. Это значит, что столик только наш, только наше окно, можно долго, не ложась, ехать, прижавшись лбом – я торжествую. Час, не меньше, мы проводим на вокзале, а когда объявляют поезд, выходим через готовый к прыжку, замерший от нетерпения переход на третью платформу. Я хорошо знаю, откуда появится поезд, смотрю в эту сторону, разбираю (как будто ищу в выдвигном ящике) блестящие рельсы, кусок моста, который виден отсюда, какое-то техническое кирпичное здание между путей, силуэт церкви. Наконец поезд, десять минут назад проезжавший мимо наших садов, появляется: тяжёлый, крупноголовый локомотив (выученное слово) синего цвета, вагоны – ведóмые, уютные, красненькие. Мы стоим в центре платформы, потому что нумерация вагонов может быть с хвоста или с головы, и когда мама замечает, что первый вагон – девятнадцатый, мы быстро идём по платформе, догоняя поезд, наш вагон – семнадцать, места пятьдесят один, пятьдесят два. Платформа такая низкая и узкая, что мы с ужасом (соседка по саду бросилась под поезд несколько лет назад) рассматриваем остро катящиеся колёса. Наконец поезд останавливается, проводники откидывают лесенку и гордо, кажется мне, спускаются. Мы доходим до вагона семнадцать, мама показывает проводнице наши билеты, и мы подтягиваемся за поручень, залезаем в поезд, я вижу крупно мамины ноги и развевающуюся юбку. За четыре часа пути от Москвы люди в вагоне уже обосновались и даже умудрились заснуть, хотя стемнело только слегка – летний вечер. Но из-за этих спящих, поужинавших людей мы поначалу в гостях и стесняемся. Мама ещё на вокзале решила, что куда положит: две большие сумки под нижнюю полку, а маленькую с деньгами, с документами, с колечком, серёжками и кулоном, если в Кирове идти в гости, оставит на себе и так и ляжет спать, не снимая. Мы садимся на наши места и до отправления с интересом смотрим на тех, кто проходит под окном, некоторые перекошены одной сумкой, некоторые уравновешены двумя на вытянувшихся обезьяньих руках, дети несут что-то необязательное. Мама смеётся, как женщина с её работы шла с мужем из сада, она такая крупная, толстая, а муж у неё маленький, щупленький, пьющий, и вот она с корзинкой, а у него мешок яблок на спине, и ей какая-то тётка сделала замечание: что ж это вы так

ребёнка-то нагрузили? На провожающих смотреть скучно: они остаются, поедут на троллейбусе мимо памятника Ленину, посмотрят на магазины «Океан», «Руслан», «Людмила», «1000 мелочей». Наконец поезд трогается, так тихонько, будто показалось, но нет, движется, сперва вежливо, стараясь не обидеть оставшихся, но постепенно разгоняется. Туалет откроют, помоем руки и тогда поедим, говорит мама. Наши окна показывают Клязьму, поле, мы воровато косимся в окна напротив, поверх спящей старухи с крупной развалившейся грудью – там проплывают ускоряющиеся городские церкви, завод «Автоприбор», Боголюбово, а потом (мы отворачиваемся от старухи и ждём) – Покрова-на-Нерли, серые, грустные, одинокие, только наши. Теперь вид за окном сбивается в лес, проводник открывает туалет. Я иду мыть руки первым, захожу в туалет, запираю дверь и от восторга, что я один и крепко заперт, пританцовываю перед зеркалом. Я, раскачиваясь, писаю, с интересом нажимаю на педаль – туалет шумит рельсами и шпалами. Ещё интересно мыть руки: чтобы потекла вода, нужно надавить на штырь, торчащий из крана. Наша мыльница, которая обычно лежит пыльная на полке над ванной, тут неожиданно расцветает. Я возвращаюсь из туалета, мама уже достала еду в пакетах, заметно пахнет малосольным огурцом. Мама моет руки, и мы едим. За окном темнеет, на деревьях появляются блестящие очки мамы. Я хочу сидеть долго, пока видно хоть что-то, и сижу, а мама открывает книгу и читает. Потом в вагоне гасят свет, теперь ярко только у туалета. Читать больше нельзя, мама готовится ко сну. Трюк – подставить ногу под спящую старуху и стянуть наши матрасы с третьей полки, стараясь не задеть взглядом мужчину в майке. Старуха пошевелилась, начала храпеть. Мама, фокусом сделав из столика кровать, раскатывает матрасы и стелет выданное проводником бельё, сильно пахнет крахмалом. Мама, конечно, спит наверху, потому что считается, что я ворочаюсь и легко упаду с верхней полки, а она спит прямо, надёжно, как взрослый человек. Мама уходит в туалет, возвращается в халатике и неловко (оттолкнуться, подтянуться, пригнуться) забирается к себе на полку, тренировка раз в год. Я встаю, чтобы рассмотреть, как она там устроилась: мама лежит, будто в футляре, строго по росту, и интересно почему-то видеть её на боковой полке плацкарта. Я под простынёй снимаю штаны и футболку, вешаю их на крючок, удушливая накрахмаленная простыня сухо, неприветливо реагирует на

мою наготу. Старуха храпит, будто давит в одну точку, а я полусидя смотрю в окно на тёмный отражающий лес, иногда кто-то проходит неуверенной походкой, проводники пробегают профессионально, быстро, не отступаясь. Наконец устав сидеть, я ложусь, мне видна мамина коленка – так я знаю, что мама тут, наверху. Я слышу глубокое сильное биение поезда, закрываю глаза и думаю о вокзале, о том, как нас вёз отцовский друг Латышев на белой красивой «копейке» и торжественно пожелал нам с мамой зелёного света до самого Кирова, а мы как раз ехали через лес к Московскому шоссе, и я смотрел, как остаются за окном деревья, озеро, садовое кресло, лицо Артёма, большой синий чайник, я засыпаю. И, кажется, тут же просыпаюсь от толчка, но сколько времени прошло на самом деле – непонятно. Вокруг чувствуется какой-то свет, поезд, сдерживая себя, спотыкаясь, замедляется. Я выглядываю в окно, всё ясно – Горький. Поезд движется по яркой платформе, медленно проезжает здание вокзала, часы над входом показывают 00:18. Кто-то проснулся от света и хочет найтись: «Где мы?», ему отвечает женский голос: «Горький только, спи ещё». Наш фирменный поезд номер тридцать один Москва – Киров с эхом объявляют через динамики. Громко, с пренебрежением ко сну, хлопнула дверью проводница. Старуха приподнялась, уронила с головы косу, всмотрелась, поморщившись от яркого света, в ручные часики и – ещё долго! – легла снова, повернулась к стенке. Наступает особая тишина стоянки, слышно всё маленькое, чужое – вздох, шорох, шёпот, где-то заворочались, мама убрала коленку, появился кусочек локтя. Я смотрю в окно, люди за толстым стеклом не издают звуков, но по лицам видно: твою мать, нумерация с хвоста. Вдоль поезда оглохшими каблуками проторопилась девушка, с задыхающимся охающим лицом просеменила полная женщина. В вагоне послышался звук тяжёлой сумки и запыхавшийся кировский голос («Ну так ты вперёд-то проходи!») – завтра все в троллейбусе будут говорить так же, сокращая длину гласных, с удовольствием произнося *p*. Я ложусь и притворяюсь спящим, когда мимо проходят двое – маленькая женщина и высокий, с сутулой уставшей спиной мужчина. Я с интересом наблюдаю, как они

пристраивают сумку на третью полку, где лежали матрасы. Женщина переживает, что сумка упадёт, и показывает, чтобы он её

поглубже, и сама пытается подтолкнуть сумку, мужчина злится и громко говорит ей: «Да куда она оттуда-то?», и женщине неловко, потому что все спят, кто-то закашлял, она машет рукой, тише, тише. В динамике дважды объявили, что поезд Москва – Киров отправляется, отправляется, мы постояли ещё минуту, и поезд дёрнулся, двинулся фонарный столб. Я снова сел, чтобы посмотреть в окно: отступает неестественная яркая бодрость вокзала, показывается спящий придорожный город, редкие жёлтые окна в девятиэтажках, упорные ночные машины, с которыми мы едем вместе, но вдруг разлучаемся: они плавно, хоть лови рукой, сворачивают, а мы выезжаем на шумный мост, под нами внезапная страшная чернота реки. Когда просыпаешься среди ночи в поезде, понимаешь, что уже привык ехать, и теперь я думаю о Кирове, какой он будет в шесть утра, там через дорогу книжный магазин (зелёными буквами – КНИГИ), троллейбусная остановка, и будем проезжать цирк, ЦУМ, центральную гостиницу. Старуха опять захрапела, мне вспомнился подъезд с красными деревянными перилами, приятно гладкими на ощупь, зелёные почтовые ящики, гулкое эхо, отец говорит про свисток, яркие жёлтые буквы слова *Helèn*, я слегка удивился, ребята, но привести всё в порядок не успел и заснул. Проснулся от толчка недовольного поезда, старуха храпит, поезд останавливается перед чем-то жиденьким, едва освещённым. Я посмотрел в окно – тёмные кусты сирени, зданий не видно, а только деревянный забор, стоит женщина в куртке, люди не просто торопятся, а бегут (нумерация с хвоста!), и буквально через две минуты поезд снова дёрнулся, едва заметно отодвинул сирень и поехал, показалась лавочка и прощальная белая табличка – Шахунья. Тут уж никто не войдёт, но вдруг дверь хлопнула, тяжёлое, охающее дыхание, *господи, господи*. Я ложусь, мимо проходит толстая старуха, цветастый, но выключенный на ночь платок, попа схвачена длинной кофтой, в руках корзина, дышит с самого дна, едва находит воздух, понятно, что бежала. Старуха села где-то недалеко от меня и громко замолилась: «Господи, спаси и помилуй, спаси и помилуй, сохрани, спаси и помилуй». «Женщина, вам плохо?» – спросил женский голос. «Да какое там, под поездом лезла, – сказала старуха, – думала, так и переедет меня». Ей никто ничего не ответил, кто-то недовольно вздохнул (мешают спать!), мне было непонятно, как это так – под поездом лезла, *господи, мать божья, сохрани и помилуй*, рядом со

мною раздавался давно начавшийся храп, и из-за этого храпа почему-то казалось, что всё в порядке, ничего особенного не случилось. Под подушкой стучали колёса поезда, который, если вот так приложить к нему ухо, слышится совсем иначе, сбивчивые сердечные удары, ничего общего с залесным чу-чух, ту-дух. Старуха перестала задыхаться, зашептала *господи, господи* и притихла, я крупно увидел, как палец нажимает клавишу на кассетном магнитофоне, забеспокоился, что это не тот человек, кассета выпустила плёнку, я заснул. Проснулся от лёгкого движения: мама спускается с верхней полки, светло, утро, старуха, которая всю ночь храпела рядом со мной, собрала постель и сидит, накинув кофту на плечи, смотрит в окно, коса приколоты к голове. Ничего не напоминает о стучающей тёмной ночи. Мама уходит в туалет, возвращается с мокрым лицом. Я одеваюсь под простыней и иду умываться. Оказывается, что многие уже проснулись и сидят. В туалете непрозрачное забелённое стекло припущено, мелькают верхушки деревьев, влетает ветер, шумно. Я умываюсь, вытираю лицо полотенцем, от него пахнет присмирившим крахмалом, недавней ночью. Когда возвращаюсь, мама уже сложила мою кровать, и снова появился столик. Будешь чай пить? спрашивает мама, и я с пластиковой чашкой, оставшейся от разбитого термоса, иду к нагревателю. Обратно, набрав кипятка, иду маленькими осторожными шагами, нащупывая равновесие, потом делаю так же со второй, уже эмалированной, с зайчиками, чашкой. Мы пьём чай с ломом печенья и стойкими хлебными палочками. Как это так – под поездом лезла? спрашиваю я маму. Да, я тоже слышала, сказала мама, наверное, не на ту платформу пришла, а поезд стоит мало, обойти не успеешь, и она под поездом полезла. И что, она прямо под вагоном? пугаюсь я за старуху, платок как у бабушки. Без предупреждения поезд выскакивает на мост. Вятка, говорит мама. Я с азартом смотрю в окно. Река обмелела и показывает песочное дно. Я успеваю заметить зелёную резиновую лодку и последить за ней, она плывёт, тихо, надуто, пока мы грохочем над нею. Мост заканчивается, кажется, что выключили звук. После чая за окном вспыхнул посёлок (три многоэтажных дома и нераспутанный клубок двухэтажек, деревянных домов) и тут же погас, снова лес. Потом вдруг пустырь, длинные кирпичные постройки, вступительная дробь гаражей – вот-вот будет Киров. И город выставляет перед нами трамплин на холме, мы, не удержавшись,

взмываем с него над дачными домиками, летим минуту, и тут уже город суется, показывает всё больше: завод, склад, дорога, панельные дома, котельная. Поезд выпускает воздух и окончательно – это чувствуется – сбрасывает скорость. Старуха, и не скажешь вот так, что ночью храпела, уже достаёт сумку из-под полки и двигается, подгоняя поезд, к выходу. А зачем она так рано пошла? спрашиваю я. Может, у неё электричка, и нужно пересаживаться быстрее, защищает мама, но храпела она ужасно, я всю ночь не спала. Из-под поезда вдруг распутывается много путей, кажется, что расплели косу, появляются товарные составы, жёлтый поезд-тягач, несколько старых с ржавчиной вагонов, и поезд, что-то громко дёрнув внутри, совсем замедляется, вылезает за окном платформа, невыспавшиеся встречающие лица смотрят в окна поезда. Мама по одежде людей пытается понять, сколько на улице градусов. Ну градусов пятнадцать, говорит она, глядя на женщину в платке и в кофте, и достаёт нам ветровки из сумки. Мы встаём в очередь выходящих, мы не торопимся, но и последними быть тоже не хочется. И тут поезд, слегка толкнув нас, остановился совсем и сразу же сделался неинтересным, отработанным. Теперь там – впереди – Киров. Троллейбус номер один, три, четыре, можно и пять, но он только до площади Лепсе, танк в сквере Октябрьского проспекта, жёлтый дом, и не прямоугольником, как все знакомые мне по посёлку дома, а большой, вальжный, буквой Пэ, пусть и немного хромой: с одной, коротконогой, стороны дома гастроном, с другой – детская поликлиника, по верхней перекладине – библиотека, аптека, ремонт обуви, во дворе тополя сбрасывают пух, четвёртый этаж, в маленькой угловой комнате два окна – всё это (и даже пепельница на книжной полке в виде головы чёрта) проносится во мне, пока проводница открывает дверь, отбрасывает лесенку, и очередь медленно, с учётом багажа, двигается. Мы наконец выходим в Кирове.

Ночью, наверное, шёл дождь – Киров в шесть утра мокрый, прохладный, женщина в кофте и платке оказалась права. Зелёное здание вокзала с острой крышей, почти забытое за год, стоит яркое и необычное, чудо света. Чтобы выйти в город, нужно пройти через него, и там показываются киоски с книгами, журналами, ручками, игральными картами, я пытаюсь хоть чуть-чуть посмотреть на каждый киоск, но, конечно, не успеваю, и остаётся только яркий след, мазок витрины, домино в дорогу, наклейки. Мы выходим на площадь перед

вокзалом. У остановки большая лужа, значит, дождливая неделя. Через площадь зелёными буквами спокойно сказано «КНИГИ», а если чуть вправо, то ярко, оранжевым – «ТРИКОТАЖ», в рифму с ажиотаж, там всегда очереди, и надменные женщины в жилетках большими палками с крючками на конце снимают подвешенную высоко кофту, свитер, выученный там кардиган. На площади толпятся троллейбусы, рогатые, с многообразными лицами, и не только цвет цифры разный (шестой – сиреневый, пятый – жёлтый, третий – белый в чёрном контуре), но у некоторых чёлка – лента с бахромой на стекле, которая раскачивается, когда троллейбус поворачивает, у некоторых – болтаются плюшевые игрушки, растопырившие лапы, у кого-то из таблички с маршрутом торчат искусственные цветы – палочка розы или пластиковое изобилие герани. С троллейбусов наступают слова, которые я позабыл за год и проверяю теперь разучившимся языком: Авитек, Искож, Щорса, Сельмаш, пл. XX п-с – что это, где это? Когда мы садимся в троллейбус номер четыре, я вижу, что на обратной стороне таблички с маршрутом, выставленной в окне, перевёрнутый вверх ногами маршрут седьмого троллейбуса, кажется, что наш троллейбус только притворяется четвёртым, и мама по этой табличке учит меня расшифровывать аббревиатуры – искусственная кожа, завод Искож, сельскохозяйственные машины – завод Сельмаш, Авитек – что-то с авиацией, тоже завод, а это не икс, икс, а площадь двадцатого партсъезда. Мама, а Лепсе? Лепсе – это какой-то деятель, говорит мама, революционер. Пусть так, но мне в этом слове *Lepse* слышится *пепси*, что-то синее, весёлое, и только деятель хочет нахмурить брови из этого имени, как вспоминается там, на площади, киоск с мороженым, и мне очень хочется на Лепсе. Щорс – сощурившийся революционер, цветочная революционерка Роза Люксембург, революционер с лошастью в родительном падеже – улица Воровского (го-го-игого). Все они революционеры, подводит мама итог. Троллейбус поворачивает на улицу Ленина, а я знаю, что если на этом повороте пойти в другую сторону, то там будет обувной магазин «Фламинго», а дальше, по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, повторяя *дитя заката* – набережная и растворяющаяся в песке, с залысынами, река Вятка. Прогулочный корабль я пока даже не представляю, но он где-то там, несколько лет назад мы катались на таком, как раз *когда дядя Юра*, но с тех пор воды в реке каждое лето

было недостаточно. А троллейбус, раззвеневшись, сворачивает на Октябрьский проспект, проезжает мясокомбинат, потом стадион, и вот уже виднеется площадь Лепсе. Я так ждал её, а она появилась буднично, люди встали и приготовились к выходу. На светофоре я рассматривал старый жёлтый дом, развернувшийся, как для фотографии, лучшим фасадом к площади – лепнина, фигурная крыша, напоминающая замок, прописью сказано *гастроном*, в который, вспоминаю я, два входа, но один всегда загорожен полками с хлебом. От гастронома, стесняясь, тянутся железные киоски, из которых женщины с голыми ногами, покусанными (я знаю) комарами, продают ягоды, лук, огурцы. Всё это я забыл за год, а оно стояло здесь именно такое. Троллейбус, не дав насмотреться, поехал дальше, и следующая остановка – наша, улица Гайдара, ДК «Родина», сразу виден дом бабушки Саши, но за деревьями, мешающими запомнить его во всех деталях.

II

К бабушке из Кирова приставляли специальный опознавательный знак – Саша. Была просто бабушка – во Владимире, полноправная и безоговорочная, и бабушка, требующая пояснения: из Кирова, Саша, мамина мама. Бабушка Саша была совсем непохожа на бабушку Галю (имя Галя появлялось только в том случае, если обе бабушки оказывались в одном разговоре), да если бы не я, никому и в голову бы не пришло сравнивать этих двух пожилых женщин из разных городов, тысяча километров друг от друга, Цветаева и Ахматова, Саша и Галя. Но я сравнивал: бабушка Саша подкрашивала брови карандашом, пользовалась губной помадой, если ей нужно было пойти в больницу или к приятельницам, коротко стриглась, а бабушка Галя ничего этого не делала. У бабушки Саши не болели ноги, это было удивительно, потому что у бабушки Гали болели. Бабушка Галя передвигалась тяжело, основательно, как все люди с палкой, стояла скульптурно, а бабушка Саша ходила быстро, по делам, энергично. Правда, после дяди Юры в её походке появилось что-то фарфоровое, хрупкое, как будто чашка ненадёжно стоит на блюде. От бабушки Гали не осталось писем, адресованных мне, почерк я запомнил по квитанциям, а бабушка Саша регулярно писала мне на старой тетрадной бумаге. У бабушки Саши квартира пятьдесят пять, у бабушки Гали сорок четыре, это казалось мне остроумным. Бабушку Галю я видел каждый день, а бабушку Сашу слышал раз в неделю, по предшкольным воскресеньям: сперва мы с мамой ходили на телеграф (Киров не отвечает! пугала телефонистка. Ждать будете? Будем!), потом нам установили домашний телефон, и мама считала гудки, после третьего лёгкий укол, после пятого холодело сердце, после седьмого наступала паника, мыла голову, ну слава богу, а то я уже начала волноваться!

Виделись мы с бабушкой Сашей раз в году в Кирове, ровно, как ножом отрезанные, две летние недели. Наша встреча была обречена на расставание, повреждена пульсирующей датой отъезда, среда двадцать третье июня, 20:45, укус блохи – седьмой вагон. Поэтому, когда мы входим во двор бабушкиного дома, мы с мамой засекаем четырнадцать дней и уже знаем, что первая неделя будет тянуться долго, а вторая понесётся, перескакивая, и в том, как осторожно мы открываем

подъездную дверь, есть уже немного прощальной грусти, такой у нас с мамой характер. Мы поднимаемся, предчувствуя встречу, красным выгибаются перила, я веду по ним рукой, мне нравится, что так гладко. На четвёртом этаже мы привычным прошлогодним шагом пересекаем лестничную клетку и звоним. Какие-то секунды неопределённости, и из тишины, из глубины быстрые радостные шаги, в которых скрывается вот что: конечно, вчера вечером было поздно, и никто не звонил бабушке предупредить, что нам удалось купить билет и выехать, но бабушка, зная, что у мамы отпуск, ждала нас каждый день, не уходила рано в сад, держала колбаску и сыр наготове, пачка дрожжей в морозилке. И вот теперь бабушка торопится (обе дочери живут далеко) открывать дверь.

Бабушка Саша в халате и улыбается. Мы обнимаемся на пороге, смеёмся, бабушка подробно (в щёки, в уши, в лоб) целует меня и повторяет слова из писем *Юрочка, солнышко*. Выскакивают, как будто отпустили с привязи, суестьящиеся слова: сумки, давайте же, чайник, бутерброды, полотенца. Я закрываю входную дверь, и в том, как она хлопает, слышится, что умер дядя Юра. Я отношу сумки в угловую комнату с двумя окнами и, проходя через бабушкину спальню, вспоминаю много всего: старый радиоприёмник на тумбочке, ножная швейная машинка кокетливо скинула с колеса накидку, трюмо, повторяющее по три раза каждую шкатулку – всё это я обязательно рассмотрю позже. Старый шкаф мешает полностью открыть дверь в нашу с мамой комнату, но я отрепетированно проскальзываю боком, тут же вспоминаю лампу на письменном столе, последовательность цветов на книжных полках: жёлтая энциклопедия сверху, красный Флобер зажат зелёными Бальзаком и Тургеневым, чёрные медицинские справочники в ссыльных нижних полках. В одном окне – как всегда – верхушки деревьев, в другом – по-прежнему – крыша дома культуры, и я подхожу, чтобы прочитать (через олеандр) афишу внизу: трафаретными буквами мультфильмы и «Двойной удар». Наискосок за домом культуры – не подвела – труба, на которую я смотрю секунду, но тут же чувствую огромное счастье от кировского неба, от трубы, потому что она, полосатая, напоминающая маяк, обещает мне на голубом фоне, что в две недели обязательно поместится всё – река, пароход, бабушкин сад, троллейбусы, гости, канцелярский отдел ЦУМа, киоск в сквере – всё это будет, мы наконец в Кирове. Я иду в

ванную, мою руки абсолютно счастливым, пахнет чем-то, что я не могу разгадать: немного мылом и чем-то (чем?) ещё, так часто пахнет в старых ваннах с высоким темнеющим потолком или когда отключают горячую воду. Ненадёжный кран подкапывает, и в том, как грустно он повис, когда я выключаю воду, чувствуется, что дядя Юра умер. Пока я вытираю руки, я разглядываю окно в туалет, на котором висит детское накладное сиденье для унитаза, теперь оно не нужно, но висит, отбрасывает круглую тень в раковину, если в туалете включён свет. За столом мама с бабушкой смеются (мама ещё в поезде сказала: «Надо же, уже пять лет прошло, как нет Юры»), моё место у холодильника, и всё на столе крупно, выставочно, всё ждало год, чтобы снова показаться: фарфоровая чашка с блюдцем, вырвавшиеся из цветочного сервиза, сахарница с цаплей, осиротевшая после того, как её чайник разбился несколько лет назад, вазочка с мёдом под плотно прилипшей, жадной крышкой, заварочный чайник с нимбом выгнутой ручки и поэтому неудачный – крышечку придерживать неудобно, мыть тяжело, подарил любимый внук Миша. Над столом экзотическое дерево, привезённое из Африки бабушкиным братом Колей (ветеринар, кандидат наук, обмен опытом): на день схлопывает листочки, по привычке боясь африканского солнца, а раскрывает их только ночью. И с этого неуравновешенного дерева почти механически мой взгляд переходит на лицо бабушки Саши – далеко живущей, нерассмотренной бабушки, у которой пять лет назад умер сын Юра, и с тех пор глаза у неё всегда готовы заплакать, губы слегка вниз, брови грустно приподнятые, удивлённые, предрасположенный к слезам подбородок. Наверное, что-то анатомическое, склонное к ломкости само по себе, но когда умер дядя Юра, всё это пригодилось – подбородок, глаза, мимическая скрупулёзность, всякую минуту лицо её могло переломиться, только слегка предупредив вздрогнувшим подбородком, и заплакать о дяде Юре. Сейчас бабушка Саша смеётся, запрокинув голову, так же смеётся мама, так смеюсь я. Но всякий раз, когда бабушка Саша смеялась после восьмидесяти девятого года, она как будто приходила в себя и удивлялась: как же так она смеётся, когда Юры нет, и в конце смеха бабушкино лицо раскаивалось. Когда-то она одна из всей детской больницы могла брать пункцию спинного мозга, и машина скорой помощи частенько увозила её с семейных праздников к какому-нибудь больному ребёнку, а теперь бабушку прибило к

берегу, пенсия, сад, солнечная кухня. Подробно, по ролям пересказывается последняя неделя, не потому что она особенно важна, а просто помнится лучше всего. Мама подкормила огурцы перед отъездом, бабушка ходила в церковь на Воровского (лошадь, лошадь!), и там же вот продаётся эта колбаска, мама оставила котлет на неделю, на секунду появляется наша домашняя кухня и квадратная сковорода с котлетами, но тут уже заступают кировские родственники, сын у тётки Жени совсем спивается, продал квартиру и переехал в Котельнич, у Миши появилась девица, по телефону не здоровается, все только уговаривают его не жениться, и хоть бы была красавица, а так ведь мышь, на Партсъезда съездила, купила вот такие конфеты, бабушка достаёт из холодильника и высыпает в вазочку – зелёную «Ниву», красный «Мак», коричневый верблюжий «Кара-Кум», который бабушке нравится произносить, явно разделив на две части, причём вторую добавить как будто неожиданно – Кум! Я пробую каждую конфету, а Олина свекровь снова делает ремонт, разонравились обои, и бабушка вспоминает, как говорил дед Яков: «Когда собаке нечего делать, она себе там лижет». Я не могу выбрать между двумя вариантами, подходящими для слова *там*, но всё равно смешно, и дед Яков кажется мне остроумным, вспоминается его фотография, а бабушка на своё рождение ездила в больницу, отвезла им рыбный пирог, Андрей Аркадьевич, который был заведующим при бабушке, умер, приезжал к бабушке в гости Борисыч, дедов друг, привёз щуку, пообедал, водки, конечно, выпил. Ложитесь полежать после поезда, предлагает бабушка, а я пока в магазин схожу за молоком и поставлю пирог. Только пропикало девять утра по радио, так что пару часов вполне можно подремать, и мы с мамой соглашаемся (ехала старуха вот напротив и, представляешь, всю ночь храпела), идём в нашу угловую комнату и, не расстилая постели, ложимся – мама на кровати у стены, я на диване у книжных полок. Показывается потолок, высокий, с лепниной, с трещиной. Мама читает любовный роман, начатый в поезде, а я думаю, что я ни за что не засну и смотрю на корешки книг, павлинье перо лежит поверх Некрасова, затёртые мужские тома Джека Лондона. Я спрашиваю маму, что ей нравилось читать из этих книг больше всего, и она отвечает, что тогда все читали «Сагу о Форсайтах» Голсуорси, и я решаю начать читать её. Лучше бы поспал, Юрочка, говорит мама, а мне не хочется, и когда мама

откладывает книгу и закрывает глаза, я в первом же, самом потёртом томе нахожу «Сагу о Форсайтах» и открываю её, пахнет старой книгой и пылью, длинная, скучным мелким шрифтом вступительная статья, я пролистываю её, начинаю читать, но не могу одолеть и абзаца, под окнами проезжает машина, ветерком слегка качнуло форточку, открытую наружу, дополнительно привязанную к раме, чтобы удобнее было закрывать и чтобы форточка не вылетела в случае сильного ветра, на подоконниках цветёт олеандр. Я слышу, как хлопнула входная дверь, как умер дядя Юра, это бабушка пошла в магазин. Мне вдруг приятно закрыть глаза, и я засыпаю.

III

Квартира на Октябрьском проспекте большая, и, когда просыпаешься, непонятно, есть ли кто-то дома. Мы в Кирове почти неделю, я лежу, смотрю на потолок, привычно треснувший, от светильника к стене бежит большая глубокая трещина, впуская в себя небольшие притоки. Стены во всей квартире без обоев, давно крашенные, в маленькой комнате – в бледно-жёлтый. У батареи на уровне головы – победный отпечаток ступни: это моя двоюродная сестра из Ленинграда, Любка, выиграла соревнование, кто выше всех задерёт ногу и поставит отпечаток, под ним толпятся ноги проигравших пяти внуков. Я иду на кухню, замечаю, что у бабушки в спальне раскрыт балкон, и с улицы доносится яркий троллейбусный звон. На кухонном столе вижу торопливую, без знаков препинания, записку маминым круглым почерком: *Ушли в сад поливать завтракай сыр колбаса в холодильнике.* Раз в неделю, субботним утром, с девяти до одиннадцати, в саду дают воду, это пропустить нельзя, потому что нужно всё полить и набрать бочки, вёдра, пластиковые бутылки, которые бабушка, не поднимая особенных тяжестей, сможет разносить по грядкам. Поэтому мама с бабушкой ушли и сейчас, наверное, поливают, снимают плёнку с кабачков и огурцов, заглядывают, согнувшись, в теплицу к перцам, занимаются всем размеренным, влажным, тихим. А я – сам по себе.

Одиночество вскинуло крылья, заняло и потянуло меня. От кухни во все стороны – квартира на Октябрьском проспекте, и каждый шкаф вдруг чуть приоткрыт и просится, и я в кого-то, из кинофильма, влюблён, и не могу выбрать – залезть в шкаф или мы только что проснулись вместе. Коридор длинный, к концу темнеет, я хочу копаться в шкатулках, нюхать духи и быть голым и целоваться, и от этого я чувствую лёгкий зуд, как будто проводят нежным пальцем по новому, не привыкшему к прикосновению месту. Я захожу в бабушкину комнату и стою у раскрытого балкона, ярко, чётко, солнечно показывается мне маленький кусок улицы Гайдара, бетонный угол дома культуры и крыша кулинарии, а если высунуться, то и пешеходный переход через Октябрьский проспект, светофор переключился на красный. Я сажусь возле бабушкиного трюмо,

разделяюсь на три человека, два непривычных профиля, этого не бывает со мной во Владимире, потому что там нет такого зеркала и почему-то ещё. Я осторожно открываю маленькие коробочки, в одной – кольцо, в другой – серёжки, в третьей – кучка серебряной цепочки. В берёзовой шкатулке, старательно пахнувшей лаком, давно знакомое мне братство кулона, браслета и серёжек под капризничаящим названием *финифть*: заневоленные хмурым серебром сиреневые и розовые бутоны на эмалях. Особым островом стоит музыкальная шкатулка из плаксивого капокорня, о котором я слышал от бабушки, я забыл подробности, но бабушкиным пальцем веду по древесным прожилкам, напоминающим недавно изученные в школе микроскопические изображения клетки. Внутри шкатулка поделена на две части – для колец или бус, где интересно перебирать пальцем, и отсек с музыкальным механизмом, спрятанным в дерево, сверху торчит как у будильника винтик, до него дотрагиваться страшно, ведь Миша в детстве вообще поломал там что-то, и музыка перестала играть, пришлось (дед Яков попросил на работе) чинить, а теперь, конечно, никто не починит. К крышке прикреплена молодая фотография деда Якова, рядом – бабушкина, но она всегда отвёрнута лицом к стенке, словно они встали в первую позицию парного танца. Я всегда снимаю бабушкину и смотрю на её кудрявую, лаком закреплённую молодость. Однажды я специально развернул бабушку лицом, и они с дедом Яковым висели свадебно, объявляю мужем и женой, но бабушка (я проверил через несколько дней) отвернула себя обратно, чтобы не напоминало. Я осторожно, по стрелочке поворачиваю ручку, и раздаётся пружинистая, грустная мелодия, постепенно замедляющаяся, как будто от скуки, да, я люблю тебя. Я перебираю бабушкину косметику, снимаю крышечку с душистого ночного крема, который помнится мне по поцелуям перед сном, раскручиваю помаду, на губах становится маслено, запах вкусный. Я нюхаю духи и мажу запястье маленьким пузырьком с металлическим роллером, пахнет какой-то знакомой женщиной. Я исчезаю три раза, открываю ящик под трюмо, но сразу закрываю, потому что я всё-таки не один и чувствую настойчивую нежность, пойдём, пойдём. Я иду по длинному коридору, в зеркале над телефоном замечаю себя, и по моему лицу видно, что внутри, соскочив с места, похолодела какая-то деталь и катится, заставляет волноваться. Как всё близко, как дерзко, как тяжело открыть

дверь в большую комнату, железный шарик в защёлке проворачивается плохо, но я наваливаюсь, давлю, и всё, дёрнувшись стеклом, поддалось, раскрылось, расслабилось, запахло флоксами. И хоть мы влюблены, хоть мы повторяем сцену из заставки какого-то сериала, где герои украдкой пробираются в спальню, чтобы под музыку обниматься и целовать шею друг другу, хоть это всё так, но я замечаю большую комнату квартиры на Октябрьском проспекте – переполненную цветами, почти взбунтовавшуюся – пионы, ромашки, лилии, флоксы, бабушка приносит из сада букеты и оставляет их в этой комнате, потому что тут, но я не хочу додумывать это до конца, я люблю тебя, люблю тебя, мы целуемся, отступаем к дивану, я жадно целую красивый воздух, выгибаю шею, мы раздеваемся и укуловшейся наготой ложимся на покрывало, и когда мы обнимаемся, я вдруг вижу на телевизоре лицо дяди Юры, который умер, он строго смотрит на нас через очки. Я перевожу взгляд на стену, там дед Яков, старый, пиджачный, массивная рамка, тяжёлая оправа очков, тоже, конечно, смотрит на нас, устало, разочарованно. Я шепчу: «Давай уйдём отсюда», и мы, голые, уходим в спальню, там я ложусь на прохладную кровать и наготой чувствую сквозняк комнаты с двумя окнами, и от этого прикосновения воздуха мне делается – на несколько секунд – так одиноко и пусто, словно стало известно что-то очень тяжёлое, я сворачиваю одеяло под собой и ложусь на него, а потом переворачиваюсь на спину и обхватываю его ногами, я люблю тебя, я люблю тебя, пододеяльник немного пахнет стиральным порошком, я чувствую духи, которыми подушился, ах да, как у завуча, я люблю тебя. Я лежу голый в кровати, из форточки в форточку и на балкон стремится кировский ветерок, поглаживая меня, я слышу, как проезжает под окном кировская машина, звенит кировский троллейбус, сегодня мы собирались к цирку, а вечером в гости, и я отталкиваюсь ногами и легко лечу над оврагом, цирк, пруд с лодками, площадь Лепсе.

Я встаю, стараюсь не замечать комков одеяла и, стесняясь, иду голый через всю квартиру, потому что одежда моя осталась в большой комнате, ногами чувствую тёплые крашенные полы, а в коридоре песок, насыпавшийся с садовой обуви. Вся любовь моя делается неважной, и снова квартира полна шкапами и ящиками, в письменном столе старые открытки, на антресолях корзины. Я одеваюсь и оборачиваюсь к деду

Якову, к дяде Юре – они внимательно смотрят на меня, дядя Юра кажется огорчённым. И так всегда, где бы ты ни находился в этой комнате – в кресле, на диване, за столом – и дед Яков, и дядя Юра всегда смотрят на тебя и всегда призывают быть посерьёзнее. На секунду только заденешь их взглядом, и радость ёжится: умерли, умерли. Особенно дядя Юра – на телевизоре – над сериалом. Дед Яков – влево от часов, с ним встречаешься реже, но всегда перед сном: сколько там? уже пора спать. У каждого из них по букету: рядом с дядей Юрой на телевизоре детские (дорогой мой мальчик) ромашки, под дедом Яковым сложно выгнутые, с тяжёлым запахом тигровые лилии. На столе неличные, коллективные букеты в нескольких вазах – пионы, флоксы, садовый ландыш, карликовая лилия. Большая комната – самая тёмная, окно далеко, заставлено цветами, солнце бывает здесь утром и наискосок, люстра плоская, из толстого стекла, в ней горят две лампочки из четырёх, а бабушка никак не решится подняться на стол, со стола на табуретку, чтобы, покачиваясь, залезть рукой и выкрутить, и вкрутить. Раньше в этой комнате всё время лежал дед Яков и не давал внукам входить сюда. А внукам сюда хотелось, потому что тут, в углу, стояло пианино, всегда закрытое, всегда поджавшее зубы. Если только дед Яков пошёл на кухню, то тогда можно было тихонько приоткрыть и посмотреть на клавиши и, может быть, нажать на одну, услышав стукнувший зачаток звука. А когда в коридоре раздаются трёхногие, с тростью, шаги деда Якова, быстро закрыть и распрямить какую-то усложняющую манёвр салфеточку. Теперь – почти радуюсь я – деда Якова больше нет. Но и пианино продали зимой после его смерти, неловко, на ремнях спускали с четвёртого этажа. А у меня в памяти остался только этот птичий жест (дед Яков моется) над разложенными, напряжённо ожидающими клавишами: руки широко – притворяются, будто умеют мелодию, упругий, с задержкой, осознающий себя звук, мелодии, конечно, не выходит, но если, отступаясь, смещаться влево, то получается почти красиво. Я хочу посмотреть, что там в серванте за деревянная шкатулка, которая выглядывает из-за фотографии деда Якова с рыбалки (брюки, сапоги, кепка, сигарета еле держится). Я отодвигаю стекло шкафа. Чтобы пробраться к шкатулке, нужно преодолеть маленькую иконку-календарик, половину церковной свечки в чаше подсвечника, открытку со светлым праздником Пасхи (церквушка, остатки снега), маленькую

фотографию деда Якова, недовольную, для какого-то пенсионного документа (жаркий день, пришлось идти на Лепсе, неудобно было сидеть, болит нога, лицо брезгливое, расчёсочкой усилен пробор седых волос) – всё это, запомнив расположение, отставляю, деда Якова и икону – лицом вниз, сверху открытку с Пасхой, на неё – дед Яков на рыбалке, бито. Тихонько отодвинув серебряную солонку с мелкой солью и опасно пристроенной ложечкой, я добираюсь до шкатулки. Она тоже из капокорня, узор на крышке похож на срез кости. Я открываю её, освобождаю деревянно-лаковый запах, приятный, сопровождающий всякий шкатулочный секрет, и разочаровываюсь: в шкатулке оказалось дедово, неинтересное – рыболовные снасти, обидно похожие на сласти, но не имеющие ничего общего: блестящие разноцветные пластинки, изображающие рыб, с крючками, торчащими из хвоста. Я закрываю шкатулку и последовательно возвращаю: солонку с ложечкой, фотографию деда Якова на рыбалке, открытку с Пасхой (над церковью голубь), половинку свечки, иконку-календарик, маленькое фото деда Якова. И замечаю своё отражение в зеркальной задней стенке серванта, умножающей все предметы на два: за вазами на высокой ножке – мои накрашенные губы. Я вышел из комнаты, цветы как будто полезли за мной, дядя Юра подглядывал в щёлочку, но я с торжествующим усилием потянул дверь, дверь щёлкнула, цветы дёрнулись и заскорбели, за мной больше не следят.

В прихожей шкаф до потолка с театрально раздвигаемыми дверцами, я тяну одну створку, и захватывает дух – резиновые сапоги, лампочки, синий блестящий пылесос-ракета, перевязанные пачки журнала «Огонёк» за многие годы, с начальной школы дяди Юры. Я пытаюсь просунуть палец между журналами, чтобы увидеть хотя бы одну обложку, но пачка вредничает, я вижу только что-то красное и, кажется, траву. Нужно бы, думаю я, однажды (этого никогда не случится) развязать, рассмотреть всё внимательно, и я затягиваю занавес высокого шкафа в прихожей, иду в бабушкину спальню, исправно звенит троллейбус из раскрытого балкона. Несколько лет назад я нашёл у бабушки в комодке письма. Моя мама (испортившийся почерк студентки, знакомый мне только по утренним запискам) писала из Москвы: пришли, пожалуйста, ткань на юбку, посылку с поезда встретила, спасибо большое за свитер. Тогда я прочитал всего несколько писем, дошёл до того, где мама высказывала давнюю обиду

(а как можно жить дома? не обращать внимания на то, как отец кричит на бабушку Софью?) и остановился – кто-то вернулся домой. С тех пор в каждый приезд я пытался найти эти письма, но не мог – письма как будто (может, в самом деле?) перепрятали. Над комодом на стене – лампа, которая издаёт звук летающего насекомого. Лампу бабушка взяла в больнице, такие вешали в кабинетах, а она попросила домой, чтобы удобно было читать в кровати. Я включаю лампу, сажусь на пол, начинается сеанс. Ключ, выпадая, торчит из замка, я поворачиваю его, и дверцы, устав держать, открываются сами. Запахло смесью лака, бумаги и дерева. Папки, вазочка с карандашами и ручками, футляры со столовыми приборами – всё это как было год назад, два года назад, три, с незначительными, словно подмигнули, изменениями: новый флакон с одеколоном, откуда-то выпрыгнула пачка лезвий «Спутник», 10 шт. цена 1 руб. Ленинград, ул. Крупской, д. 55, забыл, что лежит в картонной сиреневой коробочке (а, белая меховая брошка). Я тащу краешек сшитой курицы – её надевают на чайник, чтобы сохранить тепло, но сейчас в ней защищённая от повреждений большая лакированная шкатулка – драматическая чернота фона, ярко-красная, раскалённая птица, раскрывшая многоцветный, с переливами, павлиний хвост, юноша с мелким, непонятым выражением лица устремил к ней руки, слева яблочки, справа ягодки, на изумрудном поле бревенчатые домики, далее, в черноте, весь мир. Я открываю шкатулку, внутри всё смягчено алым бархатом, тут даже не лежат, а оставлены драгоценности, которые бабушка почти не носит. Я вытягиваю первые попавшиеся бусы – чёрный гранёный, с детективным оттенком агат на податливой нитке – и вешаю себе на шею, бусы услужливо, издавая лёгкий неназываемый звук, реагируют на мои движения, приятно холодят шею. Я с нежностью ветеринара приподнимаю переплетённые нитки бус, браслетов, вынимаю на свет колечки – все смотрят благодарно, блестят глазками, но быстро устают, покорно ложатся обратно. Под шкатулкой два фотоальбома с толстыми листами, много раз пересмотренные мною, но я достаю их, чтобы снова найти мамины детские фотографии, где у них с тётёй Надей и дядей Юрой круглые стриженные головы, девочки, привыкшие к косам, смеются, радость выведенных вшей и необычных причёсок. За альбомами обнаруживается плоская коричневая вазочка, из которой торчат

карандаши с прикрепленными к ним чернильными перьями – они меня очень интересуют, и я лезу за вазочкой, а когда поднимаю её, от задней стенки комода делает шаг плотный чёрный конверт. На ощупь я понимаю, что внутри – фотографии. Ожидая чего-то улыбающегося, отпускного, может быть, далёких родственников, я вынимаю фотографии и даже не сразу понимаю, что вижу: люди стоят в ряд в похожей одежде, косыночки, кофточки, галстуки, лица не просто серьёзные, а как будто терпят, на переднем плане нечёткая бабушка в платке с рукой у рта. Мне становится страшно, но я, конечно, смотрю следующий снимок: всё почти так же, но фотограф делает шаг назад, и бабушка чётче, почти в фокусе, плачущее лицо, одна рука ото рта спустилась на грудь в беззащитном, последнем жесте, а другая держит (это уже нечётко) что-то вроде ящика, из которого выглядывают цветы, и я в ужасе понимаю, что это похороны, бабушка у гроба, я пугаюсь ничем неприкрытого, не сдержанного бабушкиного плача и быстро, точно зная, что это всё нельзя, убираю фотографии обратно в конверт, отворачиваю его лицом к стене, задвигаю вазочкой, фотоальбомами, шкатулкой в курице, закрываю дверцы комода и поворачиваю ключик, он в отчаянии свисает из скважины.

От страха я решаю перейти на разрешённую, детскую территорию – старый приёмник Schaub-Lorenz на тумбочке. Приёмник давно не работает, но его никак не соберутся выбросить. И только отчасти из-за памяти о тех руках, которые его когда-то крутили, чтобы поймать волну. Просто он тяжёлый, даже после того как из него, как из рыбины, вытащили все внутренности, сняли динамики. И приёмник по какой-то инерции стоит оглохшим инвалидом у бабушки в комнате. Белые строгие клавиши, требующие сильного желания нажать, на панели сейчас погасли, но когда-то, как рассказывала бабушка, горели названия европейских городов, призывая белый бегунок. Названия написаны латиницей, нужна расшифровка – Бремен, Лейпциг, Брюссель, Вена, город Toulouse мне не дался, а Бордо, разгаданный проходящей мимо бабушкой, смешно (бордеаух) запинаясь в лишние буквах. Где это? Во Франции? А ты была во Франции? Бабушка смеётся и пересказывает мой вопрос на кухне – там смеются все: мама, тётя Надя, тётя Ира. Я не помню, кто из внуков это придумал (Люба? Серёжа?), но в освободившиеся от динамиков отверстия мы просовывали всякие мелочи и оставляли внутри приёмника:

раскрашенный пузырёк от лекарств, колоду карт, маленькую куклу, тканевый мешочек со стеклянными шариками. Я засовываю руку – рука вспоминает, как пробираться через перегородки, где проверять, вот тут, слева, под щекочущими водорослями обрезанных проводов, я чувствую карты, и на прикосновение в памяти отзывается картинка (синие полосочки с внешней стороны и журавль с внутренней), покопавшись, я нахожу мешочек со стеклянными шариками, которые по-морозному хрустят, если мешочек сжать, и в этот момент появляется звук в прихожей, голоса, мама с бабушкой возвращаются из сада, хлопает входная дверь. Я оставляю шарики в приёмнике и иду их встречать, торжествуя, что так повезло, я успел убрать всё в комод. Но когда прохожу мимо бабушкиного трюмо, замечаю, что у меня накрашенные губы, а на шее бусы. Я быстро снимаю бусы, насмерть сжимаю их в кулаке и сворачиваю в ванную, успев увидеть, как бабушка садится на стул снимать обувь, в голове проносится *бог наказал* и осуждающее лицо деда Якова. Пока мама с бабушкой раздеваются, я быстро мою рот холодной водой, мама спрашивает из коридора: «Юрочка, ты завтракал?», я вытираю всё ещё масляные губы полотенцем, замечаю, что оставил на нём алый след и кричу: «Нет, не успел». И быстро, пунктиром, босиком, радуясь, что не надел тапок, бегу в нашу с мамой комнату, прячу чёрные бусы под подушку, сердце сильно стучит. Я выхожу в коридор, вижу маму и бабушку Сашу с похожими лицами, одинаково подстриженных, покрашенных в один цвет, догадываюсь, что они рано утром стриглись и красились, мама, когда мы были в Кирове, всегда красила бабушку, пытаюсь сгладить одинокие, неудобные зимние процедуры, Октябрьский проспект в снегу, бабушка сама красит себе голову, и умер дядя Юра. Мне стыдно, что я рассматривал то, что было спрятано, и за алый след на полотенце, я с особенным старанием несую сумки на кухню. Давайте завтракать, а то уже двенадцатый час, говорит мама и просит поставить варенье, которое бабушка варила вчера, на стол в большой комнате. Я иду через коридор с тазом, думаю, удастся ли мне снова остаться дома одному, чтобы вернуть бусы. Я плечом, поднажав, открываю дверь, она раздражается на меня стеклом, подстерегавший запах флоксов напоминает мне о наготы. Я ставлю на стол малиновое варенье, оно, вяло двинувшись в тазу, сильно запахло густым ароматом. Я слышу, что звонит телефон, бабушка берёт трубку и

говорит ласково *Да, Олюшка*. Это звонит моя двоюродная сестра Оля, дочь дяди Юры, они договариваются о том, во сколько мы пойдём в гости сегодня. Я встречаюсь взглядом с дядей Юрой, молодым и грустным, рядом с ним глупыми кажутся веселенькие (не любит?) ромашки. Я раздумываю секунду, а потом подхожу к дяде Юре и целую его в пыльные губы.

IV

Бабушкин сад – вот совпадение – тоже располагался, с трудом удерживаясь, на склоне холма. Перейти Октябрьский проспект, долго идти вдоль заводского бетонного забора, свернуть вместе с забором, посмотреть в дырку на что-то огромное, ржавое, перешагнуть через одноколейную железную дорогу, мимо старых, двухэтажных, деревянных ещё домов, мимо сторожевой собаки, под настроение лающей, вниз с холма, крутой спуск, возле участка сто двенадцать – вынужденный бег. В саду ежегодное повторение ботаники: этот сорт яблок называется «пионер», это «северная заря», это «райское яблочко», тут тигровая лилия, три вида крыжовника. Главная моя задача заключалась в том, чтобы помочь унести урожай, поэтому в саду я делал что-то необязательное – ел смородину с куста, наполнял водой пластиковые бутылки и раскладывал их вдоль парников, медленно собирал с лестницы облепиху, внимательно рассматривая иголки. Мне очень нравилось ходить на ключик за водой – спуститься по тропинке до самого дна садов, попросить почти шутя ключик от ключика у соседа с суровым безгубым лицом, отпереть деревянную калитку и выйти за высокий забор, а там уже, удивившись заборной жизни (кусты, звук падающей из трубы воды), спуститься по щебёнке. Но воды обычно было не нужно, и я ходил на этот ключик всего-то два раза. Последние десять минут, пока бабушка переодевалась, закрывала, проверяла, я ждал у калитки с букетом цветов, в этом чувствовался намёк на праздник. Я ходил вдоль забора, подслушивал соседей, играло радио. Наконец бабушка выходила из калитки, крестила (в прошлом году украли весь чеснок) замок, я отдавал ей букет, а сам брал ведро (ягоды) и корзину (огурцы и яблоки). Когда мы поднимались, у бабушки сбивалось дыхание, не получалось дышать так, как хотелось. Два раза за подъём мы останавливались, чтобы она могла отдышаться, на лице у неё было грустное признание: «да, вот так». Мы смотрели с холма на лес, на речку, на небо, всё спокойно лежало и тревожилось только, когда я взмахивал руками, чтобы прогнать комаров. Бабушка, наверное, думала о чём-то далёком, когда вот так стояла на холме после огородных работ, иначе чем объяснить, что она несколько раз читала мне там стихотворение «Жираф»? Или,

может быть, цеплялась, за собственное слово «послушай», которым она часто обращалась ко мне? Послушай, Юрочка, далёко, далёко, бабушка ставила одышливую цезуру, на озере Чад изысканный, снова одышка, тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения, бродит жираф. Стихотворения хватало, чтобы подняться до следующей остановки, и как я тебе расскажу про тропический сад – домик председателя, доска объявлений, лавочка. Там мы садились, река пропадала, только поворот дорожки, на столбе висит железный рельс, покрашенный в предостерегающий красный цвет, чтобы бить в него в случае пожара. И из-за этого рельса, особенно если обратный поезд уже через несколько дней, становилось тревожно.

V

Дядя Юра умер так, что хочется побыстрее прижать рукой, и ваты, ваты – разошлись швы после операции на сердце. Дядя Юра был рентгенолог, и считалось, что слабое сердце, неудержавшиеся швы – следствие его работы. Остались многие: жена Ира, двое детей – Миша и Оля, одиннадцатый и девятый класс, мать, отец, две сестры – все руками зажимали рану его. Операцию делали в Москве, поэтому дядя Юра умер по телефону. В этот день Оля почему-то была с бабушкой Сашей на работе – в детской больнице. Бабушку позвали к телефону, вспоминает Оля, и они обе пошли. Оля смотрела на бабушку, пока ей что-то говорили, а потом бабушка отнесла трубку от уха и сказала – не Оле, а вообще: «Он умер». Все тут же бросились в Киров – и мама, и тётя Надя, и бабушкин брат Коля. На похороны меня не взяли, поэтому я запомнил смерть дяди Юры так, будто далеко, за лесом, что-то грохнуло, забегали в деревьях люди, но, если посмотреть по сторонам, ничего не заметно. Пока в Кирове плакали, у меня торжествовало самое начало лета, сад, река, шорты, неделю я жил с бабушкой (в одном абзаце) Галей, которая грустила, конечно (*вот жизнь...*), но легко отвлекалась на телевизор. Потом отец вернулся с похорон и купил мне ящик лимонада в стеклянных бутылках – «Вечерний Арбат». Наверное, на фоне смерти хотелось порадовать ребёнка – ещё ведь это совпадение имён. Никогда раньше я не пил столько лимонада, и этикетка «Вечернего Арбата» с последней бутылки долго хранилась среди фантиков: синяя надпись на чёрном фоне, три огонька, размытых дождём, или если прищурился – чистое счастье, не потревоженное кировской смертью дяди Юры.

Отец повёз нас с Денисом в Киров на сороковой день. В плацкарте с нами ехал старик, который очень напоминал мне деда Якова – сухое лицо, очки, палка. Он разбудил меня рано: «Юра, вставай, уже Киров!» Я сел на полке и посмотрел в окно: мелькали ёлки, никакого намёка на Киров, но я не возражал, мне нравилось смотреть в окно. «Киров! Киров!» – улыбался старик. Откуда он возвращался? Почему так радовался? В вагоне все спали, и только мы со стариком ждали, когда расступится лес и выскочит Киров. Поезд загремел над Вяткой, мы со стариком взвились в восторге над водой и песком. Но в большой

квартире на Октябрьском проспекте острым льдом в каждой комнате (и на кухне, и в ванной) холодела смерть. Бабушка не вышла встречать меня. Странноватое слово у-м-е-р оказалось важнее, больше меня, я затерялся в белых с серебром буквах и понял тогда, что это значит: дядя Юра у-м-е-р, 1946–1989.

Ещё ведь это совпадение имён. Мама звала меня: «Юра! Юра! Пойдём кушать!» У тёти Иры красные глаза и нервные руки. Юра! Юра! Дочка Оля бесконечно плетёт подвесное кашпо из серых капроновых ниток, день за днём, цветка, чтобы подвесить в него, нету. Сын Миша почти не появляется дома, и все его ищут, звонят друзьям – не у вас ли? В квартире сжалась пружина и вот-вот вытолкнет нас всех. Лица перечёркнуты, смяты, расправлены наспех. Юра! Юра! Бабушка идёт со мной на остановку – все уехали раньше, на машине, с заездом по какому-то делу, а мы должны ехать на троллейбусе, сделать пересадку, впереди готовится чёрное горькое кладбище. Бабушка туго повязала косынку под подбородок (мне казалось, она должна больно давить ей) и вела Юру, Юрочку через сквер к остановке, шла чуть впереди, сильно сжимала мою левую руку и не знала, что я навсегда запомню, как она вела меня к остановке. Дядя Юра умер, и я, Юра, Юрочка, случайный повтор, свидетельство маминой любви к брату, был в тягость ей, она убегала от меня и тянула меня за собой. Потом она писала мне в письмах *Дорогой мой мальчик Юрочка!*

С дядей Юрой, живым, у меня было связано всего одно воспоминание, из самого раннего детства, снизу вверх: кухня, пол в клетку, чёрные квадраты чередуются с зелёными, длинные ноги, нос, очки, непонятная улыбка взрослого человека. Привезли из леса грибы, их нужно разбирать, смотри какие скользкие шляпки, бабушка садится на маленький стульчик, они с дядей Юрой смеются, а я смотрю на них. Больше ничего не помню, потом он уже – фотография. Бабушка стирала пыль с телевизора тряпкой, брала Юрину фотографию и проводила ладонью, не тряпкой, и не вытирала, а гладила Юрино лицо, глаза его, нос его, а лоб – её.

Если присмотреться, можно разглядеть тогда, после похорон, в большой квартире на Октябрьском проспекте деда Якова. Он жив ещё, старый, ржавый, с сединой и палкой, доктор-хирург Яков Иванович, у сына разошлись швы после операции. Но я не помню его тем летом. Сидел, наверное, в кресле сухой пачкой пожелтевшей бумаги, редко

выходил из комнаты. Мы ни разу даже не поговорили с дедом Яковом. «Юра, закрой клавиатуру!» – осталась такая рифма в памяти, я только приоткрыл крышку пианино. Похороны деда Якова были через год после дяди Юры, немного, на две недели, сдвинул дату. Дед Яков никого не удивил своей смертью, а скорее подтвердил, жизнь не оборвалась, а истончилась. Бабушка была с ним в больнице, и умер он у неё на руках – так говорили. Но я никогда не видел их даже сидящими рядом, поэтому сложно было вообразить такую нежность – дед на руках у бабушки. Вместо этого в воображение просилось что-то античное, мраморное. Он был суровый, коммунист, главный врач, запрещал и указывал, кричал (куда пропали те письма?) на бабушку Софью, маму бабушки Саши, в косыночке. Так его и оплакивали, сурово, организованно. Дед Яков ходил в бабушкин сад как на экскурсию и показывал тростью *Что это? Цветы? Вырвать и картошку посадить! Что это? Мелисса?! Что это? Какие ещё патиссоны?!* Бабушка кивала, но делала как хотела: у деда полиомиелитная (по буквам) нога, он в сад приходил в лучшем случае раз в год, картошка росла без участия деда Якова. Но надо же было всякий раз забираться на постамент. Такой характер, делала вывод мама, и когда кричала, объясняла, что и в ней есть кое-что от деда Якова. Бабушка с дедом проработали в одной больнице в Уржуме десять лет, но, когда они с семьёй приехали в Киров, бабушка попросилась тайно от него в другую больницу – в детскую. Цветов на его похоронах было много, как раз распустились пионы.

Совсем недавно я увидел у мамы свою старую, студенческих времён, записную книжку. Вещи у мамы иногда всплывают сами собой, как будто по какому-то закону физики настаёт их черёд, вот и блокнот лежал на боку, пыльный, но уцелевший. Пасхальное чувство поднялось во мне: господи, жив! На горчичной обложке плохо читаются неподходящие золотые буквы: Делегату X партийной конференции ЭМСЗ (даже не пробовал расшифровывать) им. ЛЕПСЕ. Если раскрыть эту официальную твёрдую обложку, там вдруг внутренняя, нежная, графическая – Петропавловский собор, тихая подпись *Ленинград*. Блокнот мне отдала бабушка Саша, тогда он был почти пустой, только в начале несколько страниц исписано чернильными каракулями деда Якова. Я тут же вырвал эти странички и начал использовать блокнот для важного: расписание занятий в

институте, список реквизита к студенческому спектаклю, литература на лето. Я полистал и быстро заскучал: всё неважное, мелко-организационное. Ну разве только цветным карандашом зафиксирована оговорка преподавателя: «Каракурж». Я хотел уже отбросить блокнот обратно на дно, чтобы он снова на пятнадцать лет потерялся, но почувствовал уплотнение в обложке: там лежали вырванные листочки, исписанные чернильными каракулями деда Якова. Вероятно, листы не поддались сразу, поэтому я вырывал в два захода, сначала верхнюю часть, потом нижнюю. Почему, по какой такой бережливости я не выбросил эти записи? Наверное, лень было вставать и идти до мусорной корзины. Я перебрал странички, соединил по месту разрыва: 1981 год, список дел по месяцам и категориям – для машины, для квартиры, для рыбалки. Произошёл уже известный мне фокус: то, что было дрянью, глупостью, ерундой, отлежавшись тридцать восемь лет, стало вдруг очень интересным, важным, почти любовным, меня приятно покачивало на пружинистом слове «рессоры», которое первым сложилось строго по месту разрыва. Почерк у деда Якова сложный, я старался, но всюду добавлялось *что-то*: купить три банки краски для *что-то*, перебрать *что-то* снасти, увезти *что-то* на Молому, покрасить, предварительно промыть деталь *что-то* от масла и грязи, Морилкову *что-то* о строительстве профилактория: правда ли? могли ли *что-то*? Дед Яков словно впервые посмотрел на меня заинтересованно через толстые линзы, задвигающие глаза вглубь, и рассказал о важном: «Банка морилки, чёрная фибра». Больше всего деда Якова волновала, конечно, рыбалка – о Моломе, притоке Вятки (лес, домик, костерок) написано больше всего. Пусть февраль, пусть на окнах сугроб, но деду Якову уже хочется на Молому, и он планирует перебрать удочки. На последней страничке в недатированном списке «Общее» увидел бабушку, как неожиданное колечко в банке с шурупами: купить Саше на день рождения (подчёркнуто) пять бутылок *что-то* (в кавычках, с маленькой буквы) по её поручению. Среди мужских дел, пахнущих железякой, машинным маслом, вдруг закричали из кухни, через коридор. Долго расшифровывал, что за слово в кавычках – пять бутылок чего? Наконец буквы сдались, сцепились – получилось пять бутылок «злодейки». Я проверил по словарям, поискал в интернете, и выяснилось, что бабушка просила купить пять бутылок водки –

«злодейки». Был, оказывается, такой кукольный мультфильм в пятьдесят четвёртом году – «Злодейка с наклейкой» о вреде пьянства. Саша так и сказала – купи «злодейки»? Или он сам добавил прозвище? Я перечитал странички несколько раз, пожалел их, погладил пальцем имя *Саше*, уж в каком было падеже.

После деда Якова долгий, в семнадцать лет перерыв, но тоже в июне, начало лета.

VI

А на кладбище – хотелось. Это на автобусе через мост, смотреть, насколько обмелела река, много ли людей на нашем пляже, ходит ли этим летом прогулочный теплоход. Вход на кладбище кичится искусственными яркими цветами, заранее скорбящими венками – сыну, маме, коллеге: кого-то ждут они? Дальше сказочные приметы пути – колонка, огромный гранитный памятник, могила отца какой-то Наташи, маминой одноклассницы и тётки, куда мама заходила прибраться, потому что Наташа уехала из Кирова и на отце всегда лежали прошлогодние листья, а ведь он участник войны. Счистив серьёзно, но без слёз листья с отца Наташи, мы шли по направлению к соснам, начинали попадаться знакомые лица соседних могил, и неожиданно, как гриб в лесу, находился памятник дяди Юры. На памятнике другая фотография, не та, что дома: дядя Юра в шляпе, воротник поднят, никто и не узнал бы дядю Юру. Ни травинки, тётя Ира приезжает раз в две недели и ухаживает, как за любимым садом – всё цветёт крупно, мясисто, невиданная пузатая зелень – очень рекомендуют для могил, чтобы забивала сорняки.

Через три ряда – дед Яков. Бабушка высадила к нему садовые колокольчики, ландыши, старалась угадать, что ему понравилось бы, поставила столик и лавочку. Кусты прижились, мы пропалываем, сажаем бархатцы. И не то чтобы торопимся, но иногда смотрим на часы: хотим уехать на 12:45, мост, река, моторная лодка. Моем руки из бутылки и поминаем за столом – компот, домашнее вино, хлеб, огурцы, яйца, кексы, вкусно, будто Христос воскрес в июне. Замечаем белку в соснах.

Когда собран мусор, чтобы выкинуть по дороге, бабушка ещё раз заходит к дяде Юре, как перед сном, и гладит его мрамор, его серенькую крошку, крошечку, и что-то говорит ему тихо, над кроватью, три часа ночи, жар. Я повзрослел и плачу, а бабушка уже нет. На обратной дороге с кладбища всем грустно: многие умерли, а нам скоро уезжать, далеко тянется пляж.

Вечером в день поездки на кладбище – вкусные поминки. Всё, что кто-то любил – пирог с рыбой, грибы, беляши, запечённая щука, селёдка, водка, для детей (безо всякой уже привязки к мёртвым)

открытый пирог с малиной. Всё вкусно, за столом шумно, внезапная боль в горле:

– Мамочка, ну что ты!

– Не буду, не буду.

Он умер уже шесть лет назад, семь лет назад, десять лет, даже не верится.

VII

Бабушка провожала нас на перроне, стояла грустная, без сумки, в свободном платье. Разговаривали о чём-то неважном, потому что о важном разговаривать было страшно: всё-таки следующий отпуск только через год, а бабушке семьдесят пять, семьдесят шесть, семьдесят семь, семьдесят восемь. Она шла за поездом, махала рукой, ускорялась, срывалась на бег и, побежав, пропадала из окна. Я плакал. Потом бабушка (ах да, Саша) перестала ездить на вокзал, чтобы не возвращаться поздно домой и не плакать в троллейбусе. Она махала с четвёртого этажа, из окна подъезда (окна квартиры не выходили во двор), лица не видно, но всё и так понятно.

Взрослея, я стал узнавать в себе именно бабушку Сашу: через тысячу километров её нос, её взгляд, её меланхолия, её поза перед сном – рука под голову, грустный потолок. Во мне появилась и окрепла её интонация: печально гладить кошку, потому что она обречена (на что?), и приговаривать *котик-братик, котик-братик*. Бабушка однажды рассказала мне, как много лет назад её обидела внучка Оля. Дяде Юре дали квартиру, и они всей семьёй переезжали из квартиры на Октябрьском проспекте в новенькую панельненькую пятиэтажку на Профсоюзной улице. «Теперь у нас будет новая жизнь!» – радостно сказала Оля, семь лет, ничего не имея в виду, вообще повторяя чьи-то слова. А бабушка с кухни, через коридор, посмотрела на Олю и запомнила на всю жизнь, с какой радостью от неё уезжают. Я всё это хорошо понимал, нам обоим грустно было спускаться с холма, когда далеко впереди ленится речка. Говнотечка – добавляли мы с бабушкой, чтобы развеселить себя, но выходило грустно. Как-то в день отъезда из Кирова я пытался выгнать осу, которая гудела над тазами с вареньем, а бабушка сказала: «Да пусть летает. Когда вы уедете, останусь хотя бы с осой». Лучше, кажется, не скажешь. Я замер, внутри похолодело, остаток дня оса электрическим одиночеством жужжала в тишине.

Во время учёбы в институте я несколько раз приезжал к бабушке Саше зимой и впервые увидел белый морозный Киров, сильный ветер на набережной, остановившуюся реку, бабушкино пальто и шапку. Киров от мороза, от моей юности дал трещину, надломился, и пропал куда-то город детских путешествий, а обшарпанные жёлтые дома

сделали шаг вперёд, особенно в зимние сумерки из окна автобуса. Я писал письма из Кирова, ездил в книжный магазин и в ЦУМ, но ничего не покупал. Бабушка пекла малиновый пирог с замороженными ягодами, и он тоненько, пытаюсь справиться, пах малиной, летом, детством, поминками.

Бабушка каждый раз дарила мне что-то заметное: шкатулку из капокорня, освобождённую от снастей, морячка-бутылку с маленькими чашечками, висящими у него на плечах, собрание сочинений Диккенса, в «Оливере Твисте» закладка из троллейбусного билета, кружку деда Якова, книжку «Принц и нищий» дяди Юры с дарственной надписью *Юре на день рождения 1958 год*. Я всё брал с благодарностью и со странным чувством, будто бабушка даёт мне то, что я должен спасти, потому что это может больше никому не понадобится. Кое-что я просил сам: сахарницу, пепельницу, фотографию. Попросить чёрные бусы из агата (тогда они поехали в больницу с пирогом, и я убрал обратно) я не решился. В конце концов бабушка подарила мне и музыкальную шкатулку. Брать её было страшно, ведь Миша однажды поломал механизм. Но бабушка настаивала: покрутишь и – заиграет... Я забыл, что такое капокорень, сказал я от неловкости. Это такой нарост, кажется, на берёзе, сказала бабушка, его срезают и как-то обрабатывают, видишь, тут такой узор получается, бабушка провела пальцем, потому что слова для узора не было. Я точно-то и не знаю, это дед разбирался, ему их когда-то дарил доктор из района. Бабушка пошла за газетами, чтобы завернуть шкатулку, большая квартира отзывчиво передавала бабушкины шаги в коридоре, узор на крышке шкатулки в светлой утренней комнате напоминал блики солнца в воде. Не досказанная до конца бабушкина фраза хотела продолжиться у меня в голове: заиграет – и вспомнишь обо мне, когда (вместо следующего слова) я подошёл к окну, посмотрел на морозную, румяную трубу. Пока мы упаковывали вещи (шкатулка, бинокль деда, собрание сочинений Флобера), бабушка рассказывала мне, как после ухода с работы (ей было семьдесят пять лет) она решила в последний раз поехать в дом своего детства в Ярославской области. В доме жили далёкие родственники, не желавшие поддерживать связь и принимать гостей, но бабушка прошла пешком от соседнего села, где останавливался автобус, постучала им в дверь и сказала: «Уж как хотите ругайте меня завтра, а сегодня пустите

переночевать». Переночевать пустили, хоть и без гостеприимства, но бабушка не обращала внимания: уж очень ей хотелось посмотреть на дом, на дорожки свои, по которым в детстве она ходила в школу, по которым уезжала поступать в мединститут. «На полу положите – на полу буду спать», – сказала бабушка родне. Я представлял, как бабушка шла старой дорогой и перебирала глазами деревья, как вынырнуло вдалеке её село с кардиологическим скачком колокольни и приближалось, показывая изменённое, почти чужое лицо. Только, может быть, вот эта рябина... Я бы сам спал на полу.

Время от времени я открывал старые кировские книги и нюхал. Иногда везло, и из страниц вываливалась открытка – *Дорогие Яков Иванович и Александра Николаевна! Поздравляем семью Мальцевых! Яша и Саша, с Новым годом!* Иногда летом у меня в квартире пахло малиной, а в сырые дни на балконе удавалось поймать запах бабушкиного садового домика. Если поздно вечером с моста на улице Старая Басманная я видел, как проползает недавно оттолкнувшийся от вокзала поезд с жёлтыми окнами, хотелось снова в Киров.

Я вернулся через пятнадцать лет после смерти бабушки Саши, тоже летом. В поезде вспоминал бабушкину поездку в родную деревню. Остановился у сестры Оли (от вокзала совсем в другую сторону) и ходил по местам, которые помнил с детства. Был у цирка, в городском парке, где каскадом спускается вода в пруд, на Театральной площади, в музее Салтыкова-Щедрина, в котором дремала смотрительница, и я шагал украдкой по деревянному полу, чтобы не разбудить. От музея до бабушкиного дома было двадцать минут на троллейбусе, но я не мог решиться вот так сразу туда поехать, поэтому пошёл на набережную. Когда я спустился к реке, оказалось, что как раз сейчас отходит прогулочный пароход. Я быстро купил билет и прыгнул – последним пассажиром – на палубу. Пароход шумно работал двигателем, долго отползал от берега и наконец пошёл по реке. Из той единственной поездки на пароходе по Вятке, которая была у меня в детстве, я помнил только немного мамы у перил и корни дерева в воде, больше ничего. Теперь я плыл вдоль каменных плит, придерживающих берег, потом мимо песочного пляжа. Кое-где сидели люди, худой мужчина гулял с худой собакой. Скоро открылся вид на высокие панельные дома, появилась стая чаек. Дойдя до какого-то места, ничем не примечательного, пароход стал разворачиваться. Я

пытался всмотреться в даль и понять, что там дальше, куда я никогда не доеду, но река, сохраняя тайну, уходила вправо, показывала жёлтый высокий берег и сосны. На обратном пути я заметил в кустах рыбаков с удочками, они недовольно поглядывали на шумный пароход. Через полчаса я ехал в пятом троллейбусе на Октябрьский проспект. Я вспоминал за окном загс, мясокомбинат, стадион. Площадь Лепсе осунулась, ларьки убрали, за памятником Кирову вскочила, подняв руку, новая краснокирпичная церковь. Я медленно шёл через сквер, по которому когда-то бабушка вела меня к остановке. Окна первого этажа в старых домах, сопровождающих сквер, низкие, и я невольно видел чужие цветы, занавески, иногда кошку, иногда обои. Я решил не сразу идти во двор, а пройти через боковую улицу, чтобы посмотреть на гараж деда Якова: там среди двухэтажных каменных домов был внезапный ряд гаражей – не больше десяти – для редких в те годы автовладельцев. В гараже у деда Якова стоял его старый – каблучком – «москвич», плетёный руль, теряется и находится коричневая полоска, красивая ручка рычага – роза схвачена пластиком, как будто утонула и смотрит мокрая из-под воды. После смерти деда Якова машина слабела. Миша как-то выехал на ней с друзьями и разбил, с тех пор что-то от неё откручивал, продавал, менял, и машина превратилась в скелет. Зато под машиной – погреб, он жил полной жизнью, бабушка хранила там солёные огурцы, картошку, компот из черёмухи и облепихи. Я посмотрел на бурые, выкрашенные одной краской ворота гаражей и не узнал нашего, в памяти промелькнули сложности с замком, он никогда не открывался с первого раза. На соседних двухэтажных домах обрушились балконы, и из стен торчали только железные балки. Всё как будто было понятно, и я двинулся к бабушкиному дому.

Бабушкин дом стоял как ни в чём не бывало, гастромом равнодушно работал. Из открытой двери гастронома зачем-то пахло выпечкой. В квадратном дворе старого дома лежал, всё смягчив, тополиный пух. Дом привычно желтел, но всюду люди вставили новые пластиковые окна, которые, издеваясь, белели. Я знал, что такие же окна теперь и в бабушкиной квартире: несколько лет назад я попросил знакомую прислать мне фотографию бабушкиного дома. Она сделала снимок с нужного ракурса, и я сразу увидел, что окна поменяли. Теперь в бабушкиной квартире жил Миша с семьёй, они долго, два

года делали ремонт. Я позвонил в домофон, и мне приветливо ответили. В подъезде сохранились красные гладкие перила, я установил на них палец, как иглу на пластинку, и тянул мелодию до четвёртого этажа. Пробыл в гостях недолго, не узнав ни одного места в квартире. В угловой комнате теперь жила маленькая девочка, она украсила окна разноцветными бабочками, получилось красиво. Когда хлопнула за мной входная дверь, тихонько, еле слышно умер дядя Юра.

Уезжать из района не хотелось, и я решил сходить к бабушке в сад. Я перешёл Октябрьский проспект, свернул на дорожку вдоль заводской стены. Стена закончилась, показалась однополосная железная дорога. Двухэтажные деревянные дома расселили, и они стояли раскрытые, без стёкол, вспомнилось, что в окне одного из них год за годом сидела большая чёрная собака. Ворота в сады были открыты. Никто не попался мне навстречу, только кое-где за заборами поливали. С дорожки была видна речка, поле, переходящее в кусты, ступени леса на горизонте, синее небо позволило себе широкую жёлтую вечернюю полосу. Говнотечка, прибавил я. У чьей-то калитки я вспомнил цветы золотых шаров, ради смеха и благодаря Олиному экзамену по ботанике называемые «рудбекия». Сначала появился домик бабушкиной соседки, и тут же выскочило имя – Люба, Любаша, это если переговариваться с ней через забор: Любаша, идёт ли вода у тебя? Наконец я дошёл до бабушкиного сада. Его тогда скоропостижно продали, вместе с высаженной в парник рассадой. Более яркой метафоры бабушкиной смерти невозможно было представить: новый хозяин спилил яблони, вырвал, как будто по завету деда Якова, цветы и засадил всё картошкой, в домике заколотил окна – кажется, просто из вредности. Сад стоял облысевший, ослепший, наполненный тщательно окученной дурой-картошкой, мне было неловко смотреть на него, как неловко остановиться над мёртвой птицей на тротуаре. Я прошёл дальше вдоль забора и увидел бабушкины вишни. Они выжили, вероятно, потому, что загоразивали участок от прохожих – низкие, северные, с кислыми, мелкими, но яркими ягодами. Я погладил вишню так, как, казалось мне, бабушка могла бы, сорвал ягоду и не удержался от мысли, пусть и слишком сентиментальной, что это последнее бабушкино угощение, вспомнилось, что Оля в память о них о всех стала врачом, внутри загорчило, подступили слёзы. Я положил ягоду в

рот и стал подниматься, не оборачиваясь. Косточку я не выплюнул, а спрятал в карман, чтобы потом, дома, убрать в шкатулку. На середине холма я, подхватывая дыхание, остановился, посмотрел вдаль, за сады, жираф.

Тромбофлебит

– Ротик у этой Риммы как куриная жопа, а всё равно губы накрасила, – говорит бабушка. Я смеюсь и переспрашиваю несколько раз: какой ротик? почему куриная? Ну сморщенный, как у курицы жопа. И показывает: вот такой. Покажи ещё раз!

Бабушка знала, что я смеюсь над *жопой*, и поэтому под настроение её употребляла, сама над ней смеялась, а отсмеявшись, говорила, чтобы я маме не рассказывал.

– Жанна юбку какую короткую натянула, – прицеливалась бабушка. И стреляла: – Сейчас голубь в жопу залетит.

– У Вериного подъезда лавку сломали. Наверное, Вера своей жопой и проломила.

Жопа у Веры огромная, как арбуз, а у соседки Лены маленькая, сухонькая жопка, за всю жизнь так и не отрастила Лена – ни жопы, ни мужа, зато свёклы посмотри сколько тащит с огорода. Мы хохотали.

– Вот Тамара всякий раз как встанет с лавки, так и стоит по полчаса – халат в жопе (смеётся), рецепты пересказывает, как она огурчики малосолит. Так и хочется сказать ей: Тамара, ну высунь ты халат из жопы (хохочет), ты не кормишь, что ли, жопу свою (едва понятно) огурчиками (до слёз). Только маме уж не говори.

Маме я не говорил.

Но бабушка смеяться, в общем-то, боялась. Особенно в первой половине дня. Утром насмеёшься, вечером наплачешься, говорила она. Бабушка чувствовала, что в этом заключается закон жизни: смех обернётся слезами, счастье переломится, колено перестанет сгибаться. Бабушка часто вспоминала, как она девочкой шла в белом платице по берегу Азовского моря, и на руке у неё были часики, которые подруга дала ей даже не поносить, а попробовать, на десять минут: когда стрелочка будет вот тут, отдашь. Как только застегнули ремешок, бабушкина рука сразу стала кокетничать, туда-сюда, часики замигали на солнце. И из-за этих часиков бабушке, как бывает с детьми, захотелось быть совсем другой – взрослой, интересной, загадочной. И почему-то ей пришлось в голову хромать. То ли она прочла в книге, то ли видела в кино, но лёгкая хромота (одна нога будто не гнётся) казалась ей красивой: тоненькая девушка в белом платице идёт вдоль моря с

часиками на руке и хромает, стрелочка раз, раз, ножка раз, раз, один след на песке глубже другого. И девушка смотрит в море, как будто вспоминает что-то, и всякому, кто видит её сейчас на берегу (хоть никто и не смотрел), понятно, что эта красивая белой красотой девушка уже успела обо что-то споткнуться в жизни. Ну ещё и длинные кудрявые волосы, ну ветер, ну треплет, как не трепать на берегу моря, о войне ещё никто не знает, тридцать шестой год, ах. И бабушке было весело и интересно притворяться хромой все восемь оставшихся минут, и потом ещё пять минут выпросила. Стрелочка, если приложить к уху, щекотно тикала. И вот, иронизировала бабушка, теперь еле таскаю ногу. Море осталось в рыбацкой деревне, кудри распрямились, волосы побелели, артритное колено перечёркнуто йодом, за жизнь было трое наручных часов, но больше всех бабушка скучает по таким овальненьким, с римскими чёрными циферками, «Чайка» (оставила в поезде). Вот теперь всё бы сделала, чтобы нога не болела, подводила бабушка итог.

А делала бабушка многое: в шкафу под окном (защищённое от солнца прохладное место) настаивается тёмная спиртовая растирка с красиво утонувшими цветами одуванчика, даже в ноябре – жёлтые, сохранившие лето. Помогают верхние листья молодой капусты, лопух, подорожник, сеточка, сделанная йодом. Растереть, приложить, замотать шарфом и надеяться: хоть бы полегчало. От хромой Галины Андреевны пришёл новый рецепт – помогает яд живой пчелы. Нужно поймать её и заставить укусить в колено. Мы идём в сад, расставляем на крыльце сахарные ловушки в блюдечках. У соседа Васи улей, и пчёлы летят от него весело, а нам как раз нужна весёлая, счастливая, летящая куда-то на пионы пчела. Мы, наверное, включаем приёмник, он хрипит песнями (из которых я помню только одну, но она тут ни к чему), передаёт московское (а какое ещё?) время. Мы поливаем, наверное, помидоры (две грядочки ловят солнце там, где заканчивается тень белого налива), собираем зелёный лук. Проверяем ловушку: пчела сидит на сахаре. Бабушка подхватывает её спичечным коробком, разматывает шарф с будто бы простуженного колена, переворачивает на него коробок и ждёт. Пчела не кусает. «Кусай же, стерва!» – приказывает бабушка, я смеюсь, пчела кусает, бабушка вскрикивает, надеется. Так нужно делать 15 раз, но на третий начинается раздражение, колено чешется. И у меня чешется, жалуется

Галина Андреевна, но я на тряпочку пописаю, приложу – и проходит. А то я думаю, откуда ссаками тянет, говорит мне бабушка дома, хохочет, на тряпочку не писает.

А потом бабушка поднималась розовой намыленной глыбой (мне не больше десяти лет, апрель) из ванны и поскользнулась, выплеснула воду на пол, ударилась правой рукой о бортик. Ушиб, сказал толстый такой, краснолицый хирург, со стула даже не встаёт, всё подойдите и покажите, жопа, наверное, в стуле застряла, смеёмся. Ну ушиб и ушиб, а на третий день всё болит, и рука распухает. Послали на рентген – перелом. Бабушка повесила в косынку (разноцветные маргаритки на бежевом) два килограмма гипса и не могла опираться на палку, а если с молоком и хлебом из магазина, то и волосы не могла поправить, и они вываливались из-под берета, и бабушка шла разломленная, ударенная в сердцевину. Тогда я стал дополнительной полностью здоровой бабушкиной конечностью. Зажги спичку, открой банку, сними крышечку с чайника, почисть картошку. В конце месяца бабушка решила попросить меня постричь ей ногти. Я испугался и заупрямился, но бабушка сказала: «А как же мы стригли тебе маленькому?» И действительно. Так я рассмотрел и запомнил бабушкины подробности: приплюснутые сухие пальцы ног, шершавая основательная пятка, красноватые масляные пальцы рук – ногти падали на газету «Труд». В конце мая (две недели до снятия гипса) мы пошли собирать коровьи лепёшки в поле за автобусной остановкой, чтобы потом удобрить помидорные грядки. Вдалеке стояли грустные коровы, шевелили хвостами, а бабушка показывала направление. Я совком поднимал лепёшку и складывал в ведро под крышку. «Ну может, хоть под кабачки бросим, а то в прошлом году были просто слёзы, а не кабачки. Только у Али такие уродились огромные, как будто она под них каждое утро сама срала», – сказала бабушка, сделав ставку на «срала», и не прогадала: мы смеялись всю дорогу домой, бабушка, скажи ещё раз, над полем скопилось розовое небо. В июне бабушка поручила вытащить из шкафов все пальто, чтобы просушить на балконе. Я повесил три удивлённых летом пальто на бельевую верёвку, комната погрузилась в сумрак, и мы целый день провели в тени: загадочно лежала бабушка на диване, тихо, под стать темноте, рассказывала, как их сосед по Парижской Коммуне, старый татарин с именем-автобусом Рафик, выскочил на улицу и кричит: «Ура! В космос

полетел татарин!» Я не понял, а бабушка пояснила: перепутал Гагарин и татарин, мы смеёмся, пальто раскачиваются худыми силуэтами. В середине июня сняли гипс.

А накануне тромбофлебита праздновали Пасху.

В последнюю неделю, самую страшную, хранящую в себе снаряд, который повредил ногу отцу много лет назад, бабушка воздерживалась от всего, что составляло праздничный стол: от творога, яиц, кексов, не ела сливочное масло. И как будто показывала богу коленку: может быть, можно что-то сделать? Бабушка не умела печь куличи, не затевалась с творожной пасхой, только долго варила яйца в луковой шелухе, а несколько штук красила зелёной, в очках, пинцет, вата, казалось, что яйцо заболело. В субботу мы выкладывали яйца в плетёную корзиночку. Особенно принципиальные женщины возили яйца освящать, но бабушка, конечно, на такое не решалась, ехать долго, потом стоять ещё, ждать, поэтому мы выставляли яйца перед телевизором: когда будем смотреть службу, пусть они немного хотя бы поднаберутся. Днём бабушка подремала и в одиннадцать вечера уселась перед телевизором. По другим каналам фильмы, но нет. Не спать со взрослыми, под праздник, очень весело. Поэтому я радуюсь, скачу по квартире и предлагаю бабушке: давай как Капа в церкви, в платках. Бабушка соглашается, я достаю из шкафа леопардовый шарф для бабушки и платок в красный горох для себя, красиво устраиваю шарф у бабушки на голове, не подвязываю под подбородком, а оставляю свисающим, чтобы бабушка была похожа на донну Бранку из сериала, а себе накручиваю как тюрбан. Так мы сидим у телевизора на диване, леопард подходит к бабушкиной седине, последняя реклама, девушка в купальнике несёт огромных размеров упаковку жвачки. На экране показались косматые священники, запели бородатое низкое *Аминь*. Когда крестятся они, говорит бабушка, и ты крестись. И мы крестимся, как будто принимаем сигнал, у меня под платком чешется голова. Я, вспомнив, как в церкви некоторые женщины молятся на коленях, предложил бабушке: давай на коленях, давай, давай, ну пожалуйста. Бабушка прикинула, что вроде можно, и будто небольшой корабль, накрывается, сползает с дивана, становится на колени перед телевизором. Я складываю руки на груди и подхватываю *Амиинь*, крещусь и театрально склоняюсь в поклоне, бабушка смеётся за спиной, она знает, что я изображаю Капу, и Христос воистину воскрес,

и смертью смерть поправ, и мы с бабушкой у телевизора в ногах кланяемся святому Христову воскресению. Но господи, у телевизора отходили контакты и пропадал звук. Это было обычное дело. В таких случаях нужно было как-то встряхнуть телевизор, и контакт вставал на место: мы ударяли телевизор вазой, а если лежали на диване и лень было вставать, то бросали тяжёлую, с резиновой подошвой тапку на пол около него, и иногда помогало, проводок вздрагивал, контакт соединялся. Так, с пропусками, мы смотрели «Мою вторую маму». И вот воскрешение или нет, пусть мы и на коленях, а контакт отошёл. И священники с серьёзными лицами вдруг замолчали, слышно стало, что по трубам в туалете бежит вода. Бабушка сказала «Вот чёрт!», а мне пришло в голову: во время поклона я стукнул лбом в пол, и посильнее, и помогло – звук вернулся, а я пропел тонким голосом *Гооосподи помилуй!* Бабушка засипела смехом, и я снова ударил лбом об пол – звук пропал, и снова ударил – появился. *Господи помишилуй!* Бабушка села на пол, хохотала до красноты, спустила шарфик с головы, а то жарко.

А наутро как-то слишком прямолинейно у бабушки острые боли в правой ноге. И даже не в колене, а вся икра как в иголках, пожаловалась бабушка. Она надела очки, села в кресло, ногу положила на стул и стала внимательно, как ребёнку, рассматривать, поглаживать. Рассмотрел и я: бабушкины икры полные, похожие из-за названия на селёдкины животы, страшно, что там и в самом деле иголка, на которую бабушка могла наступить, и иголка по сосудам двигается, и колет бабушкину ногу изнутри, и доберётся до сердца. Тут вот поддержки, попросила бабушка, и мы спеленали бабушкину ногу эластичным бинтом. Всё воскресенье почти не вставала, гулять не ходила, разговелась нехотя, капризно, не до яиц. Я сходил в магазин за молоком, встретил там Веру, она сказала мне, что Христос воскрес, и выжидательно заулыбалась. А когда я ничего не ответил, стала учить меня, что нужно отвечать «воистину воскрес». Я это знал, но мне было неловко – в магазине, в очереди, на глазах у раздражённой продавщицы Раисы, и внутри по кругу *пакет молока, двести грамм масла сливочного, творогу полкило*. Вера пообещала зайти сегодня с куличом. Пришёл домой, а бабушка плачет у окна: «Дохохоталась, старая дура, в такой праздник». Я испугался и пошёл на кухню ставить чайник и, не зажигая света (хмурая ранняя Пасха), ждал и слушал, как

чайник, мучаясь на сиреновом кольце газа, копит в себе шум, и боялся вернуться в комнату, где бабушка сидела с перевязанной больной икрой. Я смешил её, я бился лбом об пол, и теперь у неё, раскаиваясь я, болит нога, и в сером небе строгий бог занёс палку. Шум перешёл в бурление, чайник выпустил пар, я выключил газ. В новой тишине я крикнул бабушке: «Вера-певица сказала, что зайдёт в гости с куличом». Бабушка молчит, вытирает, наверное, щёку рукой, винит меня, что я изображал Капу в платке, что пел «Господи помилуй», и я холодными пальцами, просыпая, кидаю чай в заварочный чайник. Тут бабушка входит в кухню, включает свет и говорит мне: «Убери-ка конфеты со стола, а то эта толстая жопа всё сожрёт». Я смотрю на бабушку: неужели? И бабушка продолжает: «Хоть вату в уши суй, ведь будет теперь свои говённые песни выть». Значит, точно, шутит. Я смеюсь, тихонько, прощённый, а бабушка полирует: «И мёд убери, а то жопа у Веры треснет и песок оттуда посыплется».

В понедельник бабушка дохромала до больницы и выяснилось: тромбоз, гепариновая мазь, утягивающие чулки. В бабушкиной ноге образовались вот так, за ночь, маленькие сгустки, опасные, мстительные, которые выждут своё и сорвутся изо всей силы, чтобы подняться в самую бабушкину голову. Но пока мы про это не знаем:

– Врачиха важная, по два кольца на каждой руке, а сама страшная такая, господи, лицо от жопы не отличишь.

(хохочем)

Санаторий

Я ехал в автобусе, шёл дождь, я был влюблён, и так получалось, что изо всякого поворота улицы, между всяких проводов на меня посматривала моя любовь. И тогда я подумал, что ничего не знаю о бабушкиной любви. Ведь была же она – пусть короткая и несчастная, но была. Бабушка умерла много лет назад, памятник на могиле уже постарел и треснул от мороза. Теперь бабушку не спросить, приятно ли ей было проводить пальцем по его вене, легонько, боясь потерять дорогу. Я, конечно, не мог спросить много чего: какими духами она душилась, как отметила своё сорокалетие, о чём думала, пока ехала в троллейбусе, как смирилась с больными коленями и правда ли, что после смерти обоих родителей наступает чувство, что теперь – твоя очередь. Но тогда, по дороге в Москву, в пробке на Носовихинском шоссе, я смотрел из окна автобуса на заброшенный деревянный дом в Салтыковке и думал, используя уязвимое любовное местоимение, что *мы* могли бы жить тут, и до глупого детально воображал, что стояло бы в комнате, и даже посуда представлялась мне: листики, золото, ягодки. Поэтому из всех вопросов меня тогда волновал один: кого любила бабушка?

Начиная с раннего детства, я проводил у бабушки выходные, а летом жил с ней всё время. Мы делили комнату, дружили и критиковали правительство. В конце восьмидесятых годов (мне было лет семь) родители купили сад – три сотки на другой стороне посёлка, перекинутой через Московское шоссе, не больше получаса артритной ходьбы, и особое усилие в конце, потому что последний участок пути – спуск с холма. Мы с бабушкой ходили в сад почти каждый летний день, пропускали только, если у бабушки сильно болели ноги, если день рождения мамы и отца (оба в июне), если нагрянула тётя Лара из Москвы, если проливной дождь с утра. А так – каждый день уже за завтраком начинались планы: чего прополоть, чего полить (график подачи воды), чего подкормить, чего собрать, чего купить по дороге, чтобы поесть там, когда выйти из сада, чтобы успеть к вечернему сериалу – миллиметровая бумага дня. В саду бабушка сидела на перевёрнутом ведре у куста и заинтересованно собирала смородину. Сложно было представить, что кто-нибудь когда-нибудь целовал

бабушку в губы. Собственно, до бабушкиной любви мне не было дела, меня скорее удивляло такое остроумие – перевернуть ведро и сесть, вот бабушка находчивая.

Но однажды я спросил бабушку:

– Бабушка, а как звали твоего мужа?

Я тогда недавно узнал поговорку *Муж и жена – одна сатана* и примерял её ко всем: одна ли сатана Слава и Тамара? одна ли сатана Вера и её муж? С кем одна сатана бабушка? Бабушка смутилась: дети не понимают, что между людьми натянута тонкая плёнка, которую нельзя порвать. Но смутилась несильно: детям легко врать, их легко запутать, отвлечь: побегі принеси – я побежал принёс. Но я продолжал спрашивать, и наконец бабушка не выдержала прямого вопроса и назвала фамилию – Ожóгов. И с чувством прошедшей жизни и далёкого разочарования посмотрела в сторону, в то самое место, куда мы смотрим, когда вспоминаем что-то несчастное – влево и немного вниз. Вообще говоря, я рассчитывал на имя (Иван, Дмитрий, Александр), но бабушка, наверное, считала, что я и так знаю отчество своего отца. Я не знал, поэтому, услышав просто Ожóгов, растерялся: так вызывали к доске. Я стоял через комнату от неё, сразу после фамилии возникает в памяти поверхность лакированного стола. В свои семь лет я совсем не знал, что делать с этой правдой. Ну разве что спросить: а вы с ним были одна сатана? а какой у него был любимый цвет? (у меня – жёлтый) а будем печь печенья? Тогда я не мог решить логическую задачу: у бабушкиных родителей фамилия Каракур, у её сына, моего отца, фамилия Каракур, Ожóгов никак не оказывается мужем. Когда я это понял, а может быть, мне рассказала мама, я был уже грустным нежным подростком и расспрашивать бабушку было нельзя: вот же она – плёнка.

Автобус приехал к станции «Новокосино». Дождь продолжался, у входа в метро люди слаженно закрывали зонты и спускались по лестнице, недовольно капая. В этот день я улетал в Стамбул, но до самолёта было ещё много времени, и я шёл медленно, чувствуя весь избыток часов впереди. В вагоне напротив меня сидела старушка. Она опиралась о тележку и держала руки, как будто предлагая их для забора крови: синие пальцы, увеличенные, накопленные за всю жизнь суставы, яркие красные ногти, отвлекающие от смерти. Старушка по-дачному прикрыла глаза, и я рассмотрел её лицо: всё ненадёжно

повисло, особенно веки, шея показала спрятанное – выпустила две нитки из подбородка, проявила родинки, губы сдались и посинели. Но то, что вечером я окажусь в Стамбуле и нам дадут ключи от крыши, позволило мне и в старушке с сумкой-тележкой увидеть мою любовь и как она бежала когда-то, не заметив, когда Маросейка перешла в Покровку, и только в окнах трамвая, перерезавшего улицу, увидела вдруг своё глупое влюблённое лицо и испугалась, что он не любит её так, как она его. Старушка вышла на «Площади Ильича», я стал шарить по поверхности Москвы в этом районе в поисках рынка, куда она могла бы ехать со своей тележкой, но не нашёл.

В конце концов (в школе задали рассказать о родителях) я отковырнул отчество от отца и получилось – Виктор Ожогов. Спустя годы я попытался расспросить отца об Ожогове. Вот всё, что отец захотел рассказать (может быть, больше он ничего и не знает): военный, офицер, во Владимире жил в части, а потом переехал. Это говорилось с чувством, как будто всё и так понятно, отец даже махнул рукой – да ну. Вероятно, у этой истории уже именно такой статус: старое, плотно спрессованное страдание, сколько их было – одиноких беременных женщин, внебрачных детей, а уж сколько было слёз, да ну, всё высушила архивная пыль.

Была ли это вообще настоящая фамилия? Может быть, бабушка выдумала её, зашифровав ожог, полученный в молодости. Может быть, сказала правду ребёнку – так можно ещё откровенничать с котом, прибившимся к ногам в туристическом городе, где нам не жить и даже не ночевать. Но в любом случае в фамилии возникал огонь, что-то красное, поэтому мне представлялся человек с красным лицом, меховая шапка стоит сверху, шутя над замёрзшими ушами – типичный знакомый отца по гаражам, я много видел их в детстве. Непонятно было, как бабушка могла любить такого. Со временем в фамилии появился толковый словарь, восемьдесят тысяч слов, достаточно, чтобы придумать всё самому. А тогда, перед Стамбулом (хотя сам Стамбул здесь ничего особенного не значит, это мог бы быть любой город), долгий эскалатор на «Новокузнецкой» нехотя тянул меня вверх, и я подумал, что бабушка однажды встретила с Виктором Ожоговым, и, конечно, у него не было никакого красного лица, он был молодой военный и, вероятно, довольно красивый, если разглядеть в отце всё незнакомое. У метро «Новокузнецкая» стояли люди,

вышедшие из дома без зонтов, и с тревогой, торопясь, пережидали дождь. Я знал, что в Стамбуле нужно будет найти какой-то бар и забрать ключи от квартиры, а потом идти по направлению к старой башне и искать дом, ошибаясь улицами, поэтому я с наслаждением свернул в знакомый переулок, который, привычно изогнувшись, привёл меня к кафе, там я собирался пробыть несколько часов. В кафе было мало людей, рабочий день в центре недавно начался. Я решил вычесть из даты рождения отца (20 июня 1952 года) девять (при нормальном течении беременности) месяцев, и получилась середина сентября пятьдесят первого года, и это как будто всё изменило.

Ах, сентябрь, удивился я.

В детстве я часто рассматривал старый набор открыток с видами города Владимира. Цветные, не очень чёткие снимки будничного города – автобус отъезжает от Золотых ворот, женщина торопится через дорогу, извиняясь всем телом перед машинами, вечно бегут дети, красиво едет зелёный «москвич»; безлюдная и безмашинная вокзальная площадь, но видно, что на путях коричневеет товарный поезд; пара мрачных, грязнокаменных церквей, снятых крупно, портретно; гордо построенное бетонно-стеклянное здание – «Дом быта», памятник трём серьёзным, в шлемах, людям, которые сидят спина к спине, встроенные в высокую стелу. На обратной стороне были подписи, но я предпочитал спрашивать: Бабушка, а это где? Бабушка, а это что? Бабушка, а что это за памятник? Улица Ленина, Октябрьский проспект, дом быта, парк Пушкина, памятник трём дуракам. Слово *дурак* было весёлым, поэтому про памятник я спрашивал чаще всего. Поражали меня на этих открытках две вещи: можно рассмотреть туфельки и сумочку женщины, переходящей дорогу, и яркая многоцветная осень, которую, кажется, специально дожидался фотограф. И теперь, когда я понял, что бабушкина любовь (наверное) происходила в сентябре, эти открытки тут же вспомнились мне. На них, кажется, был конец шестидесятых, но пусть в сентябре пятьдесят первого года почти не было осадков, пусть погода стояла сухая и яркая, так что открытки очень подходят. Поэтому я отправил людей спешить на работу в исторически неточных плащах и пиджаках, отпустил автобус, и он свернул на улицу Ильича, женщина наконец перешла дорогу, добежали дети, которые все эти годы догоняли Машу. *В городском саду играет духовой оркестр* – это вылетело из кавычек,

из радиоприёмника, из раскрытого окна по улице Парижской Коммуны, песня, популярная с сорок девятого года, удобная для того, чтобы до самой остановки напевать про себя. Сирень кажется не разросшейся, деревья кажутся начинающими, начало всякой обозримой жизни, бабушка живёт во Владимире на улице Парижской Коммуны второй год, в одном доме с сестрой Валею, к которой она и приехала из Новоазовска. У Вали муж-военный, у бабушки светлый плащ. *На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест.*

Дальше встаёт библейский, изначальный вопрос: «Как они познакомились?» Если узнать, кажется, получишь разгадку и тут же закиваешь головой: ох, да, конечно. Требуются какие-нибудь лёгкие (может быть, даже праздничные) обстоятельства: городской парк, танцы, платице, девушка, как вас зовут? В календаре из возможных праздников на август – день авиации и день шахтёра, на сентябрь – день танкиста. В небе, под землёй или на тяжёлых гусеницах – я не мог выбрать, где они встретились, просто включил фонари (уже стемнело), запустил оркестр (скрипка фальшивит), танцы под открытым небом, которое со значением проглядывает между деревьев, из темноты в электрический свет выходит военный, он посмотрел, она посмотрела, кто-то засмеялся, потому что его лицо расплывается, как будто он бежит и нельзя поймать его в объектив, ведь у нас нет ни одной фотографии Виктора Ожогова. И даже бабушка, наверное, с годами позабыла, какое у него лицо, если сидеть по правую руку, если лежать с левой стороны, осталось только что-то хмурое, из автобуса, когда ему неудобно было держаться, а она на повороте ухватилась за него. Из всего возможного в тот вечер казалось достоверным только бабушкино желание обернуться, похожее на зуд, чтобы ещё раз посмотреть на него, и она не сразу, но оборачивается, и когда оборачивается, появляется странное чувство, будто тебя пощекотали и этим пошутили над тобой, как было у меня, когда я ждал друзей у Золотых ворот, они опаздывали, и даже эти обстоятельства помнятся не сами по себе, а в нагрузку к тому, что я обернулся на здание института, в котором учился, и увидел, как студенты выносят какой-то мусор после летнего ремонта, и я, притворно интересуясь бюстом старика на фасаде, снова обернулся и снова посмотрел на одно лицо, и потом, даже как будто опасаясь, не упадёт ли бюст, обернулся ещё раз и посмотрел ещё раз на то же самое лицо, был конец августа, совсем

скоро начинался новый учебный год, и всё теперь было как-то связано с эскизом этого человека: профиль, длинные волосы, тянется рука. А также стук туфелек по улице Парижской Коммуны в 1951 году: медленный, разгадывающий (показалось или нет?), а меня – Виктор.

В кафе стали приходиться люди, чтобы выпить кофе во время перерыва, они громко обсуждали коллег и рабочую переписку, поэтому я решил прогуляться до Покровки, где у меня была назначена встреча. Дождь закончился, на Пятницкой улице шумели лужами машины, но как только я свернул в переулок, город как будто прикрутили, стало тихо. Я перешёл два моста – Комиссариатский (быстренько, как ножничками отрезать нитку) и Большой Устьинский (долгий, старательный надрез, с трубами и храмами), свернул на Яузский бульвар. На фасаде большого жёлтого дома разлучены входом во двор колхозница и рабочий, не могут повернуть головы. Тихо, почти тайно начался Покровский бульвар. Чем выше и ближе к Покровке я приближался, тем больше казалось мне, что я попадаю в самый плотно сплетённый, самый красный фрагмент узора. А когда на перекрёстке с Подколокольным переулком передо мной проехал трамвай, моё лицо четыре раза мелькнуло в створках дверей, и я понял, что уже слишком сильно влюблён, что любовь моя грустная и тяжёлая, и лицо, расслабившись при ходьбе, выражает страдание, особенно – подбородок. Мы встретились на Покровке, сменили местоимение и поехали покупать турецкие лиры, в этом чувствовалась глупенькая шутка, и шутить её не хотелось, а вечером в Стамбуле, когда мы вышли из автобуса, нас обступила плотная, слабоосвещённая вязь улиц, в которой я оказался совсем беспомощным. Даже с картой я не мог понять, куда нам нужно идти. Сам я никогда – так я сказал – не нашёл бы нужного бара. Это была, конечно, неправда, но мне хотелось сказать именно так: сам я – никогда. Бармен с ключами от квартиры ждал нас и обещал проводить до места, когда закончится его смена, вери сун, окей? В баре играла музыка, люди громко говорили и смеялись, всё это казалось неправильным. К счастью, бармен освободился минут через двадцать. Повторяя его ловкость, мы сворачивали с одной улицы на другую, сначала легко, обсуждая Москву, куда бармен собирался приехать (конечно, летом, русской зимы он боится), но потом почувствовалась гора под ногами, идти стало тяжелее, все замолчали. Я вспомнил, что наш дом рядом с какой-

то башней, и усложнение пути казалось справедливым. Улицы упрямылись лестницами, начались состарившиеся красивые дома, абсолютно тёмные, только изредка гордились освещённое окно. На каждый такой дом я смотрел, примеряясь, не он ли окажется нашим, и действительно мы остановились около старого пятиэтажного дома с тёмными окнами. Началось назидательное представление ключей: этот ключ от входной двери внизу, окей? этот – от двери в квартиру, окей? этот – от двери на крышу, окей? Связка всего одна, поэтому не теряйте и не расставайтесь, окей? Нет, от квартиры – вот этот, окей? Окей. Мы поднялись по довольно узкой тёмной лестнице на пятый этаж, деревянные двери хмурились в темноте. Наша квартира была на последнем этаже, выше – только терраса на крыше, бармен не повёл нас туда, но ещё раз обнажил нужный ключ в связке, окей? В квартире он пощёлкал выключателями, как бы проверяя, работает ли электричество, открыл холодильник, в котором, как от испуга, покатались бутылки пива, показал, разулыбавшись, две стопки постельного белья, окей? и ушёл. Я совсем не запомнил внешности бармена. Я обошёл комнаты, взглянул на письменный стол, на книжные полки, открыл платяной шкаф в спальне, и стало очевидно, что в этой квартире живут постоянной нетуристической жизнью и буквально перед нашим приездом тут наспех убрались и попытались спрятать следы: прочитанные книги, мятые журналы, много раз поточенные карандаши, рисунки и фотографии ворон на стенах, неочевидно подобранные, чего-то недоговаривающие. Квартира лицом (спальня, кухня и ванная) выходила на пролив, а затылком (гостиная с диваном и книжными полками) на улицу, по которой мы пришли. Нам непременно хотелось сегодня перед сном подняться на крышу, поэтому мы, предварительно повторив ключи (этот – от чердака) и пошутив над барменом (окей?), вышли в подъезд. Мы поднялись два пролёта по сжавшейся ещё сильнее лестнице, как бы жалеющей для нас вида с крыши. В конце была железная дверь с навесным замком. Замок легко, по-детски подчинился, мы сделали последний шаг, и я испытал торжествующее чувство свободы, может быть, потому, что лестница была уж слишком узкой, дверь слишком массивной, тюремной, а теперь я выше всего вокруг и могу неограниченно смотреть далеко и вверх. От нашей крыши отступали, с каждым шагом оказываясь ниже, крыши других домов, и мы сразу увидели, что на соседней спят двое

мужчин, чем-то прикрывшись. На углу следующего дома возражала первыми неоновыми буквами вывеска отеля. Дальше – непонятная, как будто неопрятная темнота, после которой в очевидном блестящем месте начиналась вода, затаившая силуэты чёрных ночных барж, неохотно повторявшая мелкие огоньки противоположного берега. Мы постояли немного и спустились в квартиру, был уже первый час ночи. Я решил спать на диване в гостиной, не оправдав улыбок бармена. Конечно, я устал, день был долгим, но холодная ванная, откуда был слышен крик чаек над проливом, холодная вода в душе разбудили меня, и заснуть я не смог: вспомнилась Москва, дождь на Пятницкой улице, и как сегодня (не вчера, не позавчера, это всегда удивляет после самолёта) я шёл по Комиссариатскому мосту. Я пролежал полчаса в темноте, квартира спряталась и неопределённо, смутно угрожала. Когда я, не выдержав, включил торшер, квартира вскрикнула, застигнутая врасплох. На стене над письменным столом стайей висели фотографии ворон. Я подошёл к ним, зажёл настольную лампу, и лица ворон ярко зачернели. Под маскировочными картами и путеводителями, набросанными для туристов, лежала папка с акварельными листами. Внутри оказались рисунки ворон, летящих, сидящих, нахохленных, смотрящих через плечо. Сперва я изучал каждый рисунок, но потом стало понятно, что все эти рисунки – бесконечная тренировка в попытке получить идеальную ворону или свидетельство большой долгой любви, художник заканчивал и начинал снова. Поэтому я, обидев оставшихся ворон, не стал смотреть до конца. Под папкой был учебник для художников «Динамическая анатомия», на обложке – освобождённый от кожи мужчина в мраморной позе: преклонил колено, одна рука за спиной, другая – удерживает голову. Внутри книги мужчина камерно, напрягая красные нити мышц, поворачивал голову то вправо, то влево, выгибал шею, выставляя сильный кадык, как будто от удовольствия или усталости, показывал, засмотревшись на кого-то другого, равнодушный профиль. Потом наступила гордящаяся, в полный рост, нагота, с глупым отсутствием полового члена и ягодным изобилием зада. Он то приседал, то высоко задирает ногу, разлучая ягодицы, то победно, как после забитого гола, поднимал руки, то вдруг балетно вытягивал руку и тонкие крепкие пальцы. И наконец появились отделённые от тела части: доверчивые ладони, ожидающие прикосновения, нервно

вывернутые (лицо можно представить себе) запястья, негодующие кулаки, безразличные, невлюблённые кисти, процедурно выгнутая рука, показывающая обычно спрятанное, беззащитное место, из которого берут кровь, приседающие ступни. Я вышел в коридор, зажёл свет (дверь в спальню была плотно прикрыта), на противоположных стенах вспыхнули два зеркала, дотошно отражающие друг друга. Над одним из них висела, прислонясь лбом к дверному косяку, аккуратно (особенно лапки) вырезанная ворона. Я рассмотрел свой затылок в противоположном зеркале, повертел головой, выгнул шею, проверяя точность эскиза. Потом разделся и повторил несколько поз из учебника, провёл рукой по груди и животу, даже вздохнул как от удовольствия. Закрытая в спальню дверь скорее интриговала меня, чем пугала. Я попытался присесть на корточки, нагнуться так, как это делал мужчина в книге, но так у меня не получилось: выпирали кости, не хватало мускулов. Я слишком близко, по-детски, увидел пол, застеснялся маленькой вороны и вернулся на диван. С нижней полки журнального столика поздоровался журнал HELLO. На обложке была свадебная церемония принца, которая прошла несколько лет назад. Я перебрал ещё несколько журналов, все старые. А под ними – сложенный настенный календарь трёхлетней давности. И я подумал, что хозяин, скорее всего, умер, и теперь его неразобранную квартиру, со всеми рисунками, сдают туристам. Квартира тут же заныла, затосковала, почернела, и как я ни пытался отправить хозяина на работу в Германию, всё равно он умирал, умирал. Мысли о смерти хозяина, старые рисунки, теряющие грифель, чёрно-белые фотографии ворон – всё это стало как-то мешать мне. Этой ночью в Стамбуле мне показалось, что умереть, бросив птиц, несложно, а ушедшую любовь было жаль. Поэтому молодая, сфотографированная бабушка полюбила Виктора, и далёкая, чёрно-белая, красивая шея выгнулась в пятьдесят первом году в городском трамвае, где их раскачивало из стороны в сторону.

Он держался двумя руками за поручни, а она (так получилось) дважды хваталась за него на поворотах. На набережной (да, на набережной) долго искали, откуда отправляется паром, а когда выехали, уже стало понятно, что приедут поздно, небо начало маяться, желтеть. Когда причаливали, с острова уезжал наполненный людьми паром: все, кто приехал утром, нагулялись. Они изучили карту –

ничего не успеть, и она в эти дни была слишком влюблена уже, чтобы строить планы путешествия с радостью: любая тропинка приводила к концу. Объявление о последнем пароме отзывалось тревогой, и на него, уговаривало объявление, нельзя опоздать, потому что гостиницы здесь нет, придётся спать на траве или пользоваться услугами непроверенных перевозчиков. Это было единственное объявление, с трудом написанное на английском, и он пошутил, что местные готовы написать на английском, только бы все уехали с их острова. И там ещё было что-то с временами глагола, но заметить ошибку, конечно, мог только он, а она не заметила бы никогда, особенно если так мало времени осталось, чтобы обращать на это внимание. И ей даже хотелось сказать: «Да хоть бы опоздать!» Они взяли в аренду два велосипеда, долго подгоняли сиденья, и ей было понятно, что они станут торопиться, чтобы успеть посмотреть хоть что-то, и темнело море на глазах, а он в прокате велосипедов вёл себя очень дружелюбно и даже, когда не смог разобраться с сиденьями, сделал работнику гримасу (означавшую: господи, вот я глупец!), которую он всего час назад на причале (сразу побежал на паром, не купив билета) делал ей, и это выражение лица нравилось ей, потому что он тогда выглядел смущённым, и она почувствовала себя уязвлённой, что это выражение лица не только для неё, но и для работника (какого-то – прибавила она) велопроката. Они забрались на велосипеды (он – с ловкостью) и поехали в гору, он хотел доехать до вершины и оттуда посмотреть на пролив и на город, и они тут же столкнулись со сложностью уходящей вверх дороги, она почувствовала боль в ногах, а он оглянулся на неё с восторгом, потому что ему нравилось быть сильным и преодолевать сложность подъёма, и он крепкими ногами крутил педали впереди и показывал ей спину свою, и ей стало особенно грустно смотреть на эту увлечённую спину в белой рубашке (свитер повязан на поясице), и как будто не было ничего у неё роднее, чем этот свитер, запах которого она помнила: он пах шерстью и сыростью их квартиры в старом доме, из которого, кажется, все выехали, во всяком случае они ни разу не встретили никого в подъезде, никто ни разу не хлопнул дверью. И он даже крикнул что-то бодрое, состязательное, а ей стало совсем тяжело как раз в том месте, с которого он крикнул, и она слезла с велосипеда и повела его, как телёнка. Он обернулся и, убедившись, что она, в общем-то, в порядке, не упала, ничего не требовало его особенного

участия, поехал дальше в азарте достичь указанной на карте смотровой площадки, откуда будет видно всё вокруг, и она, конечно, проиграла острову, и его белая спина мелькала впереди, и он вздыбился над велосипедом и толкал себя самостоятельным усилием, не предполагавшим её. Совсем, глухо стемнело, она отстала и не видела его, встретила только пару подбадривающих указателей, что смотровая площадка – там, двести метров, сто метров, и она понимала, что он проезжал здесь, и у него вся его жизнь впереди, и он любит танцевать среди весёлых людей и делается обходительным со всеми. И когда закончились деревья, дорожка вырулила, как будто кланяясь, к какому-то каменному дому, в котором, судя по звукам, доносившимся из раскрытого окна, мыли посуду, судя по всему, там недавно что-то закончилось, и было жалко, что это позади, что началась теперь скучная уборка стола. Он стоял спиной к ней, она сделала несколько шагов и тогда только увидела, что там перед ним город и море, по которому, как стрелка, движется луч маяка, и лодки зажгли фонарики и так спаслись от темноты. И пока она смотрела на море и на огни, ей показалось даже, на несколько секунд, что эти лодки на воде сильнее его. Но очень быстро он снова набрал силу, и хоть он не мог не слышать, что она добралась и стоит тут рядом, он молчал, потому что (она это понимала) большая красота сделала его немым и одиноким. Но всё-таки он сказал, не подобрав слов: «Мы живём вон там». И указал влево от подсвеченного моста, где был дом около водонапорной башни, в котором они жили. И она была благодарна ему, что он всё-таки сказал ей это, хотя разговаривать ему не хотелось, и она постояла ещё немного, но как будто отяжелела и отвалилась, оставила его одного и отошла на другой край площадки, ещё раз выхватив звуки кухни из дома. Её поразило, что с другой стороны площадки ничего не было видно, не светилось ни одного фонарика, только чёрное громкое море лежало где-то внизу и било волнами по камням, и она стояла и смотрела в эту темноту, которая могла напоминать (она искала сравнение) бесконечную чёрную тюль (ей было не до грамматики),двигаемую ветром, и думала, что тут как будто правдивее, ведь никакие фонарики в конечном счёте никого не спасут, и думала, запомнит ли она эту темноту, и море говорило ей о какой-то дальней старой грусти, которая была ещё до того, как она узнала его, и ей было от этого спокойнее и хотелось ещё чуть-чуть побыть здесь одной.

Когда она развернулась к нему, она увидела, что он сидит на лавке, смотрит на город и в ногах у него вьётся, как шуточка, полосатая кошка, и она подошла к нему, подумала о пароме и сказала, чтобы он посмотрел с другой стороны, и когда он поднялся, она присела к кошке и прошептала, что очень любит его, что они, наверное, вместе с кошкой любят его, посмотри, говорила она, какой он красивый, запомни, говорила она, как мы поднялись сюда в темноте и я догоняла его на велосипеде и что я очень люблю его. Что ты говоришь кошке? спросил он, довольный тем, как остроумно она придумала – тихонько шептать кошке что-то на ухо. Хочу, чтобы она запомнила кое-что, сказала она, наслаждаясь тем, что она при нём, пока он стоял у черноты, раскачивающей море, говорила кошке, что любит его, а он не знает и спрашивает у неё, что же она говорила кошке, и её как будто щекотало это, что он спрашивает, ведь между вопросом и ответом (что люблю тебя) была такая тоненькая ниточка, что ей казалось, будто она уже призналась ему. Они посидели на лавке с подгнивающим внутри чувством последнего парома, встали, подобрали велосипеды и быстро, с горы покатались, он смеялся, а она подчинялась силе. Им попалась одиноко идущая по дороге белая лошадь, хотелось обернуться, чтобы снова взглянуть на неё, но было страшно упасть. До парома оставалось мало времени, они сдали велосипеды и на всякий случай побежали, а когда успели, почувствовали, что объявление довольно. Паром тяжело оттолкнулся от острова и долго, скучно разворачивался, дрожа всем паромьим телом. Он лёг на скамейку и даже задремал, подложив под голову свитер, и она близко, микроскопически рассматривала его руки, в которых больше всего её интересовали почему-то вены и уплотнения суставов, как будто там был концентрат, и она подумала, что он, конечно (и потянула даже это слово), не любит её, раз он так самостоятельно спит. И почему-то представила, что будь он мёртвым, он выглядел бы примерно так же. И дальше паром вёз их в город, и с какого-то момента по воде добежали до них, зазывая, звуки города, и паром, как будто издеваясь, снова долго разворачивался. Он проснулся и посмотрел по сторонам и только потом – только потом – на неё, так что можно было снова вот это долгое *конееечно*. И они не вместе сошли с парома, она соскочила, а он пропускал вперёд родителей, которые выносили на руках уснувших детей (у девочки по-мёртвому повисла голова), и только спустя два неприятных, перехваченных

осторожностью родительских лица появился он и до обидного вежливо улыбнулся ей.

За несколько дней я выучил все ключи и ловко пользовался ими. Мне хотелось выйти на крышу одному, и как-то ночью я стянул сигареты и поднялся по лестнице, гулко хлопнула железная дверь. Был последний, самый тёмный спазм ночи. На соседней крыше рабочие (так мы решили думать о них) спали крепко, почти умерли. Я закурил, с чувством придерживая фильтр губами, совершая какой-то гипотетический поцелуй, и перебрал огни на воде, некоторые предлагали надеяться, а у баржи были технические, равнодушные. В конечном счёте, подумал я, всё сводится только к тому, похож ли мой характер на бабушкин, и с каким чувством она смотрела бы с этой крыши и заметила бы она, какие самоуверенные, самостоятельные у него руки, особенно локти, как сами по себе, не нуждаясь ни в ком, напрягаются его мышцы, когда он поднимает рюкзак. На старых фотографиях бабушка высокая и печальная, и она, наверное, моей походкой ходила вокруг старой водонапорной башни, от Золотых ворот – вверх, мокро, осень. От этой возможной городской рифмы (бабушка страдала там же, где и я) сделалось так жаль её, младшую мою бабушку, что я расплакался, и плакал долго, не обращая внимания на Стамбул, на мечеть, казавшуюся чем-то космическим, на спящих рабочих. Потом я спустился по узкой, придерживающей за плечи лестнице и тихо, чтобы не разбудить, вошёл в квартиру. Чёрный ворон над зеркалом с укором, как на грабителя, посмотрел на меня. Дверь в спальню оказалась приоткрытой, я заглянул в щёлочку и увидел белую спящую спину, освободившуюся от одеяла, и ступню (кажется, правую) – уцелевшие части статуи.

И как-то всё, наверное, днём, за задвинутыми шторами, хоть солнце и прорывалось яркими полосками на полу и вызывало почему-то чувство стыда, стыдно было и перед вещами, оставленными сестрой Валей на кухне: чашка, заколка, старая записка (*буду дома в 9 вечера*), которую он увидел на окне, и прочитал вслух, чтобы заполнить паузу. Она застеснялась перед Валей, услышала её голос, а он, не разгадав почерка, решил, что это она написала, и спросил, имитируя ревность: «И откуда это мы так поздно возвращаемся?» Неловкое, стеснительное освобождение от одежды, руку далеко назад и тянуть рукав, изображая, как будто это смешно или шутка, хотя

совсем не шутка. Пуговицы, застёжки – их обычно не замечаешь, а тут они крупно так расстёгивались. Щетинистый поцелуй в шею, табачный поцелуй в губы, попытка прямого взгляда, но она старалась не смотреть на него и поэтому запомнила свои руки, сложенные на коленях, и часики на запястье. Она заметила только его нелепое слово «сосок» и волосы у него на груди, какое-то общее свойство кожи, которое сложно назвать, но как будто она тонко натянута, а под ней что-то синее. Тяжесть и наглое, окончательное движение, словно она приговорена, точнее этого не вспомнить, но вот приговорена, а хотела бы передумать. Всё-таки в конце концов она осталась одна и беременная, поэтому на те воспоминания всегда надвигались нефтяные пятна, и на лице его, если всё соединить (поцелуй и то, что он оставил её), появлялось глуповатое выражение, словно он наелся, покраснелся и пытается побороть отрыжку.

В пятьдесят первом году заводу «Автоприбор» во Владимире было поручено увеличить объёмы производства, страна хотела больше спидометров, манометров, реле-прерывателей. Двадцатого июня тысяча пятьдесят второго года родился мой отец, которого назвали в честь города – Владимиром. А седьмого ноября тысяча пятьдесят второго года во Владимире торжественно начал ходить троллейбус под острым номером «1» – первый в городе маршрут, конечные остановки-антонимы: тяжёлый с запахом машинного масла завод «Автоприбор» – кинотеатр с распахнутыми крыльями «Буревестник». Бабушка жила за кинотеатром – на улице Парижской Коммуны: десять минут вглубь, в частный сектор, спотыкаясь о бесконечные перекрёстки улочек, под строгим взглядом соседей. А работала на заводе «Автоприбор», пятилетку выполнили с опережением. И бабушка наверняка пользовалась этим маршрутом, ездила от конечной до конечной, и когда троллейбус с усилием начинал забираться на Студёную гору, внутри у него что-то схватывалось и стонало, даже делалось жалко троллейбус, а в ту минуту, что троллейбус стоял на вершине горы (остановка улица Пушкина), было видно грустное содружество реки и неба за стадионом (на стадион – наплевать), хотелось плакать, но через минуту, закрыв двери за старушкой, троллейбус легко катился вниз, к Золотым воротам, сердце смирялось. В этом троллейбусе ехала молодая кормящая мать, мама дошкольника, мама первоклассника, пострадавшего от случайного взрыва военного снаряда, троечника,

хулигана, подростка, похоронившая родителей дочь, поживившая сына мать, молодая бабушка. И всегда троллейбус, сжав что-то внутри, крепясь, одолевал Студёную гору, и бабушка смотрела на реку и на небо (на стадион – наплевать).

В последний день мы поехали на старое кладбище – туристическим отвлекающим маршрутом: сначала намеренно, неискренне потерялись в переулках, не забывая двигаться к набережной, потом сели на корабль и плыли, рассматривая развалившийся на две части город, потом стояли долгую скучную очередь на фуникулёр и до смешного быстро, за две минуты, поднялись. Под нами промелькнула лестница из могил. Наверху торговали едой, чем-то жареным, пахнущим ванилью. Люди ели, глядя на лежащее внизу беззащитное кладбище, и вставали в очередь на фуникулёр, чтобы снова две минуты пролететь над могилами. Мы решили спуститься пешком. Запах ванили преследовал нас, но, когда мы свернули с центральной аллеи, отвязался. Я пытался прочитать полустёртые, отболевшие плиты, заваленные листьями, выскочило несколько дат смерти – 16 мая 1926 года, 4 декабря 1910-го, имена не запомнились. Во всём чувствовалось, что этой ночью улетать. После кладбища мы оказались на бойкой площади с мечетью, я невнимательно прочитал информацию о ней, я был слишком влюблён, чтобы обращать внимание на то, кем и когда она построена. Повторяя за пожилым мужчиной, мы сняли обувь и зашли внутрь. Мы сели на пол и, задрвав голову, стали смотреть на потолок, начиналась молитва. К такому изгибу шеи, кроме удовольствия, добавилось теперь любопытство (что там наверху?), ученические, столкнувшиеся с неизвестным ключицы. Почему шея, подумал я, называется этим коротким шипящим словом? Мы вернулись к набережной, на ней располагалось некрасивое здание рынка. Нужно было купить гостинцы незнакомым мне людям – друзьям, маме, сестрёнке. Местные жители с повседневными пакетами в руках выбирали еду, дети что-то выпрашивали, родители иногда соглашались. Всюду вертелась глупенькая сладкая вата, липко лежали сладости, сухофрукты, но ничего этого мне не хотелось. К тому же я ревновал к друзьям, сестрёнке и даже к маме. Я решил отстать, чтобы не помогать выбирать подарки, и увидел пожилую женщину, которая сидела на каком-то ящике и делала кофе на углях. Волосами, позой, чем-то в

бровях она напоминала мне бабушку в саду, и поэтому я заплатил за чашку слишком много, с охотой поддавшись первой же цене. Женщина, положив локти на колени, как делаешь иногда, если сидишь на берегу реки, стала переворачивать угли, чтобы разогреть турку. Я сел за пластиковый стол (такой легко можно представить в придорожной укусной шашлычной или на даче под яблонями) и подумал, каково это будет – вежливо прощаться в аэропорту и ехать по тёмной дороге на разных такси, чтобы, сделав петлю по развязке, разъехаться на шумном, заглавном МКАДе.

Это всё как-то связано с той любовью, но уже так тоненько, что почти непонятно как. Черноглазенький, темноволосенький бабушкин мальчик Володя – бабушка с гордостью, как брошку, несёт его на руках, весенняя демонстрация, Володя (ноги колесом) в гимнастёрчке и бескозырочке, маленький морячок. Фотографии такой нет, но бабушка рассказывала, что люди оборачивались, чтобы посмотреть ещё раз. С детства моего отца начинается официальная бабушкина история, и жизнь её полнится подробностями: даже гимнастёрочка, бескозырочка, сандалики – все (в отличие от Виктора Ож óгова) имели детальную биографию, кто купил, как передал, что сказала проводница. Бабушка надёжно спрятала конфеты на верхней полке шкафа, но Володя нашёл их, легко решив задачу (стул, книги, запах, встать на кончики пальцев, самое логово белья), и съел половину, а фантики от несообразительности оставил. Получилась шутка на всю жизнь: бабушка за конфетами, а там – лёгкое шуршание. Владимир! Нет ответа. Прямое следствие той любви: не хватало (мать-одиночка) на новый велосипед, поэтому купили у соседа старый, колченогий (да и на него тётка Валя дала половину). Кроме того, еда: котлеты (прокрутить), картошка (вырезать глазки), сардельки (после двойной смены), жареная рыба (в выходной) – тут уж никакой связи нету с танцами в парке, но как-то после магазина она ждала троллейбус на остановке и вдруг заметила (годы прошли), что она просто стоит на остановке и ждёт троллейбуса и что живёт она на улице Парижской Коммуны в частном доме вместе с сыном, с сестрой Валей и её мужем, и никуда не направлен её внутренний взгляд, не нащупывает ничего и никого не видит, а в сумке у неё (почему-то об этом приятно было думать) варёная колбаса в бумаге, триста граммов. И это чувство свободы связалось у неё с планами на ужин, с желанием лечь спать

ровно в десять, чтобы легко встать утром. Подошёл троллейбус, бабушка ехала добрая, дома приготовила камбалу: кидала в муку и ловко – как будто и не любила никогда никого – на сковородку. Всё прошло, закончилось, лыжня углубилась: каждое лето ездила в Новоазовск к родителям, купалась в мелком море, с охотой жарила картошку, конечно, располнела, и из-за этого казалась кроткой замужней женщиной, особенно зимой, в сильные морозы, когда шарф крестом уложен на груди, тяжёлое пальто, пушистый хвостатый воротник щекочет шею, ещё купила дамскую сумочку из кожзаменителя, слишком маленькую для своего роста, и сумочка на такой крупной высокой женщине смотрелась детской – невольно улыбаешься фотографии. И если встретить бабушку в городе, то никогда не подумаешь, что в ней когда-то жила та самая стонущая, жилистая любовь – так, просто женщина едет на работу.

Сколько бабушка ездила на троллейбусе, если уволилась с завода в восемьдесят восьмом году? Полчаса в одну сторону, час в день, двадцать часов в месяц, вычтем отпуск и праздники, двести двадцать часов в год, семь тысяч семьсот семьдесят часов за тридцать пять лет, добавим поездки на рынок, к знакомой, и получится, что бабушка за всю жизнь ехала на троллейбусе полтора года. А сколько минут за всю жизнь бабушку обнимали, сколько минут она целовалась, сколько секунд она гладила вены на его руке, распутывая пальцем путь от глубоководного места укола до суетливого обмелевшего запястья? Выходит ну какая-то минутка за всю жизнь, у многих из нас выходит так мало, и когда мы, возвращаясь на автобусе с рынка, свернули в знакомую нам часть Стамбула и разглядели уже наш (ирония местоимения) мост, мне ярко, будто осветили фонарём, вспомнилось, как много лет назад я стоял около кинотеатра «Художественный» во Владимире, было тяжело и обидно, что-то отменилось, перенеслось, присоединилась компания друзей, и я дотронулся до пальца человека, которого я любил, как будто так легче было объяснить. Пойми, пытался сказать я, я люблю тебя, и я в отчаянии (да, такое слово), что твои друзья приедут к нам в библиотеку, а потом пойдут с нами в городской парк, ведь я же думал, что мы будем только вдвоём, и я готов возненавидеть, пытался сказать я, всякого друга, даже самого близкого, я же так люблю тебя. Прикосновение длилось секунд, наверное, семнадцать, но тот минимум нежности (не больше пальца)

помнится мне до сих пор: серебряное кольцо с забытым орнаментом, сухая после зимы кожа, узелок сустава, вынырнувшая венка – знак большой, важной системы любимого кровообращения. И мне захотелось добавить бабушке ещё минутку (а кровообращение закончилось, настаивало что-то внутри), восполнить дефицит, и я подумал: может быть, в том санатории, куда бабушка ездила в семьдесят пятом году (осталась фотография), она могла бы встретить кого-то и влюбиться. Кровообращение закончилось, громко говорило что-то внутри, и мне пришлось дальше прислушиваться к тем семнадцати секундам и услышать их непереносимое эхо: умер. Хотя я не забывал этого никогда, но всё равно удивился: как же так? Он (в прошедшем времени всё становится однозначным) давно умер, но тогда (пересказывая более честно) он не отнял руки, пусть середина выходного дня, центр города, кинотеатр, люди вокруг, он любит Лену, Лена любит его, но он не отнял руки. Потом действительно приехали друзья, дурные, шумные, приехала красивая Лена, играли в карты, спрягали матерные глаголы, хохотали. Расходились в разное время, я – позже всех, уступив только Лене, которая победоносно предложила проводить меня до остановки, и мы втроем пошли, и я, пока ждал автобуса, рассматривал подсвеченный собор на другой стороне реки, лишь бы не смотреть на них, обнимающихся, испытывающих молодое возбуждение. Сначала я разлюбил его, потом полюбил кого-то ещё, потом переехал в Москву, и вот когда я выбирал в супермаркете торт, за который почему-то стыдно, пришло сообщение, и он умер. Я легко, почти не поплакав, перенёс его смерть, даже не отказался от ужина в тот день, на похороны не поехал, не запомнил времени года. Однажды в электричке я встретил Лену, мы говорили осторожно, не дотрагиваясь до смерти, как по канату ходили. У неё были дети и муж, она полюбила походы, палатки, спускается на байдарках, а я купил квартиру и выбирал деревянный пол. Выходило, мы прекрасно обошлись без него, и даже, как оказалось, всё к лучшему. Но соглашаться с этим безысходным стихотворением тогда, в Стамбуле, не хотелось. Поэтому я стал перебирать все мелочи, которые приходили на ум: профиль, волосы, тянется рука, смазанное выражение лица, смех, забывший причину, выцветший билет на электричку, почти отпустивший буквы (но по памяти так: Владимир = Камешково, осенний день, термос, лес, синие джинсы), пустяковая записка

(«Прости, мой друг, я не дождался...»), сомнительная фотография, с которой хочется спорить (тут он совсем на себя не похож!). Я шёл от автобуса к дому, отстав, засмотревшись на фонарные куски Стамбула, и думал, что нужно как можно дольше любить, ведь любовный взгляд, тщательный, медленный, сантиметр за сантиметром рассматривает, запоминает даже глупости вроде поясницы и (раздвинув волосы) ушной раковины, спасает от повреждений. Никто под моим присмотром не посмеет отколоть пальцы на ступнях, отбить голову, выхватить диск из руки, выломать плечо. Я запомню тебя и спасу тебя, пообещал я кому-то. В семьдесят пятом году у бабушки начинает расти косточка на ноге, к венам начинают присматриваться врачи, времени остаётся мало, и я поспешно отправляю бабушку в санаторий, ещё целую, без повреждений, молодую пятидесятилетнюю женщину, чтобы весной семьдесят пятого года, в санатории, за три недели, бабушка снова влюбилась, хорошо?

Есть даже специальная фотография: бабушка стоит рядом с высоким мужчиной, подпись – с/т «Машиностроитель», 1975 г. Оба – в неловкой, пойманное позе, у бабушки руки в карманах пальто. На всех остальных фотографиях бабушка уже с Раечкой-Раисой. Кто он – неизвестно, но помнится бабушкин манёвр: да так, мужчина один, вместе отдыхали, включай телевизор. Путёвку, это известно, предложила мастер, хорошая такая женщина была, Лена. Не хотите, Галина Сафроновна, поехать? Сын Володя женился, предчувствовались дети, и если не в этом году, то кто знает. К тому же дождливая весна, по Парижской – лужи и грязь. И бабушка поехала. Его звали Александр Сергеевич, инженер из Ивановской области. Он говорил высокопарно, как по радио, но морщины красиво легли у него вокруг глаз. И он, конечно, проявлял галантность в столовой, хоть и пахло супом из рыбных консервов, но какая разница, если бабушка чуть дольше смотрела на него, чем нужно, чтобы передать хлеб за столом. *Хотите прогуляться после обеда, Галина Сафроновна?* Галина Сафроновна хотела и по возможности изящно переставляла ноги в чёрных сапожках по лесным тропинкам, косточка почти не заметна. Он дотронулся до бабушкиного локтя, как бы призывая остановиться и послушать ну деревья, и бабушка остановилась, но услышала только, как внутри у неё вздрогнул блюдцами фарфор, так бывает, когда подпрыгнешь у серванта или если отодвигать накрытый

уже стол от дивана. *Пойдём гулять после ужина?* спрашивал он, заметно срезав имя с отчеством, заменил второе лицо на общее, совместное – грамматическое объятие. Бабушка запомнила ткань его пальто, серая, мужская, и она легко могла представить, что дотрагивается до его воротника. Он посмотрел на неё в упор, как перед расстрелом, но заулыбался, засмутился сам, и они пошли под высоким гагаринским небом на вечерний киносеанс, сели не вместе, но так, чтобы видеть друг друга. А на следующее утро за завтраком (их Купидон – работница столовой Людочка, которая посадила бабушку и Александра Сергеевича за один стол, усложнила композицию двумя старухами-гирями, глуховатыми, но разговорчивыми, медленно жующими, этими бесконечными причастиями намазывающими маслом хлеб, всегда пересиживающими их), так вот, за завтраком он завёл вчерашний лесной разговор о чём угодно (фильмы, дети, Азовское море), и так, чтобы никто, кроме неё, не понял, повторял её реплики, протягивал над запеканкой канат от их уединённого вечера к сегодняшнему коллективному утру, и бабушка повисла на этом канате и раскачивалась, распустив волосы, старухи глупо, не понимая, мазали масло. *Не хотите ли, Галя?* А она, а он. И вот бабушка, высокая, пятидесятилетняя, доварикозная женщина, только вот косточка, стоит в центре комнаты, потому что в любви всегда бывают такие моменты, когда ты просто стоишь или лежишь и ничего не делаешь, но отчётливо запоминаешь соседний дом, балкон за балконом (стремянка, детские санки, старые шины) или потолок, высокий, надменный, с историческими трещинами, или большую плоскую люстру – колыбель давно умерших мух, и вот санаторное утро, он уезжает обратно к себе в Иваново, Раечка тоже уезжает, Ада Семёновна ждёт заселения после обеда, и бабушка из окна смотрит на назидательные асфальтированные дорожки, образующие неприятный крест с клумбой в центре, в которой назойливо белел перезимовавший гипсовый человек, и думает о том, как он живёт там, в Иваново, как он смеётся на работе, и за завтраком ей было приятно увидеть, что он грустный, и одна старуха даже отвлеклась от каши и спросила: «Не хотите уезжать с природы?», и он сказал: «Да, уезжать не хочется», нажав посильнее на «не хочется», и они пошли в последний раз по лесу, бабушка забыла шарф и мёрзла открытой белой шеей, поэтому они ходили недолго, да и не было времени, «Икарус» уже ждал, а ещё фотографироваться. Он

попросил её сняться (таким вот глаголом) на память, и они пошли к пьющему ленивому фотографу, который уже выстраивал его группу, фотограф раздражённо, бабушке даже показалось, осуждающе, сказал, что индивидуальные снимки после группового, и пока все работники ивановского предприятия со смутно знакомыми по столовой лицами выстраивались на память, бабушка смотрела на грязный «Икарус», который напомнил ей о том, что зима совсем недавно закончилась и грязь ещё всюду ранневесенняя, и она представила, как он будет ехать в этом автобусе домой, и эта картина (автобус движется по дороге через лес) показалась ей мудрой и печальной. Фотограф наконец утрамбовал, сгрудил всех (очень большая группа) и крикнул «Приготовились!» Бабушка обернулась на крик, сразу заметила его и рефлекторно, хоть и не хотела, улыбнулась, а он смотрел на фотографа, который несколько раз повторил «Три!», всякий раз нажимая на затвор, чтобы у всех точно открылись глаза. Потом фотографировались подружки, а он подошёл к ней и протянул бумажку с почтовым адресом («Мне казалось, он кричит «Пли!» – пошутил он), сложная комбинация индекса, а улица знакомая – Офицерская. Она только положила бумажку в карман, бодрыми, не показавшими её грусти словами пообещала написать («Да, обязательно!»), а их уже позвал фотограф. И они встали, не зная, как нужно, и она чувствовала в кармане пальто плотную бумажку с его адресом, когда фотограф, не желая разбираться в этой их непонятной неловкой позе, не очень-то прицелившись, досчитав только до двух, крикнул «Снято!» И бабушка не успела специальным образом посмотреть в камеру и получилась растерянная, благодарная, руки в карманах. Он пообещал ей выслать фотографию в ответ на её письмо. Ну, приятно было познакомиться, Галина, если будете в Иваново, то... – сказал он чересчур, кажется, полевитановски и, не договорив после «то», улыбнулся, протянул ей руку, она пожалала профсоюзно, по-деловому, а когда поднималась по лестнице в комнату, слово (упругое, зеленоватое) перекатывалось стеклянными шариками, но бабушка не пустила, во всяком случае, не больше двух букв – л, ю. Галина Сафроновна и Александр Михайлович (лучше всё-таки так, чем Сергеевич) писали письма по кругу – из Владимира в Иваново, *Иван вызывает забывчивого Владимира* – пошутил он как-то, когда долго не получал от неё ответа, а потом пришло сразу два письма, во втором бабушка пошутила

ответно: *Вините не Владимира, а почтальонишу Верочку*. Галя, написал он, как приятно, что ни лето, ни Азовское море не помешали вам писать письма. Но потом он долго не отвечал, и наконец пришло что-то небольшое – перечисление сделанных дел, закрывал на зиму сад, и там грядки, парники, всё это бабушка прочитала быстро, перескакивая, потом она сама затянула с ответом, и он в коротком, клетчатом письме рассказал про постановку в областном драматическом театре (так и написал в три слова), и она ответила уже новогодней открыткой, повторив текст, который отправила сёстрам, даже на *долгих лет жизни* не дрогнула рука. Он тоже прислал открытку (и некрасивую) с восьмым марта, в которой попросил (*прошу вас*) оставаться всегда *такой же красивой, как вы были* в доме отдыха «Машиностроитель» весной семьдесят пятого года. На это она уже не ответила, ведь в январе семьдесят шестого года родился бабушкин первый внук – Денисочка.

Мы в последний раз поднялись на крышу в Стамбуле, вокруг уже зажглись последние огни, казалось удивительным, что мы никогда не поцелуемся. В воздухе пахло осенним дачным костром, и я сказал, что этот запах напоминает мне сад моего детства, но, испугавшись метафоры, добавил: у нас было три сотки. Мы бережно перебирали знакомые здания, в темноте город показывал мало, а только намекал: вот тут, за мечетью, мы шли в день приезда, вот тут спустились к воде и сидели на камнях, вот тут рынок, тут причал. По проливу полз корабль, вяло светясь. Пора было спускаться и ехать в аэропорт, здание отеля, возражая двумя неоновыми буквами, не давало поставить точку. Но в конце восьмидесятых мы купили сад у недавней вдовы: муж умер от чего-то тяжёлого, пропустив один садовый сезон, осталась ухоженная жена с причёской, домик, старые яблони, больная вишня. Вдове было жаль продавать сад, но и работать здесь *без него* ей не хотелось, ведь он и ведра не разрешал ей поднять, не давал взять тяпки в руки – всё сам. В оставленный сад, где когда-то так любили, пришли мы с мятой, с мелиссой, с мечтой о виноградных помидорах, с саженцами крупной чёрной смородины, с фонетически сложной рассадой астр. Вымыли дом, нашли под кроватью вдове раскладное кресло, вытащили под яблони. Сперва в нём посидел я, а потом с трудом, прицеливаясь, опустилась бабушка. Кресло охнуло, но удержалось. Бабушка откинулась на спинку, как откидывалась

любимая вдова, и посмотрела на небо через яблоневые ветви. От высокого неба хотелось петь, белый налив подсказывал песню, и бабушка начала: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой». И когда Катюша передавала привет – «Пусть он вспомнит девушку простую», – кресло не выдержало и развалилось. Мы испугались на секунду, но тут же засмеялись: бабушка упала на нарциссы и совсем не ударилась. Ей после лёгкого безболезненного падения не хотелось вставать, она лежала на земле, раскинув руки. Я подбежал к бабушке, лёг рядом, и пока у неё не замёрзла спина, мы смотрели на небо и считали завязавшиеся яблоки в неяблочный, в общем-то, год. Бабушка медленно, продуманно – сперва на четвереньки смеющимся телёнком, потом взявшись за мою руку – поднялась на ноги. У бабушки были седые волосы, которые давно перестали виться, ситцевое платье, рябые, как будто поломалась телевизионная антенна, носочки. И в саду, где плакала вдова над клубникой («Кто теперь срежет усы?»), мы были необыкновенно счастливы: уже окреп лук, уже закудрявилась морковь, толстый удобренный ремень краснел у трубы, внизу, под садами, набирал силу поезд, и, если побежать, поднимая белую пыль от щебёнки, можно оказаться у железной дороги за пятнадцать минут, невидимый сосед, через участок, развёл костёр, к нам тянулся дымок, тонкий, обещающий что-то интересное. От какого-то общего восторга, из-за того, что бабушка такая весёлая и поправляет волосы, я стал целовать её в щёки, она смеялась, как будто смущалась и не ожидала, что я так её люблю. Конечно, это была любовь, самая долгая, не успевшая закончиться. Что это? спросил я, когда бабушка сняла кофту. А это мне в больнице брали кровь из вены. А где у меня вена? Бабушка провела пальцем по моей руке, подхватив вену от сгиба и до запястья. Вот она, сказала бабушка. А он сказал грустно, с чувством географической загадочности: «Где-то там остров, на который мы плавали».

Узор

Мы едем на мотоцикле с коляской: отец, бабушка, я, два синих шлема, один зелёный. Отец в тёмных очках, держит спину прямо, и мне хочется, чтобы он напоминал полицейского из рекламы. Но его штаны защитного цвета и парусящаяся куртка-спецовка сопротивляются: нет, не похож. Бабушка сидит за ним, обхватив его руками, зажмурившись из-за ветра до китайского выражения лица. Я – в коляске, передо мной стекло, защищающее меня от ветра, поэтому я могу рассматривать бабушку, отца, рябину у дороги, дачные домики на холме. Середина лета, отпуск отца, пивной, гаражный, бабушка упросила отвезти нас к запруде – стирать ковёр. Роза Гавриловна постирала на прошлой неделе и осталась очень довольна: так никогда не выбьешь. Ковёр, сложенный в неохотный квадрат, лежит у меня в ногах. Мы прогремели мимо разрушенной церкви, куда я много раз залезал с Игорем, разозлили собаку у большого зелёного дома, и она дежурно, без азарта пробежала с нами немного, за кладбищем вступили в конкуренцию с трактором, он вонял и грохотал сильнее нас, но быстро отстал, ему как будто не надо было торопиться. С чувством гордого превосходства мы проехали остановку, на которой стояли люди, повернув голову в сторону надежды на автобус (вот и ждите!), и выехали на поле, подняли пыль, задрожали по щёбёнке. На поле растёт то ли рожь, то ли пшеница, я всегда путаю, а по краям интересные яркие сорняки: пижма, чертополох, василёк, гадающая ромашка. Отец выруливает влево, мотоцикл лезет вверх, и тут же (я знаю и жду) показывается блестящая запруда – большой водоём, за непонятную форму (как будто тесто растеклось по сковородке и не сделалось круглым блином) названный этим странным словом, внутри которого мучается пруд. Мы приближаемся к воде, из общего пейзажа делают шаг детали: яркие купальники двух толстых женщин, полотенца на траве, спина старика в позе рыбака, затаившаяся удочка, дети в воде, они что-то кричат, но мотоцикл ворует их крик. Мы едем вдоль запруды, потому что ковёр надо мыть там, где в воду спускаются три бетонные плиты. На одной такой плите разложен уже чей-то ковёр, и над ним торчит задница в халате. Мотоцикл останавливается у плиты, отец выключает двигатель, наступает необычная тишина, из

которой вылетает вдруг муха, слышится всплеск, детский крик. От ковра разгибается сухая загоревшая старуха в косынке и смотрит на нас неприветливо. Бабушка пятится с мотоцикла, потому что задрать артритную ногу не может. Отец неумело придерживает её, одалживает руку, и бабушка без привычки берётся за неё.

– А сушить-то как будешь? – продолжает отец начатый до мотоцикла разговор.

– Повешу на балкон на перила, у Розы за ночь высох.

– На балкон на перила, – повторяет отец, снисходительно, голосом, подходящим для детских планов, – выдумали себе. Как его класть-то?

Отец берёт ковёр, а бабушка из-за того, что он несёт тяжёлое, суетится и протягивает руки к отцу, как будто готова подхватить.

– Да вот лицом вверх, но не очень низко, чтобы в воду не съехал, – и тут же оправдывается: – А то он висит пыльный, годами не выбивали, когда снимала, вся исчихалась.

– Исчихалась, – дразнит отец и встаёт на плиту, осторожно, сопротивляясь наклону.

Отец кидает сложенный ковёр, намеренно не церемонясь. Бабушка хочет вскрикнуть, но вовремя ловит слово *осторожненько*, потому что у отца из-за неудобной позы и так раздражённое лицо. Она морщась смотрит, как он небрежными пинками раскладывает ковёр. И в таком необычном месте, на плите, у воды, из-под ботинок появляется привычный наш домашний узор. Ковёр висит на стене, где бабушкина кровать, только утром до него доходит солнце, днём он в тени, вечером свет люстры почти не дотягивается, да и скучно рассматривать старый пыльный ковёр. А здесь всё – на солнце, ярко, вскрикнула от удивления чайка: между двух охраняющих рамок виляет плющ, внутри – бурая болотная вода, в которой плавают яркие, будто срезанные цветы, в центре – насилу отбившаяся от вяза, веток, отплывшая на свободное место сердцевина, похожая на большой цветок, словно кто-то прокрутил калейдоскоп и остановил на самом красивом. Старуха, я вижу, косится в сторону нашего ковра, а я рассматриваю тот, что она моет: небольшой, в два раза (комната с низким деревенским потолком) меньше нашего, зелёный геометрический узор, бежевый грязный фон, даже жалко старуху.

– Ладно, мойте. Я поехал, – говорит отец, достаёт из багажника и ставит на землю бабушкину сумку с едой и покрывалом. Он дёргает рычаг, мотор взрывается, и отец огибает запруду. Кажется странным, что он умеет управляться с чем-то таким громким.

– А как мы будем мыть? – спрашиваю я.

– Ты вот в ведро набирай воды и приноси мне. Я буду щёткой, а ты можешь вон губкой.

Я с опаской спускаюсь к самой воде, вижу вдруг своё отражение, водоросли и, потревожив лицо, всколыхнув ил, набираю ведро. Бабушка нагибается и начинает тереть щёткой. Я беру большую губку, которой раньше мылись, но теперь она всегда под раковиной, где подкапывает, и провожу ею по сопротивляющемуся ворсу.

– Ты вот так помыл хозяйственным мылом немножко, – советует бабушка, её перевернутое, как на прополке, лицо краснеет.

Я мылю губку, сильно пахнет знакомым чистым запахом, вспоминаются носки. Мы чистим ковёр: я – на корточках, бабушка – согнувшись. Мы оба молчим, кажется, стесняемся старухи, припекает солнце, у бабушки на носу появляется капля пота. Старуха спускается с железным ведром к воде и затаскивает его, натянув сухую руку, поскрипывая – страшно смотреть. Потом прицеливается и тщательно, захватывая ближние углы, поливает свой ковёр. А когда вода заканчивается, с удовольствием распрямляется, наслаждаясь чувством в поясице. Солнце заходит за облако, и старуха не морщась смотрит на запруду. Я слежу за её взглядом – прилежные складки серой воды бегут на нас, тёмные, как будто озябшие дети торчат блестящими головами, резиновая лодка зачем-то кружится в центре, словно борется. А сама старуха без солнца совсем почернела, ямы глаз, худые щёки, морщинистый острый подбородок. За водой, на поле, где трактор стоит в профиль, жарко и ярко, и я вижу, как оттуда на нас по перепаханной земле надвигается солнце, темнота отступает по воде, и дети вдруг весёлые, лодка ярко-зелёная, развлекательная, а дальше невозможно, больно смотреть.

– Я иногда проснусь и лежу рассматриваю ковёр, делаю гимнастику для глаз, – говорит бабушка, – вот эта часть как раз у моей головы висит, и я беру видишь вот эту веточку и веду по ней глазами до самого верха, а потом обратно. И так три раза. Потому что сразу

вставать, как проснулся, вредно. Надо немножко полежать. Так нам советуют врачи, – как будто шутит бабушка последней фразой.

На другой берег приезжает гордая машина красного цвета (марку я определять не умею, но как у Мишиного отца) и задиристо газует. Рука из водительского окна подхватывает ветерок, как бы показывая, что весь этот шум даётся легко. Машина движется вдоль запруды, отбраковывая разные места стоянки: тут близко дети, тут, у дороги, наверное, не хочется, а там, я помню, не спустишься нормально – только прыгать. Машина забирается на возвышение и, словно отказавшись от чего-то, затихает. Тут же прорывается музыка, звуки охотно бегут по воде к нам *уйдём куда я не знаю куда я не знаю*, но громкость убавляют. Мы доходим до середины ковра, цветок наполовину отмыт.

– Давай посидим, – говорит бабушка, – а то вниз головой столько – вся кровь из жопы уйдёт.

Мы смеёмся, бабушка достаёт из сумки старое синее покрывало и расправляет – вяло просятся воспоминания, рассказанные как-то на балконе, после стирки: все ещё живут в частном доме на улице Парижской Коммуны, отец как раз женился на маме, кто-то подарил молодым покрывало, и Денисочка на этом покрывале ползал по полу, потому что в доме всё-таки пол холоднее, чем в квартире, декабрь, январь, февраль, а потом, когда родители уезжали от бабушки, покрывало, уже семилетнее, неудачно постиранное, полинявшее, оставили ей, а теперь Денис заканчивает техникум, время пролетело. Я подхватываю покрывало, мы вскидываем его, и покрывало на секунду становится парусом, чувствует ветер, но быстро укладывается, со складкой по центру, это уже не расправить. Мы садимся.

– Хочешь огурчик? – спрашивает бабушка.

Я откусываю огурец, выпуская сильный огуречный запах. Из раскрытых дверей красной машины на противоположном берегу (чуть повернуть голову влево) намекает какая-то музыка, но ветер, мотив не узнаётся. Трое людей пытаются справиться с покрывалом: две девушки и молодой человек-водитель – бейсболка козырьком назад. Их берег выше, ветер сильнее, поэтому покрывало выскакивает из рук, вызывает смех, кажется весёлым, молодым, не просится ни на какую старую улицу. По сменившимся звукам чувствуется, что началась новая песня, и кому-то из них она нравится, потому что парень

подходит к машине, звук становится громче *ё май харт, ё май сол* узнаю я. Мы с бабушкой слушаем, смотрим на воду, над ней аккуратно кружат две худенькие чайки. А старуха уже закончила, сворачивает ковёр. Интересно, как она с ним дальше, на чём повезёт. Но старуха поднимает ковёр на плечо, как бревно, и идёт категоричная, с укором, сворачивает на тропинку – к домам. От того, что она, слишком загоревшая, тёмная, не подходящая песне, с маленьким некрасивым ковром, ушла, нам с бабушкой делается легко и приятно, и как будто прилив сил.

– Ну что ж, хорошо сидеть, – говорит бабушка, и это значит, что пора снова чистить.

Я встаю первый, тяну бабушку за руку, чувствую привычный (так бабушка встаёт из глубокого кресла) бабушкин вес. Я слышу, как в воду спускаются приехавшие на машине девушки, неудобным словом визжа, громко обсуждая температуру воды и дно, на крике от острого камня я смотрю на них, и как раз в этот момент парень прыгает с высокого берега, поджав ноги, сгруппировавшись, я успеваю заметить узкие чёрные плавки перед тем, как он разбивает поверхность воды, наделав много запланированных им брызг и криков: «С ума сошёл!» Он ушёл под воду и появился – вершиной треугольника – дальше всех, что-то крикнул, не расслышать, но одна из девушек, как будто объясняя мне его слова, отделилась и поплыла к нему. А парень, дразнясь, стал двигаться дальше в центр, надрезая воду, изменяя привычный узор запруды. *Ам крейзи фо ю, крейзи фо ю* – я снова узнаю мотив песни и спускаюсь за водой. Невозможно против солнца разглядеть его лица, оно выходит чёрное, блестящее, затруднённое волосами. Он разворачивается к девушке и ждёт, пока она, приподнимая подбородок и сильно стараясь под водой, приплывёт к нему.

Мы чистим дальше, приближаемся к тому краю, который у бабушки всегда в ногах. Мы уже устали, болит поясница, земля в иллюминаторе, земля. Купающаяся компания вылезла (я не заметил когда) из воды и затеяла бадминтон на троих. Время от времени он вытягивался в прыжке, становясь эмблемой, или неловко, почти шутя не дотягивался ракеткой до воланчика. Я поглядываю на их бадминтон, как на включённый телевизор, и тру губкой замученный мылом ковёр, зэ рэйн эген, шубап, шубап...

– Как ты думаешь, – спрашиваю я, – однажды мне купят магнитофон?

– Не знаю, – отвечает бабушка, красное перевёрнутое лицо, – сейчас всё таких денег стоит. Но ты слушай проигрыватель.

– Там нет таких песен.

– Да, сейчас совсем другие песни, – соглашается бабушка и бросает щётку. – Всё, к чёрту, хватит. Теперь ты пополивай его, а я сяду, а то меня уже качает, так и полечу сейчас в речку.

Бабушка садится на покрывало, я приношу воду и поливаю ковёр, мыльная пена копошится пузырями, спешит в запруду. После каждого ведра я разгибаюсь с удовольствием, как разгибалась старуха, которая сейчас, наверное, уже дома, готовит еду. Я замечаю, что пропустил конец игры, компания улеглась на покрывало, показав мне пятки и книгу в одной руке.

– В наше время, конечно, песни были другие, мелодичные. Очень мне нравился Марк Бернес. Тёмная ночь разделяет, любимая, нас, – поёт бабушка, прерываясь на одышку, – и тревожная чёрная степь пролегла между нами.

Ковёр, избавленный от пены, стал похож на мокрую недовольную собаку, теперь остаётся только смириться и сохнуть. Я сажусь рядом с бабушкой.

– А с Мусей всё пели «У Чёрного моря». Идём иногда вечером, жара спала, и мы с ней поём на два голоса: Есть город, который я вижу во сне... – бабушка отрывает перо зелёного лука, и песня пахнет луком, – о если б вы знали, как дорог. Это Утёсов пел, видный такой мужчина был. Давно уже умер.

Мы едим хлеб с зелёным луком, пьём чай из термоса. С того берега поднимается чьё-то колено и ловит ветер.

– Сейчас голоса нет, а жопой вертят, – продолжает бабушка разговор про магнитофон, – я как посмотрела на эту Распутину, так и ахнула. Вместо трусов какой-то шнурок в жопе.

Я ложусь и тоже поднимаю ногу, потому что выяснилось, что так можно, и потому что это немного объединяет меня с теми, кто на другом берегу. Над нами без слов подёргивается электронная музыка, грустные космические сигналы. Бабушка ложится рядом, со стоном распрямляя спину. Небо тянет медленные облака, отбрасывая тень на

землю и на тех, кто лежит под облаками. Я спрашиваю бабушку про облако:

– На что похоже?

Мне кажется, корабль или такой как будто лебедь, а бабушка отвечает:

– На муть.

– Почему? – удивляюсь я.

– Мелодии нет, слов нет, только пищит что-то, как комар.

Я смотрю на неё, и понимаю, что бабушка положила косынку себе на глаза, на небо не обращает внимания, а говорит о музыке.

– Это Жан-Мишель Жарр, – отвечаю я с гордостью, что помню все три имени с кассеты брата.

– Господи, – удивляется бабушка. – Давай искупаемся, пока отец не приехал. Зря, что ли, брали плавки.

Я достаю из сумки полотенце и плавки, отхожу подальше от воды. «Да никто не смотрит», – говорит бабушка. Но я знаю, что смотрят все. Мне нужно исполнить трюк – жонглировать полотенцем, плавками и трусами, чтобы ничего голого не показалось и чтобы никто не увидел моих трусов, растянутых, с ромашками, среди которых на месте дырки вставлен василёк со старой наволочки, и кажется, что все остальные цветы собрались вокруг него – бабушка даже смеялась, когда шила. Я оборачиваюсь полотенцем, закрепляю края, снимаю трусы. Я хочу побыстрее надеть плавки, но, задирая ногу, теряю равновесие. Полотенце, я чувствую, раскрывается занавесом, выпуская мою попу, я спешу его подхватить, но не успеваю, полотенце падает, я закрываю пах рукой, наклоняюсь, стыжусь попы и быстро тяну буксующие, перекручивающиеся плавки вверх. Я уверен, что все, особенно те, что на другом берегу, меня видели, поэтому от стыда не смотрю дальше нашего покрывала. Бабушка снимает платье через голову и просит помочь ей расстегнуть замочек лифчика. Я разделяю пластмассовый крест, лямки делают шаг вниз, и бабушка вываливает грудь в согнутую в локте руку и так держит, пока другой рукой расправляет яркий лифчик из купальника. «Трусы не буду менять, эти у меня нечиненные». Я подаю бабушке руку, она подтягивается и идёт к воде, поделённая на две части – цветную и беленькую. Её тело очевиднее хромает, когда голое – не только ногой, а как-то целиком: заваливается правое плечо, смещаются правые родинки на спине, о которых я забыл. На

бабушкиных трусах я вижу маленькую дырочку под резинкой. «Бабушка, там дырка у резинки». Бабушка заводит руку за спину и, как рану, проверяет дырку. «Ну наплевать, – говорит она, – в моём возрасте можно уже вообще голой купаться». У самой воды трава пропускает землю, и бабушка делает первый шаг. Запруда удивляется бабушкиной хромоте неравномерными кругами воды, в правую сторону уходит больше. Бабушка, чтобы пережить первую прохладу, поёт высоким голосом *Есть море, в котором я плыл*, делает ещё шаг, и ещё шаг *и тонуул*. «Ох, хорошо», – говорит бабушка. Я вхожу в воду, между пальцами проскальзывает липкий ил, и солнце тут же закрывается облаком. Вода холодная и тёмная, мои ноги кажутся синими, я продвигаюсь дальше медленно, чувствую каждый сантиметр, до колена терпимо, а выше колена – даже не верится, и когда вода захватывает мои плавки, сердце дёргается вверх, я глубоко вздыхаю и опускаюсь до самого подбородка. Вода, если смотреть отсюда, плотно натянута до противоположного берега. Я проверяю компанию около красной машины, и двое, как будто потревоженные взглядом, поднимаются, оставив на покрывале только читающую книгу руку, и идут купаться. Он заходит первый, обтирает грудь, брызгает на девушку, и она созвучно брызгам взвизгивает. Я замечаю момент, когда его плавки оказываются в воде, и та же вода почти нежно поглаживает мой подбородок, скользит на длинных лапах водомерка.

– Попробуешь поплыть? – спрашивает бабушка. Она знает, что в прошлый раз у меня не получилось.

– Да нет, – пугаюсь я. – А ты?

– Нет, не рискну, вдруг сведёт ногу.

Я набираю воздух в лёгкие и опускаюсь с головой, вода холодной рукой хватается меня за макушку. Я отнимаю ноги. Какая-то сила медленно, без охоты разворачивает меня спиной вверх, я болтаюсь, шевеля руками. Вода гудит, как от напряжения, двигает меня, пока я не упруюсь в бабушкину спину. Я выпускаю воздух шумными пузырями и встаю на ноги прямо за бабушкой. Я вижу её затылок, заколку, капроновую верёвочку с крестиком, завязанную и обожжённую, чтобы не растрепалась, не удержавшиеся в заколке волосы намокли. Из воды на другом берегу выходит, разборчиво ступая, девушка, а парень движется в нашу сторону, хочет, наверное, перечеркнуть запруду. Мы с бабушкой смотрим на него, а он по-акульки наступает на нас. Мне

кажется, я сейчас разгляжу его лицо, но, когда он подплывает совсем близко, я вижу только рот, мокрые волосы и усилие пловца, из-за которого лица не разобрать. Он плюёт водой и уплывает обратно, а бабушка говорит:

– Ну давай выходить, а то замёрзнем. Ты иди первый и подай мне руку.

Я показываюсь из воды, примеряюсь к скользкой глине. Выясняется, что теперь холодно снаружи. Выйдя по пояс, я разворачиваюсь, подаю бабушке руку, она мокро берётся за меня, на лице страх неровного дна, и несколько раз я чувствую, как она поскальзывается и крепче хватается за меня, я тоже сжимаю её руку сильнее, нам обоим страшно, что она упадёт. Наконец я отступаю на траву, и перилами выставляю бабушке руки, она держится за них (я упираюсь) и вытягивает себя на берег.

– Ну, как корова вылезала.

Бабушка отдаёт мне полотенце, я с удовольствием прячусь в него, а сама накидывает на себя покрывало. Парень что-то кричит из воды и, дождавшись ответа девушки с берега, показывает, как он лежит на спине.

– Когда-то я хорошо плавала, – говорит бабушка. – А теперь хоть отруби эти ноги. Правда на Азовском море дооолго надо идти до глубокого места. Идешь, идешь, а всё по колено.

Мы переодеваемся обратно, я снова заматываюсь в полотенце, теперь придерживаю его лучше. На другом берегу, я вижу, парень, отгородившись от девушек открытой дверью машины, повернувшись к запруде спиной, легко снимает плавки, показывает гладкую белизну, аккуратно разделённую на две половины, и подпрыгивает, как будто даёт волю весёлой пружине внутри себя, выжимает плавки. Я стесняюсь, не рассматриваю его, но слова *снял, голый* сами собой произносятся в голове, и от этих слов почему-то больно.

– Юрочка, трусики переодел? – спрашивает бабушка, и я вдруг злюсь на *трусики*, от которых делается стыдно, хочется пнуть землю, я понимаю, что где-то лучше, чем здесь, а бабушка неожиданно кажется мне толстой, глупой.

– Да переодел я, – говорю я раздражённо, но тут же замечаю, что бабушка сидит так беззащитно, с мокрыми прядями волос,

поглаживает колено, и я пугаюсь своего раздражения и притворно радуюсь, пытаюсь спрятать резкий голос: – Какой чистый ковёр!

– Хорошо – повесим на стену чистенький, свеженький, – наслаждается бабушка.

Ковёр сохнет, потихоньку поднимает ворс, кажется, что он простил нас. Переодевшись, я сажусь рядом с бабушкой, мы смотрим на противоположный берег: там лежат люди, рука устала читать и заснула, по воде ленился французская песня, из которой я узнаю только слово *ностальжи*. Мы предчувствуем отца, и как будто из нашего предчувствия появляется гудение, постепенно крепнет, расталкивает чаек, музыку, наконец превращается в откровенный грохот, и тут выезжает в облаке пыли, зелёный, гордый, с коляской – мотоцикл.

– Давай собираться, – говорит бабушка, и мы, пока отец огибают запруду, складываем покрывало, термос. Бабушка берёт в рот оставшуюся сушку, сосёт её (грызть нельзя, жалко протез) и поэтому говорит с отцом с помехой: кеёночку вяла под коёр.

– Клеёночку она взяла, – дразнится отец.

Мне нравится быть одному в коляске. Подо мной, как ответное письмо, сложен обновлённый ковёр. Отец садится, за ним залезает бабушка, мотоцикл передаёт, как она плюхнулась. И мы трогаемся. Я понимаю, что мы будем проезжать красную машину, и жду, чтобы не пропустить. Мы подпрыгиваем на неровной дороге, давим придорожную траву, объезжая яму, шумим, вот красная машина. Я тут же вижу их на покрывале: книга оставлена открытой, две девушки лежат на животе, позвоночник, ключицы, две половинки лица, а он – на спине, лицо закрыто от солнца разочаровывающей кепкой, я хватаю глазами что успеваю – скрещённые в лодыжках ноги, колени, ловкие плавки, впадина живота под вздёрнутыми (руки под головой) рёбрами. Поворот насильственно оборвал мой взгляд, но я обернулся (со стороны кажется: на воду) и, напрягая шею, быстро спустился от бейсболки до ног, не заметив ничего конкретного, но как будто выравнивал статуэтку на полке, и мотоцикл уехал от запруды.

Мы быстро пересекли поле, показалась разрушенная церковь, и Игорь появился на секунду, напряжённое лицо, выскочило бабушкино слово *трусика*, но не случайно, а намекая, и пока намёк не успел проступить, я постарался побыстрее затолкнуть его назад. Автобусная остановка, палисадники с флоксами, хаотичные курицы, собака,

наверное, спит. Село заканчивается, начинается линия посаженных вдоль дороги тополей, за которыми висит вечеряющее красное солнце. Я прикрыл глаза, всплеск воды, *трусики*, нет, я мечтаю о магнитофоне. За веками щекотно мелькают тени деревьев, солнце мягко шутит, и кажется, что там, снаружи, складывается какой-то узор.

– Давай его прямо на балкон на перила, он за ночь и за завтра точно высохнет, – просит бабушка особым дружелюбным голосом, пока отец поднимается перед ней по лестнице с потяжелевшим от воды ковром.

– А если дождь? – укоряет отец за непредусмотрительность.

– Да не обещали дождя.

– Не обещали ей.

– Да и небо ясное.

– Ой ладно, небо.

Отец вешает ковёр на перила балкона, цветок в центре делится пополам, и тому, кто идёт по улице Михалькова, видна половина нашего ковра.

– Какое дело сделали! – торжествует бабушка.

– Дело сделали, – ворчит отец и уходит ставить мотоцикл в гараж.

Мы с бабушкой моемся после запруды, надеваем чистые халаты: бабушка – коричневый, с розовыми завязками на рукавах, на которые никогда не хватает аккуратности, и они всегда болтаются, а я – шелковистый синий, бывший бабушкин рабочий, выпрошенный мною на после мытья, потому что я видел такое в сериале. Мы выходим на балкон, тёплый вечер, прогретый дом, бабушка гладит ковёр рукой, чистый, приятный, не то что было. Солнце лежит за полем и оттуда розовеет. Бабушка довольна, ловко упростила отца.

А утром сквозь сон и бормотание радио я слышу:

– Бляяядь!

Я тут же просыпаюсь, бабушка врывается с балкона, в стёклах двери трясётся отражение улицы.

– Что случилось? – спрашиваю я.

– Ковёр ёбнулся.

Я в трусах бегу на балкон и смотрю: ковёр с выгнувшимся узором валяется под нашим балконом – в садике Дмитрия Алексеевича с первого этажа.

– Прямо на кабачки! – кричу я, торжествуя.

– На кабачки? – спрашивает бабушка радостно, ей вдруг передаётся моё торжество. – Ну пиздец! Пойдём скорее. – Бабушка надевает платье и уже смеётся. Я натягиваю штаны и тоже начинаю хохотать.

– Постирали, – смеётся бабушка, повязывая косынку.

– С мылом, – ловлю я бабушкин смех.

В подъезде мы хохочем так, что кажется, будто мучают какое-то животное – оно пытается вздохнуть и сипит.

Нам нужно обогнуть дом и подойти к нашему балкону между клумб и огородов, которыми занимаются жители первых этажей.

– Дмитрию Алексеевичу скажем?

– Ты что, они с Лидией плешь проедят мне. Только если заметит.

Я смеюсь ещё громче, а бабушка останавливается даже, чтобы отдышаться от смеха.

– Пойдём быстрее, пока во дворе никого.

Во дворе никого, мы весело торопимся. С другой стороны дома мы крадёмся. Сперва нас скрывают высокие мальвы, которые торчат под окнами Валентины из библиотеки, потом мы кажемся гигантами перед бархатцами Татьяны с первого этажа второго подъезда, потом подозревает нас в воровстве морковка Лены, выпирающая из земли крупными яркими попами, и мы думаем, что так вот и решат, что мы идём воровать морковь, а лук какой-то неудачный. И наконец огород Дмитрия Алексеевича. Слава богу, у них балкон застеклённый, шепчет бабушка, я смеюсь, она шикает на меня, а у самой от смеха слёзы, и мы отодвигаем флоксы Дмитрия Алексеевича и сразу видим масштабы: пышные листья кабачков примяты нашим ковром, из-под края торчит не успевший убежать цветок. Бабушка шепчет *пиздец* и хватается ковёр, тянет на себя, я обхожу кабачки, поднимаю другой край, и мы с бабушкой выносим ковёр с огорода. Я оглядываюсь на разорённую грядку: листья примяты, цветы поломаны, один цветок – с ребёнком кабачка, совсем преступление, бабушка тоже заметила и даже морщится. Мы отходим от окон Дмитрия Алексеевича и пытаемся свернуть ковёр в трубу, чтобы нести вдвоём, шерстью внутрь. Не видели нас? шепчу я. Не знаю, боится бабушка. Мы берём ковёр под мышку, бабушка идёт впереди, энергично хромая. Мы поворачиваем во двор, и как назло у второго подъезда сидит ведьма Настя, а дальше, у

песочницы, Галина Андреевна с Верой – все внимательно смотрят на нас.

– Твою мать, – тихо говорит бабушка, – повылазили черти.

Мы пытаемся пройти буднично, но, конечно, Настя удивляется:

– Привет, Сафроновна!

– Что это у тебя, Сафроновна? – кричит Галина Андреевна от песочницы.

– Да ковёр, – отвечает бабушка и, немного подумав, добавляет: – Люди выкинули, а он почти целый, только моль немного поела.

– Вы что же, с помойки его? – озадачивается Настя нам в спину.

– Так пенсию же не платят, – громко говорит бабушка, не поворачивая головы, стыдящаяся спина.

– Нищает народ, – кричит Вера.

И мы затаскиваем ковёр в подъезд, я тут же начинаю смеяться, а бабушка говорит:

– Ой давай неси быстрее, а то Дмитрий сейчас ещё выйдет.

Вечером на лавочке обсуждали, что кто-то пробрался к Дмитрию Алексеевичу на огород и там напакостил. Лидия Сергеевна, жена Дмитрия Алексеевича, обиженно двигала не вполне подходящей вставной челюстью и чуть не плача жаловалась: столько Митиных трудов, бессердечные люди, щелчок челюстью, ночью пришли и разорили, взяли, кажется, щелчок челюсти, только щавель, затоптали календулу. Лена, недавно вернувшаяся с работы, даже пошла проверить, но у неё ничего не взяли, хоть морковь в этом году хорошая. Ночью не разглядели, наверное, решила Настя.

– Нищает народ, – сказала бабушка с красным лицом. – Мы вон с Юрой вообще ковёр с помойки подобрали.

– Там бывают хорошие вещи, – мутно, вспоминая, посмотрела на двор Лидия Сергеевна и щёлкнула челюстью.

В подъезде бабушка поднималась, как будто разбила чашку в гостях – даже меньше казалась от раскаяния:

– Взяла грех на душу...

И у почтовых ящиков:

– Отцу ни слова, он меня со свету сживёт.

Перед сном бабушка накапала валосердина, запахло, поморщилась.

– Да сколько там кабачков-то было, господи... Две штуки.

Ковёр только чуть-чуть испачкался в земле, мы обтёрли его, досушили на полу и повесили (неустойчивость матраса у меня под ногами) обратно к бабушкиной кровати. Сперва ковёр интриговал и гудел тайной, мы посмеивались, потом притих и висел просто чистый, бабушка иногда проводила по нему удовлетворённой рукой, вспоминала лето, жару и как залезла в воду.

В сентябре мы принесли Лидии Сергеевне и Дмитрию Алексеевичу ведро штрифеля. Зимой бабушка испекла коржиков и спустилась к ним с тарелкой, потом рассказывала, что она быстренько отдала и ушла, хоть Лидия и приглашала, но в комнате кричал на отца и кашлял, кашлял пьяный сын-туберкулёзник, вышел недавно из тюрьмы, однокомнатная квартира. И ещё без кабачков. Бабушка на следующий же день отнесла им ещё банку пятиминутки.

Той осенью, в какую-то октябрьскую субботу, мы после прогулки по лесу сели на лавку. «Посидим с женщинами?» – предложила бабушка. Начало шестого, сумерки, у Веры, по словам женщин, раскодировался и запил муж, обсуждать это было интересно. И вдруг мимо нас прошли две мои одноклассницы, невысокие, надменные, насмешливые, главные подруги в нашем классе, теснившиеся в одном имени Юля. Сначала я удивился, увидев их лица здесь, во дворе бабушкиного дома, безо всякой школьной доски на заднем фоне. А потом, когда они вдруг обернулись и, сказав что-то друг другу, разом лопнули от смеха, мне вдруг стало жарко. Зная, что я смотрю на них, Юли показывали мне особенно демонстративный, гнущийся смех. Я понял, что они, конечно, смеются надо мной, мой жар получил объяснение: я испытывал острый стыд, что сижу на лавочке с женщинами. И тут же исправил бабушкино слово на более жестокое – со старухами. Я кое-как досидел до конца разговора, теперь будет пить ещё несколько месяцев, пока не достигнет дна, и вошёл в подъезд первым, быстро поднялся, не дожидаясь, пока бабушка на каждую ступеньку встанет обеими ногами. Я поставил замок на предохранитель и бросил дверь покачиваться перед бабушкой.

Я так же любил бабушку, по-прежнему проводил у неё все выходные, но пальцем чувствовал какое-то изменение, как будто стекло вазы треснуло и стало чуть иначе отражать свет. На улице я делался отстранённым, всегда шёл немного, как на поводке, впереди, по возможности не сидел на лавке с бабушкой, а если всё-таки сидел,

старался выглядеть независимо. Зимой стало подниматься, затапливая наши любимые полянки, молчание. Первым ушли под воду разговоры перед сном. Вместе выключать свет и засыпать, перекидывая сонные слова, вдруг показалось скучным. Поэтому я говорил, что ещё почитаю, и лежал с книгой, прислушиваясь. Почитай, почитай, зевала бабушка. Бабушкино дыхание углублялось, потом прорывался первый, пробный, не до конца уверенный в себе храп, а когда храп, как бы нащупав себя, повторялся, громко показывал бабушкино дыхание, я вставал, гасил торшер и выходил в кухню. В основном я придумывал там разные истории, воображал себя то подростком на чердаке большого особняка в штате Виргиния, то женщиной-врачом на Диком Западе, то полицейским из Санта-Барбары. Я фантазировал часа два, не больше: я знал, что ближе к двум ночи бабушка встаёт в туалет, и, если я засижусь, мне придётся как-то оправдываться, почему я не сплю. Поэтому во втором часу ночи я осторожно, стараясь не скрипеть полами, пробирался в комнату. Накрытая одеялом бабушкина жизнь вздыхала, постанывала, темнела свёртком. Я знал все тональности её сна и умел составлять с ним мелодии – тихий скрип мог размещаться между бабушкиными посапываниями, громкий скрип (у стола) подходил к храпу, а если не совпадал, надо было держать паузу, пока бабушка, вздохнув, не проснувшись, снова выровняет дыхание, в финале – громкий визг дивана. Я прекрасно знал все эти звуки, поэтому тогда меня насторожил новый звук – затянувшаяся буква *м*. Я подумал, что бабушка сейчас заметит меня, и старался ступать совсем тихо, но вдруг решил обернуться и посмотреть на неё. В свете уличного фонаря, нехотя освещавшего наш балкон и немножко комнату, я увидел, что бабушка лежала на боку, спиной ко мне, и поглаживала рукой ковёр. Этот жест был связан с чистотой, с летней уборкой и казался странным зимней ночью.

– Что ты? – спросил я шёпотом, пол взвизгнул.

Бабушка не ответила, но продолжила поглаживать ковёр. Такая задумчивая нежность была в бабушкиной руке, что я даже подумал, не вспоминает ли она что-нибудь? Так можно поглаживать старые фотографии: вот Игорёк Рудых, в Новоазовске. Но бабушкино молчание испугало меня: раз она не спит, она должна ответить. Бабушка снова протянула *ммм*, будто ей понравилось варенье. Я громко спросил: «Бабушка?» Притворство сна из-за моего громкого

голоса тут же разрушилось, и бабушка застонала. Я безо всякой осторожности оглушительно заскрипел полами, подошёл к кровати и потянул бабушку за плечо. Она податливо, как лодка на воде, перевернулась, лицо её было слегка скошенным.

– Если слышишь меня, сожми руку, – сказал я, повторяя то, что видел в сериале.

Бабушка сжала руку, посмотрела в потолок и попыталась сказать что-то, но звуки загнулись. Лицо её тут же показалось мне недосказанным, мучающимся каким-то важным словом. Я побежал к соседке, у которой был телефон. Глазок зажётся тревожным светом, потом погас, когда соседка посмотрела в него, и, пока она долго расшнуровывала дверь (два замка, засов, цепочка), ей уже стало всё понятно:

– С Галиной Сафроновной плохо?

Я вызвал скорую, позвонил родителям и вернулся к бабушке. Она лежала в той же, мною сделанной позе, как что-то поломанное. Я подошёл к ней и, заглянув в кровать со страхом, громко сказал ей, словно кричал в колодезь:

– Скоро приедет врач.

Бабушкины глаза смотрели чуть вбок, я застыдился своего громкого голоса, встал на колени у кровати и заговорил голосом, предназначавшимся ребёнку, когда он болеет:

– Не бойся, не бойся, уже скоро приедет.

Прибежали родители: отец в меховой шапке и со свирепыми почему-то глазами, мама в халате, на шаг позади, со смиренным по дороге лицом. Быстро (больница совсем рядом, слегка поплутать только дворами) приехала скорая – пожилой энергичный врач и санитар с серым больным лицом. Когда в комнате скопилось столько взрослых, я отступил на кухню. Там все вещи казались странно спокойными, календарь как будто не успел отреагировать и показывал весёлого, почти улыбающегося котёнка. Врач громко называл бабушку *моя хорошая*, но его фамильярность была мне неприятна. Через какое-то время я услышал напряжённое усилие в комнате, пошёл туда и увидел, что бабушку, накрыв, выносят из комнаты, она накрыта синим старым покрывалом, запруда, купание. Её глаза скользили по потолку, зацепились на светильнике в коридоре, пока санитар с отцом примерялись к двери, а в подъезде испуганно подпрыгнули на первой

ступеньке, дальше я не видел её глаз. Отец нёс первым, показывая на лице сложности разворота у почтовых ящиков. Я спускался следом, нервничая руками в каждом опасном месте и особенно, когда сворачивали под лестницу на первом этаже. Мама придерживала дверь подъезда, перед скользкими ступенями крыльца не выдержала и сказала *осторожненько*, я сжал кулаки от напряжения. Бабушку понесли к машине. По-обычному, не обращая внимания поскрипывал снег под ногами. Мама сказала мне закрыть квартиру и приходить в больницу, а они с отцом поедут вместе с бабушкой. Я побежал наверх, перепрыгивая, как будто подгорает пирог, через ступеньки, а в квартире старался не смотреть на раскрытую бабушкину кровать. Я зачем-то взял бабушкины очки, повязал шарф, удивился, что бабушкин берет и варежки лежат дома, когда её нет, выключил свет, испугался тёмной квартиры и быстрыми, фальшиво звучащими нетерпеливой радостью шагами сбежал по лестнице. Знакомые дома стояли глупые, ничего не понимали, морозный воздух сжимал горло, предлагая рыдания, в голове постоянно появлялась бабушкина рука, поглаживающая ковёр, испуганные глаза, скривлённый рот. Из-за зимнего бега в голову пробилась песня из фильма. Она звучит там, когда герои бегут по зимней дороге, и я с радостью, чтобы не вспоминать бабушкин рот, подхватил её: *какими были мы на старте, уже не то, пропала пруть*. Но дальше второй строки не помнил, начинал опять, какими были мы на старте, какими были, бабушкины глаза.

У главного входа под фонарями больница расправляла плечи, а потом, в темноте, терялась. Я побежал к освещённой двери, через которую мы с бабушкой много раз заходили в регистратуру, но там, конечно, было закрыто, за окнами дёргался ночной лампой гардероб, один опустошённый халатик висел на крючке. Я побежал вокруг здания, дёрнул дверь, ведущую в больничную церковь, но она тоже была закрыта. Какими были мы на старте, вспоминал я, уже не то, в темноте больничного двора зелёными квадратными окошками смотрел на меня ой нет, но короткое холодное слово вываливалось против воли – морг, тут же лицо Капы, не бойтесь, не бойтесь (вспомнилась ещё одна строчка) жизнь переменить! С обратной стороны больницы я увидел приоткрытую дверь, полоска жёлтого света вывалилась на ступени. Машина скорой помощи стояла там же и смотрела на меня

пустой равнодушной кабиной. Я побежал к этому входу, поднялся по ступенькам и решительно открыл дверь. Внутри сидела за столом толстая медсестра и о чём-то смеялась с красивым высоким мужчиной в пуховике. Увидев меня, она тут же подскочила и спросила: «Куда ты?» А я растерялся, потому что не знал, как объяснить про бабушку, и потому что этот неожиданно красивый мужчина, чуть всё-таки испорченный трикотажной шапкой на голове, стоял очень близко от меня и, повернувшись, не успев сменить выражение лица, по инерции улыбался мне. Я сказал: «Тут бабушка». Мужчина вдруг сообразил: «Да это вот сейчас мы привезли». И показал головой в глубь больницы. «А, – села обратно медсестра, – это иди вон через стеклянную дверь по коридору до конца, там реанимация». Я пошёл, чувствуя, как они придерживают разговор до того момента, пока я зайду за дверь, я успел поймать возобновившийся голос медсестры: «Так я и говорю...» Коридор напряжённо светился, моргал в одном месте, а в конце коридора на скамейке сидел отец и держал в руках меховую шапку.

– А где мама? – спросил я.

– Да мать там, пустили её, – сказал отец добрым голосом. – Садись, садись посиди.

Я сел рядом с отцом, от него пахло сигаретами и чем-то гаражным, кислым. Отец спросил *Чай, перепугался?*, сделав ставку на это простоватое «чай», которое должно было показать, что не очень и страшно. Но я не поддался и почти надменно ответил: «Да нет, не особенно». Он вздохнул, как-то мечтательно произнёс переименованное нежностью слово «Малы́ша», вытянув *ы*, и погладил меня по спине. То, что он понимает, что я, конечно, испугался, уязвило меня, вспомнилась и стала мучить незначительная и в обычный вечер ненужная подробность: после ужина бабушка переливала молоко в эмалированную кружку. И я, скрывая лицо, отвернулся от отца к дверям в реанимацию. Двери были большие, узорчатое стекло в них напоминало тонкий треснувший лёд, из последних сил удерживающий свои кусочки. Красные трафаретные буквы категорично требовали: «НЕ ВХОДИТЬ». В реанимации горел яркий медицинский свет, смотреть на него было неприятно, но иногда за дверями возникало зашифрованное стеклом движение, мимолётное, как рыба по дну, хотелось поймать и разгадать его, но оно ускользало. Больше мы с

отцом не заговаривали, только вместе посмотрели на уличную дверь, когда она громко хлопнула: красивый мужчина ушёл и сейчас (я разгадал в нём водителя) уедет по вызову. Мы ждали. меховая шапка покачивалась на пальце отца, а когда останавливалась, он подталкивал её снова. В какой-то момент я почувствовал, что нужно посмотреть на двери, и увидел, что в реанимации зародилось тёмное пятно, начало целенаправленно расти, переменяя узор, надвигаясь на красные буквы. Стало ясно, что оно идёт к нам. Отец тоже заметил это, распрямылся и отложил шапку. Я закрыл глаза.

До фокуса

I

Я решил пройти через больничный двор, повторяя старое. Мне было тридцать пять лет, конец июля. Ко мне весело подбежала высокая мохнатая собака, поспешно обнюхала и, убедившись в чём-то, убежала. Истощённая женщина в халате, в безнадёжно плотно повязанной косынке курила у входа в отделение. В той части больничного двора, где видишь здание с изнанки, всегда чувствовалось, что там, на третьем этаже, умерла на Пасху бабушка. Раньше я поднимал глаза и отсчитывал окно её палаты, а теперь забыл, какое именно это окно, только третий этаж. Я вышел из двора вслед за двумя старушками – они направлялись к девятиэтажкам. Одна – совсем хрупкая, белая, другая – в леопардовой кофте, энергичная, если бы не правая нога. Старушки среди лета обсуждали, как украшали ёлку в их детстве: делали из сена шарики, красили бумагу и вешали, и было это скромно, и хорошо, и весело, сейчас – не то. Я пошёл следом, чтобы подслушать, о чём они говорят, ведь больше я никогда не увижу их. Сын, сноха, пенсия, с грустью. Нас обогнали подростки, летним громким смехом они заглушили старушек, поэтому я не понял, почему белая старушка сказала, очевидно подводя итог чему-то: «Если б дали мне вторую жизнь, я б иначе её прожила». Было ясно, что второй жизни ей не дали. Я свернул к бабушкиному дому.

Квартиру продали вскоре после бабушкиной смерти. Несколько месяцев в ней жила кошка Зина с дочерью, потом мы забрали их и пустили любовницу Васи – приятеля отца, молодого бизнесмена. Любовница ждала там женатого Васю и, полюбив, отпускала к жене. Квартира постонала, но быстро подстроилась, раскинула диван, задёрнула шторы, оладила вино, и Васина любовница уж как могла плакала там, когда Вася уходил, курила на балконе. Квартира всё это вытерпела. Но потом квартиру продали. У брата должен был родиться ребёнок, так что всё выходило очень кстати. Купила её какая-то пожилая женщина, поближе как будто к детям, но никто особенно не разбирался. Ремонт она делать не собиралась, мебель её устраивала, балкон стеклить не будет – настоящая захватчица, так казалось мне. Входите, пользуйтесь ампутированной нашей квартирой,

раскладывайте, старая дура, ваши проклятые лифчики, трусы в наш шкаф, да не перепутайте ящики.

Пару раз я возвращался в подъезд: забирал книги («Грозовой перевал») у соседки или просто поднимался на второй этаж и воровато подслушивал, боясь встречи с бывшими соседями. А потом по всей стране стали устанавливать на подъездах кодовые замки. Нажмите одновременно три, семь, девять, да, это неудобно, но если вот так расставить пальцы, то получится, и никто не будет вскрывать ваши почтовые ящики, никто не будет спать под лестницей. И все расставили пальцы. Однажды я пришёл к бабушкиному подъезду и увидел, что там тоже поставили такой замок. В этом было что-то обидно юридическое, замок говорил мне: не имеешь права! С тех пор я ни разу не заходил к бабушке во двор. Если мне нужно было пройти мимо её дома, я жадно пытался заглянуть в окна – так ищут грибы в вероятном месте. Окна не заменили и не покрасили – остатки синего на рамах. На балконе всё тот же белый, заплаканный ржавчиной пластик. Но внутрь заглянуть было невозможно, стёкла загустели, отражали солнце, небо, но ничего не показывали.

Бабушкина квартира снилась мне время от времени и всегда в тяжёлом сне: выяснялось, что бабушка не умерла, а продолжает жить, но за годы, пока я не ходил к ней, стала совсем глубокой старухой, грузной, передвигается с большим трудом, сидит, накрывшись одеялом. Квартира во сне была тёмной, отменялись окна на солнечную сторону и все мои летние каникулы – только зимний вечер с плохим освещением.

Иногда приходили вести, что умер кто-нибудь из бабушкиных соседей, и ярче всех (от рака за месяц) – Тамара, соседка по лестничной клетке, от которой я вызывал бабушке скорую помощь, крепкошеяя (на затылке как раз две складки) женщина с шлемом коротких волос, огненная хна, наблюдала как-то солнечное затмение в сосновому лесу, оставила двух кошек, одну из них звали Василиса, она умела, по словам Тамары, говорить *мама*. Умер ещё толстый такой мужик с четвёртого этажа, умерла вечно пьяная Валя сверху, от туберкулёза – сын Лидии Сергеевны, потом, доживя до предела, умерла сама Лидия Сергеевна. О выживших ничего не рассказывали. Стало понятно, что главная новость и главное событие теперь – смерть. Хоть раньше мы и знали, что у кого было на ужин.

Я долго писал о бабушке, о своём детстве, о всех, кто жил вокруг нас, и места моего детства постепенно превращались у меня в голове в декорации фильма. Я выставял лавки во дворе, расселял людей по подъездам, командовал погодой. Моя память (от частоты использования) иссушилась: я перебрал весь шкаф, выложил найденное в витрине и ярко подсветил – так в музее показывают старые чашечки. Поэтому мне захотелось вернуться во двор бабушкиного дома и посмотреть, как всё стоит там само собой. В этом, казалось мне, будет последний рывок, чтобы дописать книгу. И вот июльским вечером я, подходя к бабушкиному дому со стороны девятиэтажек, ощупал его, погладил глазами, как будто успокаивая перед процедурой, заметил, что в бабушкиной квартире горит свет, и свернул во двор.

Всё стояло так, как я придумал, и слегка шевелилось. Съёмки давно не велись.

II

Во дворе бабушкиного дома лежал июльский вечер, в котором, как в высокой траве, проступали руины детского беззаботного вечера. Небо уже начало темнеть, поэтому двор прятал углы, сворачивался на ночь. Я перебрал перекладыны для выбивания половиков, вычерпанную песочницу, выгнувшуюся от радикулитной боли лавку. Всюду у подъездов появились автомобили, на лужайке сделали парковку, шутки ради я поискал глазами «москвич» Вериного мужа и, конечно, не нашёл. Я встал у песочницы и повернулся к дому. Давняя привычка заставила проверить (дома ли? смотрят телевизор или уже спят?) балкон бабушкиной приятельницы, имя которой я забыл, но помню её синие волосы, всегда подняты в высокую причёску, помню, что у неё был инфаркт, и она объясняла, что это когда на сердце большой рубец, рана, и я ужасался, она тяжело дышала, и муж её любил, и водил под руку, а она не надевала кофту, а только набрасывала на плечи, и в этом было что-то болезненное, слабое, как будто у нее не хватало сил надеть кофту. Что-то вроде Риммы, Эммы, благородное задвоение томных согласных. В её окнах сейчас зачем-то горел свет, хотя она давно умерла. В том же подъезде (я спустился по диагонали на тёмные окна первого этажа) жила мамина знакомая Верочка, которую бросил муж с ребёнком. Почему бросил – не ясно, но было такое мнение, что зря. Верочка приятно пахла губной помадой, казалась красивой и грустной, заставленной обильной мебелью, завешенной настенными коврами (я заносил ей что-то от мамы), к тому же первоэтажная тёмная квартира, застеклённый балкон. В бабушкином подъезде на первом этаже окна с непростой судьбой: слева – женщина (очки, требовательный взгляд, звонкий голос), несчастливо живущая с выпивающим, мало зарабатывающим мужем, справа – женщина, несчастливо разведённая, тонкое лицо, острый деревянный нос, две-три вынужденные бигуди, разменялась с мужем сюда, в пригород, на первый этаж, осела на дне жизни. В их окнах свет не горел, что ничего не значит, потому что планировка такая: комната на эту сторону, кухня – на ту, и двадцать лет спустя они могут быть живы на кухне. Я с ужасом посчитал и испугался того, как они, наверное, постарели, как постарела моя мама, от Верочки

отвалился чк. Окна Лидии Сергеевны, уже в моем детстве состарившейся до древности, во двор не выходили, и она парадоксально казалась живой: спряталась в сердцевине и упорно двигает челюстью.

С одной стороны бабушкиного дома – детский сад, который все называли *старый детский садик*, он при мне уже не работал, а с другой – дом с каким-то номером, например, семь или шесть. Я когда-то говорил: «Видел Галину Андреевну из (называл номер) дома». Может быть, вообще четвёртый? У балконов в том доме были розовые отгородки, и за ними прятались ноги и трусы старого куряки, он теперь уже – всё, а тогда курил и посматривал сверху. Иногда хозяева богатели и решались застеклить и утеплить балкон, эту розовую отгородку заменяли на что-то другое, и такой балкон казался неправильным. Галина Андреевна, старуха из этого дома, сильный артрит правого, пожалуй, колена, как будто не шагала, а раскачивалась, подталкивала себя палкой, носила очки, косынку, кустистые седые брови. За ней тоже стояла сложная семейная история, которая, считалось во дворе, и довела Галину Андреевну. Она жила с детьми и всё время с ними ругалась – сын, вечная невестка, вечные внуки. Её, наверное, уговаривали: не обращай внимания, Галина Андреевна. Но вот она замочила бельё в ванне, перегнулась прополоскать и упала головой вниз с инсультом и умерла. Бабушка была поражена, что только вчера видела Галину Андреевну, и всё время говорила, что Галина Андреевна, наверное, понервничала. Так на трёх китах и улеглась в памяти Галина Андреевна: ноги колесом, понервничала, упала в ванну. Меня удивило тогда, что можно понервничать и умереть. Я пересчитал розовые загородки: их осталось семь, остальные сделали ремонт. А детский садик совсем состарился, зарос травой, у забора торчал трухлявый деревянный грибок, гнули спину когда-то вкопанные в землю, предназначенные для непонятной игры шины, за кустами виднелось серое кирпичное здание с редкими вставками (чтобы хоть чуть-чуть повеселее) красного кирпича. Там когда-то спали дети, теперь им сорок лет. Напротив бабушкиного дома – параллельный дом, точная копия бабушкиного, только с буквой А. В нём жила парикмахерша. Она стригла на своей кухне: всех женщин – коротко, под горшок, всех мальчиков – под полубокс. Я ходил к ней несколько раз и всегда возвращался очень носатым. Я пытался ей

объяснить, что мне бы хотелось только слегка, чтобы остались волосы, и такой, знаете, волной пошли бы, но она с красным виноватым лицом, которое, казалось, может заплакать в любую минуту, стригла меня под полубокс: голова колючая, почти лысая, только вдруг чёлочка и нос. Однажды у магазина бабушка увидела женщину из этого дома. Женщина шла медленно и осторожно, боясь упасть. Бабушка предложила ей помощь, и женщина благодарно заулыбалась, взяла бабушку под руку, и они медленно так вместе пошли. Бабушке самой стало даже нехорошо, верхнее сто сорок, не меньше, подумала она. У дома с буквой А бабушка отпустила женщину в подъезд и спросила: «Какое же давление у вас?» «Да у меня похмелье», – ответила женщина и очень, очень благодарила бабушку. На этом доме можно вычислить окна квартиры как у бабушки, но поддельные, ненастоящие. В них сейчас из скромности не горел свет.

На лавке у нашего подъезда, если лето, сидели старушки, а когда одна вдруг вставала (разогреть ужин мужу, поставить вариться рассольник, телепередача в семь), то прощалась: «Ладно, девочки, я пошла». Девочки – со всеми своими артритами, с катарактой на левом глазу, с давлением. Им нравилось так называть себя – просыпалась какая-то насмешка над жизнью, которая развлекала их, что-то школьное. Ну что, девочки, пойдём к лесу? (о прогулке) Девочки, смотрели вчера нашего алкаша? (о Ельцине) Девочки, я варю иначе. (о варенье) Среди девочек была одна, которую не любили все, – ведьма Настя. Кто-то назвал её так, и прилипло. Считалось, что эта Настя наводит порчу, вытягивает энергию, даже голова разболелась. Ведьма Настя жила на втором этаже соседнего подъезда, как бы нависая над лавками, и всякий раз могла выскочить, чтобы составить компанию. Дома у неё кот, который ест свежие огурцы. Ведьма Настя работала на железной дороге в области (город Александров?), неудачно вышла на пенсию, с потерей, чего-то недополучила, и всё ездила в райсобес (ещё раз, по слогам – и вместо рая выходит бетонное душное здание), чтобы хлопотать о перерасчёте. Говорила Настя тонким голосом, началом слёз, и хотелось, чтобы ведьма Настя уже заплакала наконец, а она не плакала: столько лет отпахала, и вот что я имею. Настя была глуховата (поезда оглушили?), говорила, конечно, только о себе, а о других не слушала. И Вера, и Галина Андреевна, и бабушка – все уставали от Насти, прятались от неё на лавке у третьего подъезда, которой не было

видно из Настиной кухни, и даже уходили тут же домой, если Настя выходила. А когда всё-таки долго сидели с Настей, то потом читали молитвы, умывались – смывали сглаз, порчу, всякое писклявое Настино чувство. Какая у ведьмы Насти была фамилия? Ведь была же, и я представляю, как её в собесе вызывали по фамилии, и она высоким предплачным голосом начинала говорить, а её разубеждали: я же вам объясняла, женщина, ещё раз вам повторяю, женщина. Лица Насти не помню, только какой-то общий слепок: курносость, небольшие глазки, морщины наступают на губы, но помада даёт отпор. Господи, подумал я тогда, во дворе, перебирая окна этих девочек, а ведь все без фамилии: и Лидиякольна, и Вера, и Тамара, и Алла. На них на всех осталась одна кем-то забытая (никем из них) фамилия – Промыслова. Кто она была? где и чем промышляла? на каком этаже жила? У Зинаиды отвалилось отчество и не приделывается: Андреевна? Александровна? У кого-то я помню ноги, у кого-то кофту (выцветший синий), у кого-то позу, замерла навсегда во дворе женщина из далёкого первого подъезда, руки в боки, но без лица – подставляй любое. Через подъезд жила сумасшедшая старушка, которая выходила среди дня в ночной рубашке и задирала подол, чтобы помочиться. Казалось ли ей, что она вернулась в свой деревенский дом, и вот ночь, тёплое лето, и она вышла в огород пописать? или что-то совсем бессюжетное, горячее бормотание? Я не помню её имени, не знаю, кем она работала, не знаю, когда слабоумие пришло к ней, я даже лица её не помню, а только белые фаянсовые ноги с синим рисунком вен и голую старушечью попу, которая вот уже появляется из-под ночной рубашки, и я отворачиваюсь, вместо истории – только вот эта начинающаяся белая попа. Была ещё женщина, которая гуляла с бабушкой в какое-то лето, с короткой стрижкой, с маленькой собачкой. А ещё была женщина, которая, чтобы спасти сына-наркомана, продала квартиру и уехала в Кострому. Протянула руки ещё старушка из Кирова, которая говорила о себе, что стояла последней в очереди за красотой и за умом, а за счастьем – первая оказалась, и бабушка Саша носила ей (на первый этаж соседнего дома) малиновый пирог на именины. От неё я отмахнулся: вы вообще в Кирове. Но как их всех звали? Некоторые, с огромной жизнью, помнятся только по цвету и по диагнозу – женщина с голубыми волосами, сердечница, ещё с эпилепсией, ещё с одной почкой. Они столько лет сидели на лавочке у подъезда, но, как

оказалось, не успели хорошенько запомниться. Девочки, пожилые мои девочки, которые были такими понятными и близкими, вдруг покрылись рябью, замолчали, выцвел до неузнаваемости рисунок. Сейчас лавка была стоматологически пуста.

Я решил подойти к подъезду. В книгах обычно пишут *сам не знал почему*, и предполагается, что герой пока не знает почему, а писатель что-то задумал, и скоро выяснится. Сам не зная почему, по воле какого-то писателя я подошёл к безнадёжно запертой двери. И почему-то дёрнул дверь за ручку, как будто проверяя прочность. И дверь в подъезд открылась. Поломался замок, не прикрыли плотно – я не успел разобрать, сердце моё заколотилось, и я тут же, разгадав замысел писателя, вошёл в подъезд, в котором не был двадцать лет.

Через два шага после первой двери – ожидаемая вторая, между ними – маленький коридор, лампочки в нём нет. Тут запинается мороз, если холодно, вязнет жара, если жарко, тут каждый вдруг (всего пару секунд) одинок, испуган и хочет под электричество, но, если бы не было этого странного метра, мы растерялись бы. Потом облегчение света, репетиция лестницы в три ступеньки, а если хочется закончить чётным числом, как мне хотелось в детстве, нужно считать шаг после ступеньки. Под лестницей раньше стоял большой деревянный ящик семьи с четвёртого этажа, здесь (у них не было ни сарая, ни гаража) они зимой хранили картошку, которую выращивали летом в деревне, и весь год на первом этаже пахло землёй, картошкой, кроме разве что мая и летних месяцев, когда картошку уже доели. Но сейчас ящика не оказалось, на его месте поставили уверенный трёхколёсный велосипед и коляску с разграбленным содержимым: раскрыто одеяльце, подушка сдвинута. Я отсчитал три ступеньки (всё ещё хочется четвёртую), взглянул на двери первого этажа: женские грустные лица, пьющий муж, сын-туберкулёзник, рецепты печенья – всё это за несколько секунд мелькнуло и отступило. Я стал подниматься на второй этаж, шея тут же вспомнила, как отсюда смотреть на небо через окно у почтовых ящиков. Небо темнело, наступали сумерки, которые, казалось мне, были со мной заодно. Лестница подтвердила: девять ступеней до почтовых ящиков, слабое предчувствие письма. Почтовые ящики перекрасили в тёмно-бордовый. Я нашёл бабушкин, он поглядывал тремя кругляшами, раньше предупреждавшими нас, а теперь обиженными. На дверце выведены по трафарету две

принципиальные белые четвёрки. Как только я отвернулся от ящиков, я увидел бабушкину дверь, и с каждой ступенькой она всё больше поднималась из океана, пока её не вытащили всю. Оказалось, я совсем забыл, как она выглядела, но узнал, как узнают состарившегося родственника: чёрный блестящий дерматин, уязвлённый кнопками, кнопки образуют ромб, по углам которого собираются в ромашки. Дверная ручка – длинная, белая, пластмассовая (сложно остановиться), с алюминиевой полоской в центре, явно не подходящая черноте двери, но откуда-то она осталась у бабушки, пролежала в шкафах, и, когда обивали дверь, бабушка её (именно этим словом) приладила, и ручка продолжает своё пластиковое долголетие; загудело даже через глубину старое лето, запах летнего подъезда, шум со двора, бабушка вешает сумку на эту ручку, ищет ключи. Я поднялся (ещё девять ступеней) к двери, сразу заметил протезы новых замков, верхний уродливо выпирает. Дверной глазок следил за мной с подозрением, не узнавая. Вокруг глазка приклеено коричневое сердечко. Я был поражён, что забыл и глазок, и это сердечко, которое, замеченное, тут же зашевелилось: я упросил бабушку установить глазок, мне хотелось подглядывать за подъездом через него или если позвонят. Мастер вскрыл дверную обивку, и, чтобы она не расползлась, нужно было чем-то окружить глазок. Мы нашли в игрушках плюшевую сову с двойным сердечком из кожзаменителя, отодрали одну часть, мастер подложил сердечко под глазок, неровно, некрасиво подклеил, и у двери появилось плюшевое выражение. Внутри заныло (где вторая часть сердечка? где сова?), как будто вспомнил несправедливую смерть щенка. Я мысленно шагнул за дверь, привычным жестом открыл заслонку глазка, посмотрел на солнечный детский подъезд, проскочили двигательные воспоминания всякого открывания: ключ в замке, шпингалеты на окнах, стеклянное сопротивление балконной двери. Но тут я услышал движение в квартире, словно какое-то тело тяжело переступило с ноги на ногу прямо за дверь. Я дёрнулся от испуга и быстро спустился по лестнице, зашикали ступеньки. У почтовых ящиков я обернулся, как из тамбура поезда, из двенадцати вычел девять, потом ещё три и с нулём оказался на улице.

Из двора я вышел с другой стороны дома – как если бы мы собрались в сад.

III

О саде невозможно забыть: он всякий раз появляется, если возвращаться в Москву не в темноте и сидеть с правой стороны вагона. На следующий день я уезжал летним светлым вечером, но на скоростном поезде, который за пять минут уже сильно разгоняется, и холм наших садов промелькнул быстро, разноцветно скакнули домики среди зелени, и сразу же базы, кирпичные склады. Электричка или пассажирский поезд показывает наши сады более подробно. Если заранее, когда ещё лес, прицелиться, можно найти домики знакомых, тополь, и в любом случае – длинный забор садового товарищества. Но после подъезда мне показалось, что вот так, бессюжетным всплеском цвета, даже честнее.

Кажется, всё моё детство мы шли в сад и из сада, но никак не могу вспомнить, о чём мы говорили по дороге. Хоть бы один разговор, но нет. Мы спускались с горы налегке, ещё и подгоняемые каким-то неудобным для больной ноги законом физики. Через несколько часов поднимались в гору из ямы садов, несли вёдра, корзинки, сумки, кабачки, огурцы, помидоры, триколор смородины, крыжовник, артритную морковь. Свёкла всё время не удавалась, листья были яркие, крупные, а из земли доставали издёвку – тонкий корешок, это красивое, яркое, мы бросали в кучу гнить. Бабушка наверняка тяжело дышала, но я этого не замечал. Мама сейчас того же возраста, в каком бабушка была в моём детстве, и стареет на переднем плане, увеличивает размер туфель, растирает колени. А бабушка была уже старой и всегда *так* дышала. Да, бабушка носила когда-то туфельки на каблукке, последние её, белые, я раскрашивал фломастерами. Но при мне у бабушки – тапочки, полусапожки, валенки, и в том, что туфли на каблукке когда-то были бабушке впору, чувствовалось что-то сказочное: туфли в пакете, пакет в чемодане, чемодан в шкафу, шкаф – в коридоре. Бабушка сказала, что носила их по праздникам, и как-то на день рождения бабушки я достал туфли, надел их в шутку и походкой неуверенного недавно родившегося животного ходил по квартире, но наступил отцу на ногу каблуком, сделал две вмятины в полу, все раскричались. Бабушка в моих ранних воспоминаниях часто идёт впереди, а я отстаю. Хоть во мне и больше сил, но нет привычки к

ходьбе, я отвлекаюсь, мечтаю, маленькие шаги, поэтому вижу бабушкину спину перед собой: цветочный путающийся мотивчик, на чёрном фоне розовые бутоны – это хлопок. А в двухслойной синей синтетике (разноцветные ромашки) жарко, тело, жаловалась бабушка, не дышит. По зелёному платью с подвижным таким подолом ползли стебли, срываясь в оранжевые цветы, но в таком можно было ходить только в летние гости, оно считалось нарядным. Было ещё что-то серо-красное, серый фон, и на нём алеет. Я недавно увидел у мамы лоскуток и – тут же запищало воспоминание и реконструировало, вплоть до пояса и хлястиков с пуговками на плечах. Синий сарафан надевался на зимние праздники, плотная ткань, под него блузка была задумана белая, это уже совсем не связано с садом, но остановиться нельзя, зимнее платье – два оттенка зелёного, оранжевые точки-ягодки и пуговицы, пожалуй, коричневые, но не глухие, а пропускают свет, если нацелиться. Грузно заворочались пальто, но уж их я остановил. Было что-то ещё, кофточка, юбочка, около шкафа пол всегда одинаково скрипел, вот и сейчас – скрип. Косыночка мягкая, не умеющая мяться, маленькие синие цветочки, одинокие, разлучённые белым полем, висела всегда на струнке с обратной стороны дверцы.

Пол в бабушкиной квартире считался жертвой воровства и ловкости. Говорили, что строители украли доски, а вместо них постелили квадраты ДСП, и эти полы шли волной, скрипели на несколько ладов: пищали, басили, конфузились. Днём всё проходило почти незамеченным, потому что разговоры, по улице проезжала одинокая, поэтому громкая машина, сменявшая только что уехавшую, иногда, правда, следующую не выпускали пять минут, и наступала очевидная безмашинная тишина улицы, но всё равно радио, телевизор, сковородка, полов не было слышно. А ночью полы вступали во владение шумом, и если бабушка уже уснула, а я зачитался, то полы обязательно скрипели очень громко при входе в комнату, потом возле двери в туалет, и бабушка даже просыпалась, что-то бормотала и засыпала снова. А сейчас кажется удивительным (большой орехово-зубовский завод настойчиво показался за окном), что бабушка там вот лежала на кровати в одной со мной комнате, живая, можно было ей что-то сказать, и она ответит, весила она, наверное, килограмм девяносто пять, крупная, теплокровная женщина, с розовыми щеками, если выпьет чаю; тут напрашивается даже тюлень, но зря,

несправедливо, потому что в бабушке была разве что масса тюленя и немного поза, но до инсульта не было в ней обречённости тюленьего тела. После первого бабушкиного инсульта я стал с ней жить не только по выходным, но и все будние дни, ходил от неё в школу. Было страшно спать в одной с ней комнате. Я боялся, что инсульт повторится, спал плохо, всё время прислушивался к бабушкиному дыханию: дышит ли ровно или там что-то нарушилось, хрипы, стоны, и ведь всякий иногда постанывает во сне, и бабушка постанывала (что ей снилось?), и тогда внутри у меня появлялся огромный ужас, но я боялся встать и посмотреть, продолжал лежать и слушать и, когда её дыхание выравнивалось, засыпал. Иногда, засыпая, я думал, что утром встану и увижу, что с ней случился второй инсульт, а я не подошёл к ней из-за страха, но всё равно оставался в постели. Уют бабушкиного дома так и не вернулся. Я вставал зимним утром перед школой, на улице темнота, фонарь далеко – у поворота к больнице, даже из дома чувствовалось, что сильный мороз. Бабушка старалась провожать меня, разогревала в сковородке еду, стояла у плиты в тёплом фланелевом халате, разорённая инсультом, хоть и восстановилась и речь, и рука, но разбитая, уставшая с самого утра, только к обеду удавалось ей расходиться. Я убежал в школу, а бабушка ложилась снова. Кажется, до инсультной зимы я всегда просыпался в той квартире, когда уже солнце и стеснительное тихое радио, потолок над мной шутил тенями, пародируя цветок люстры, за окном куски неба, бабушкины звуки на кухне. Иногда я просыпался, а бабушки нету, ушла в магазин, и это всегда было понятно сразу, что нету – особая тишина пустой квартиры. Но дальше – обрыв: я не помню ни одного завтрака. Где мы завтракали? На кухне? В комнате? О чём мы говорили? Мелькает только банка кофе (её можно разглядеть на фотографиях, где мы с бабушкой на кухне), календарь с кошками и баранками (точность снова не моя, а фотографии), вспоминается с отчётливостью заученного рекламного ролика банка маргарина Rama, настаивавшая на стихотворении, в котором мама мыла, его мы полюбили – жёлто, вкусно, не нужно ждать, пока оттаёт, а сразу на хлеб. Может быть, яичница? А если чай, то из какого чайника? Что-то, кажется, с золотой полосочкой на крышке, и неизбежно на крышке появляется отбитый кусочек, кольцо не смыкается. Правда, я видел

такую крышечку на чужой даче совсем недавно, так что крышечка (даже крышечка) не гарантирована. Каша? Неужели каша?

Мы поднимаем в гору чёрную смородину, которая станет вареньем, не опомнившись, за пять минут, и красную смородину, которая будет долго, кроваво мучиться, сперва помять её, слегка поварить, процедить через ткань (старая наволочка), потом добавить сахар и помешивать, помешивать, чтобы вышло невозмутимое желе, хранить в холодильнике, есть зимой, витамины. Вишнёвое варенье бабушка варила с косточками, как бы вступая в противоборство с мамой, которая косточки удаляла. Крыжовник бабушка варила обычно, отёрнув только засохший хвостик, а мама делала изумрудное (ещё хуже – царское) варенье, собирала крыжовник зелёным, надрезала каждую ягоду, ложечкой удаляла семена, получался красивый глубокий цвет, особенно к середине банки. А бабушка всего этого не делала, как будто устала уже за всю-то жизнь, ещё чего не хватало – выковыривать косточки, поэтому вишня у неё выходила сморщенная, прилипшая к косточке, а крыжовник бурый. Бабушка не консервировала ни огурцов, ни помидоров, никаких, прости господи, патиссонов. Лечо, огуречный салат – это пусть делают молодые, а в её возрасте уже достаточно посолить две большие пятилитровые банки, одна с зелёными злыми помидорами, другая с огурцами, сверху хворост укропа, хреновый сдавшийся лист, и – достаточно. На Парижской Коммуне они вообще ничего особенно не сажали, но вишен было много, пять деревьев в саду у дома, и вот они лежали под ними летом, расстилали покрывало и ложились; был ли это праздник или просто так – после работы раскинуть покрывало и лечь с тёткой Вале́й, со вздорной сестрой, у которой трудный характер, которая варила рубец так, что вся улица пахла навозом, и бабушка даже уходила из дома, так воняло, Валя, зачем тебе этот рубец, а Валя даже не отвечала, а сурово варила, мне не пахнет, говорила она, и так раз выставила на крыльцо кастрюлю с этим рубцом остывать, а соседская собака подхватила прямо кастрюлю и понесла в зубах, так мне запомнилось, но, скорее всего, собака кастрюлю перевернула и бежала с куском в зубах, но мне почему-то запомнилось, что она тащила именно кастрюлю, бабушка смеялась тайно, когда Валя не видела, но прямо до колик в животе: столько вони, а собака всё украла. И вот ложились они с сестрой Вале́й под вишни и лежали, праздничный

день, нежный, тёплый, свободный от работы на заводе «Автоприбор», и как будто особая слабость выходного дня в ногах, вишня цветёт хорошо, будет варенье (тут же нависает угроза заморозков, но может быть, и обойдётся), а огурцы они даже не сажали.

Бабушка несёт пластиковую корзинку, сине-жёлтую, ручки тянутся друг к другу, как ни раздвигай, в корзинке молоко, хлеб, купили по дороге в сад, половину съели и выпили, залечили молочный пакет бинтиком, чтобы дома снова вскрыть, прокипятить молоко, а пакет вымыть, вывернуть чёрной изнанкой, которая, кажется, совсем не подходит молоку, и повесить сохнуть над раковиной (какая была раковина? какой кран на кухне?), и дальше тумбовый стол, от него в памяти остались только жёлтые лаковые двери, там хранился переизбыток тарелок, тёмные сцепившиеся стопки, ни разу не рассмотрел рисунка на них, но мерещится шиповник. Из посуды были выставлены в мир четыре тарелки и три чашки – этого хватало, на окне большая эмалированная кастрюля с игривой, не прижимающейся плотно крышкой, в которой варилось только затяжное, редкое, вроде холодца, на плите натруженные кастрюльки-сёстры поменьше (бесконечный суп, бесконечная картошка, бесконечные макароны). Эмалированный заварочный чайничек с птичкой, птичка пытается взлететь, чайничком не пользовались никогда, он стоял на холодильнике, хранил в себе номера телефонов, таблетки, заколки-невидимки, два тюбика губной помады – одна выдвигалась рычажком, розовый цвет, другая выкручивалась, тёмно-красная, в общем-то закончившаяся, но спичкой ещё можно было поковырять и подкрасить губы. Там же, на холодильнике, было зеркало с ногой за спиной, нога иногда подкашивалась, и зеркало падало, показывало потолку его самого. Я вставал на цыпочки (цыган, цыц, цыплёнок), чтобы снова поставить зеркало, хоть теперь холодильник и крохотным показался бы, как бывает со стариками, рядом с которыми ты из ребёнка так несуразно вытянулся. Куда деться от этой мебельной преданности? Мебель стояла по местам, а теперь толпится, просится обратно, недослужила. Первая прискакала тумбочка из коридора (на ощупь – колючие шарфы), дрожит, как замёрзший пёс в московском подземном переходе, дверца открывается вниз собачьей счастливой челюстью. Был ещё такой худенький детского роста шкафчик, колоночка-болоночка, в дверце – зеркало, делящее тебя пополам. Стая

длинноногих благородных стульев, всегда вместе вокруг стола, шпана табуреток в разноцветных повязках, хочется уже топнуть ногой, чтобы все разбежались: ну-ка!

За окном поезда начало темнеть, но ненадолго, всего 10 лесных минут, а потом выскочило ближнее электрическое Подмосковье и засветило. Я рассматривал новые многоэтажные дома, которые совсем уже не похожи на моё детство, на бабушкин дом, и они как будто мешали мне. Я закрыл глаза, чтобы снова (приём уже понятен) увидеть, как мы поднимаемся в гору из сада. До бабушкиного дома идти примерно полчаса, может быть, сорок минут, если посидеть и передохнуть, и у детской библиотеки, в которой я всегда (кажется, до сих пор) должен «Хоббита» и «Врунгеля», мы обязательно садились на гигантских шинах. Шинами поменьше, развеселёнными белой и жёлтой краской, выгораживали пешеходные дорожки, а эти были брошены не для красоты, а просто для напоминания, что раньше было что-то такое огромное, потом разрушилось, и вот – его обломки. На них мы сидели и говорили (о чём?). Но даже при всей определённости пути появляются пятна: если идти через библиотеку, выйдешь к той части Московского шоссе, где нет светофора, и как же мы перебежали эту дорогу? У бабушки артрит, и она, наверное, торопливо хромала. Получается, было мало машин, сейчас – не перебежали бы. Я абсолютно не помню этих переправ через Московское шоссе, память решила, что это не важно, а я бы посмотрел, как бабушка, хромя, испуганно (глаза, уши, три лапы) бежит. Дальше – улица со старыми двухэтажными домами, среди них вылез, растолкав локтями, один – красный, кирпичный, в котором жила Клавдия, это называлось *пойдём через Клавдию*. У Клавдии память отобрала лицо, и на её месте что-то из фильма, улыбающееся, кубанская казачка. Но был же какой-то летний день, 16:43 на часах, когда мы с бабушкой свернули во двор к Клавдии, привычно дул ветерок, жизнь была понятна, намечен план на вечер, и ещё сохранялась одышливая радость от того, как ловко мы перебежали дорогу, пока не сорвался в беспамятство садово-огородный день: пололи, рыхлили, напевали, под сливой летало два шмеля.

В саду стоял по-чеховски, привалившись плечом к стене, старый зонт, нога его заканчивалась пикой, благородная чёрно-серая клетка казалась пиджаком. Он регулярно отчаивался и выпускал костлявые

спицы, но бабушка подхватывала их и ниткой привязывала обратно, словно упрасивала: нет, потерпи ещё чуть-чуть, и зонт напряжённо терпел. Он нравился мне тем, что был похож на трость, я ходил, опираясь на него, между грядок. Конечно, зонт, как и все вещи, когда их любят дети, страдал из-за меня: я втыкал его в землю, крутил до ряби в глазах, изображал французские фильмы про мушкетёров или неловкого блондина с тростью. Зонт, уставший и раскапризничавшийся, мстил мне иногда, прищемлял мои пальцы, однажды, кажется, даже пошла кровь. Когда в саду начинался дождь, бабушка, поражённая каплями, неловко, почти комично (тело пытается сжаться, чтобы меньше досталось дождю) скакала по участку, старалась спасти всё, что боялось воды: собранные ягоды (особенно жалко малину), золу в ведре, неприкрытый навоз, и вот мы с бабушкой накрывали, заносили и только потом прятались в домик, мокрые плечи и спина. Тут же находились старые кофты, которые бабушка носила и даже любила когда-то, и от старых вещей делалось уютно. Домик был перенаселён мебелью: теснились, почти конкурировали два параллельных дивана, их разнимал столик, скатёрка на нём – бывшая занавеска. На окнах – последний приют старых банок: в жестяной из-под кофе – сахар, в стеклянной майонезной – соль, в фигурной стеклянной, которая пахла до сих пор какао, – гвозди и шурупы. Мы сидели, слушали крышу, ничего не звало нас, ничего не могло происходить в саду, кроме тихого ожидания. Крыша спускала с обеих сторон дома струи скопившегося дождя, жмурились вишни от капель, яблоки висели отмытые, ревень набирал воду, а мы сидели с бабушкой и смотрели в окно на какой-то кусочек сада, иногда включали приёмник, и он говорил, пел, потом начинал пропускать слова и выключался: электричества в саду не было, а две большие батарейки в приёмнике быстро разряжались. О чём мы говорили тогда? Дождь редко затягивался надолго, обычно проходил быстро, но если предпочитал тянуться, а в 18:15 сериал, вот уже всего час до него, бабушка надевала плащ, живший на два дома, раскрывала старый зонт, и мы отправлялись домой, объединённые зонтом. Дорога в гору была потемневшая, щебёнка не белела, а лежала мокрая, задумчивая, и только у самого ствола тополя могло быть даже сухо, вода не прорвалась через густые листья. Дождь стучался, мокло одно плечо. На бабушке была ещё болоньевая косыночка, в которой бабушка

выглядела смешной, круглолицей, глупенькой. Мы вылезали из садовой ямы и дальше по показывающему всю чистоту асфальту, сорок минут до дома. Дождь заканчивался, например, у гастронома, мы закрывали зонт – практически сухие, но если ветер, то капли мстили с деревьев. Зонт просохнет на балконе, чтобы на следующий день, когда вчерашний дождь несправедливо быстро забыт, вернуться обратно в сад тростью, палочкой. Бабушка несколько раз рассказывала мне, чей это зонт, и жизнь его неизбежно уходила на улицу Парижской Коммуны, но дальше – ничего не помню: был ли он тётки Вали, которая после смерти всё оставила, забыл ли его во Владимире папочка Сафрон Ильич, когда приезжал к бабушке, или бабушка купила его сама и ходила с ним на работу, плащ, троллейбус, заводская проходная, утром в ноябре такой яркий электрический свет, если зайти из темноты – тут ничего не известно. Можно только перебрать старые фотографии и отыскать зонт на краешке, на размытом переднем плане, до фокуса.

Осенью в садах отовсюду торчал дым, особенно если обернуться с середины горы, пахло школьно, алгеброй (и началом анализа), уже вот-вот похолодает. Мы сливали воду из ванны, чтобы ванна не лопнула от мороза, переворачивали её и оставляли побеждённой. Уносили радиоприёмник домой, тут ему нечего ловить. Скучно собирали вёдра, лопаты, лейки, совочки и заносили в дом на зиму. Какого цвета были лейки? Выскакивает коричневое эмалированное ведро, которое, сперва сдерживаясь, подтекало, а потом махнуло на себя рукой и неудержимо текло, и стало не для полива, а для сбора гнилых яблок, но даже его прятали на зиму; помню оранжевую тяпочку, орудие несуразного действия – тятать, зелёные широко расставлявшие пальцы грабли, которыми я проверял поговорку, и действительно получалось по лбу. К домику был приделан ящик для инструментов, но его как-то вскрыли, украли всё железо, а обглоданные черенки покидали обратно, как будто курицей поужинали (на металлолом взяли – объяснила бабушка), с тех пор мы стали убирать инструменты в дом. Мы закрывали домик до весны, и он зимовал, сжавшись от мороза, маленький, занесённый снегом. Снег сперва врал, что не всерьёз, и выпадал слегка, а потом ещё и ещё, сокращал высоту дома, деревьев, прятал лавку.

В марте сад внезапно появлялся в квартире. Бабушка вытаскивала сумку с семенами и перебирала пакетики, замачивала в блюдечке в

тряпочке огуречные семечки (почему всё это без мягкого знака?), я проверял их каждый день, пока вдруг первое семечко не выпускало белый хрупкий хвостик (неужели из него получатся такие большие листья, жёлтые цветы и даже огурцы?) – так из блюдечка с семенами сад высовывал ногу. Потом бабушка обрезала пакеты из-под молока, наполняла их землёй, раскладывала ожившие семена по пакетам, и вот уже сад захватил подоконник на кухне. Пока ничего не возшло, пакеты казались угрюмыми, но как только из земли огурцы выставляли листочки, на окне делалось радостно, азартно, потом помидоры всходили пахучими стебельками, и уже в комнате тоже весь подоконник занят рассадой, которая самым названием обещает однажды окрепнуть и выйти за пределы, рассадиться, разрастись. В марте у бабушки тяжёлый, долгий грипп, но после него наступает лёгкий, тёплый конец апреля, и мы возвращаемся в сад, а он там высвободился из снега, вылезла коричневая земля, перекопанная осенью, и пока всё таяло, дом раздулся, как утопленник, от влаги, дверь не открывается, краска треснула. Когда мы спускались к саду, бабушка подмечала изменения в ноге, совершившиеся за зиму: раньше, ещё прошлым летом, было всё легче, а теперь больнее. Потом вдруг нарциссы. А в мае мы приходили уже сеять морковь. Появилась мода приклеивать семена моркови на туалетную бумагу и укладывать в грядку длинную ленту – так как будто экономятся семена, прореживать не нужно, и естественное удобрение от гниения бумаги. Отпускать рассаду из дома было грустно, но приезжал отец на мотоцикле, укладывал в коляску и в багажник пакеты с испуганными детскими растениями (обязательно кто-то умрёт по дороге, переломившись) и увозил. Мы с бабушкой шли следом, не торопились, всё равно не догнать. На крылечке нас ждали растерявшиеся под уличным солнцем огурцы, помидоры, может быть, даже перцы. Мы вскрывали пакеты ножницами, видели то, что видеть, вообще говоря, не полагалось (чёрную землю обнимала белая паутина корней), я поливал в лунку, а бабушка ставила туда голубчика (этим словом). Всё это, конечно, в парник, нервный, подмечающий всякий ветерок, пахло сухой парниковой землёй. Начинался новый садовый год, и сад (пока последние контрольные работы) распускался в зелёное буйство, ягод вообще никто не мог предсказать в марте, а вот они уже выскочили.

Я переходил в пятый, шестой, седьмой, какая разница какой класс и легко начинал и заканчивал садовый сезон, не оборачивался, увидимся ли в следующем году, будем ли живы, не вёл неуверенного подсчёта, который, конечно, вела бабушка, всякая женщина с мерцательной аритмией, с тромбозом закрывает сад на зиму со страхом, что не открыть уже. И бабушка в какую-то осень закрыла сад в последний раз. Это было мягкое прощание, любовь на расстоянии, регулярные почтовые открытки, потому что бабушка не умерла сразу, а просто переболела зимой, воспаление лёгких, сердечное что-то, ухудшился артрит, и бабушке тяжело было уже ходить сорок минут до сада, спускаться с горы, гнуться там над грядками и потом подниматься снова в гору. Поэтому бабушка осталась у колыбели сада, раскачивала сад на руках (рассада в апреле) и передавала дальше маме, и мама там уже безраздельно правила, и даже была довольна, потому что бабушка, конечно, не замечала цветов и вырывала ландыши, перекапывала новый экспериментальный куст клубники, тлячком проходила по землянике за парником, это если не считать неловко поставленных старых ног в галошах на мелиссу. Бабушка признавала только огурцы, помидоры, кабачки и астры – прочее было не нужно, поэтому бабушка не так уж внимательно вглядывалась в цветы под яблоней, а иногда и – тлячком. Тяжело ходить, не смогу в этом году. Конечно, не ходите, согласилась мама, как все мы охотно соглашаемся со смирившейся старостью. Конечно, не ходите, не работайте, не ездите. Было ли бабушке обидно, что её отставку так легко приняли? Как она смирилась с тем, что сада больше не будет? Об этом не говорили. Я продолжил ходить в сад один, и получалось как-то наспех. Я прибежал, быстро собирал красную смородину, которая от моей поспешности сильно кровоточила, неметко поливал огурцы (те, что ближе к краю, скоро засохли), полон с пропусками, вырастил красивые одуванчики в морковке. Однажды соседка Аля, опасно собирая вишню со стремянки, третья ступенька, бидон висит на шее, спросила у меня: «Бабушка жива ли?» «Жива, да», – удивился я. «А то не видно её что-то», – снова потянулась за ягодами Аля, подталкивающая именем к веселью и песенке (а-ля-ля-ля), золотозубая, в выцветшем купальнике, побуревшая хна – именно Аля стала хоронить бабушку раньше прочих. «А чего она в саду не бывает?» Пошёл, наверное, этот слухок, что высокая старуха, седые волосы, в панамке ещё ходила, Сафроновна, не

видно её что-то, не померла ли. «Всякое может быть, – оправдывалась Аля, – вон одной женщине, забыла как её фамилия, Рослякова, что ли, протез всё жал, а потом раз – и рак челюсти».

Поезд въехал в Москву и стал энергично показывать дома, которые постепенно старели, из панельных превращались в крупнокирпичные, потом сложным узлом завязались автомобильные дороги, выплыл вдалеке большой торговый центр, и поезд заметно сбросил скорость, даже можно было прочитать надпись «Серп и молот». После того как я представил себе зимний сад, он стал скромненько так белеть где-то сбоку, и я, когда поезд толчками начал останавливаться, вспомнил, что одной зимой маме сказали, что по садам прошлись воры, разбили окна и забрали старые, например, самовары, у Прониных взяли кастрюли, у Али просто нахулиганили. И нужно бы сходить проверить, а если окно выбито, загородить картонкой, чтобы снег не попадал, не портился чтобы диван. И вот другим шрифтом мы с бабушкой отправились в сад по сугробам, солнечный, ярко-белый денёк. На горе никого, только глубокие уверенные шаги провалившихся первопроходцев. Эх и широко же они ставили ноги! Мы с бабушкой спустились к домику, встали в шапках, в шарфах под карандашными набросками яблонь, кое-где испачкано кустами, а вообще всё белое. Хотели войти в домик, но замок замёрз и не поддавался. Осмотрели окна – окна целы, заглянули внутрь: озябшие обои, осиротевшие кофты, вёдра виднеются, всё это мы как будто застали врасплох. Обернулись на грядки, на секунду вдруг вспыхнуло лето, вспомнился запах компостной кучи, но это быстро, потому что холодно. Кусок плёнки остался на парнике и маялся на холоде. Подниматься зимой ещё тяжелее, пальто, снег, валенки, останавливались, чтобы подышать. Мы с бабушкой по таким великим сугробам пошли как-то в предпоследний день старого года в канцтоварный магазин: мне хотелось купить ручку, чтобы ею подписывать открытки. Ручку я подметил несколько дней назад, она была белая, брусочком, неудобная, но с кнопочкой. Люди в вагоне засобирались, появилась под козырьком платформы изнанка Курского вокзала, по которой ничего нельзя было понять.

IV

Я сделал пересадку на электричку, чтобы ехать ещё полчаса буквально в обратном направлении. Могло показаться, что я передумал или забыл что-нибудь и хочу вернуться. Москва за окном электрички сникла, люди устали и возвращались домой с работы. Ручку мы купили, я писал ею в школе в третьей зимней четверти, а потом ручка вывалилась из пенала, поломалась, отбросила пружину. Но мама не выбрасывает старые эти жалкие трубочки, и ручка, купленная тридцатого хлопотного декабря, лежит у мамы в письменном столе в коробке из-под чая «Пиквик», который давно уже и не продаётся у нас, хотя был первым, который так восхитительно пах ароматизатором. И коробка из-под чая, и поломанная ручка пережили, получается, бабушку. Вещи такую долгую имеют жизнь, так умеют обосноваться, что я иногда смотрю на них как на победителей. И ладно бы браслет, икона, часы, но ведь бутылка из-под настойки в виде графина (гранями играет пробка), кувшин-инвалид без ручки, папка для бумаг с надписью «600 лет городу Кирову» (неудобный замочек, треснувший пластик, только пахнет хорошо – домом на Октябрьском проспекте), мамин твёрдый чемодан, бабушкин слабохарактерный, с мягкими стенками, пластмассовый расколовшийся таз – все они переживут нас.

Прошлым вечером, когда я вернулся домой после бабушкиного подъезда, я нашёл у мамы на полках бабушкину шкатулку – эмигрантку, уютящуюся, как и полагается, в условиях похуже прежних: у бабушки она стояла за стеклом, была главной хранительницей драгоценностей, а у мамы – на полке с книгами. Полка открытая, не защищённая от пыли, сделана для учебников из спинок какой-то кровати, но в конце концов все доучились, сдали учебники, и там осели Тэсс, род Д'Эрбервилей (а собака Баскервилей), третий, кажется, экземпляр Мэри Поппинс, готический роман – вот там, перед монографией по драмам Гауптмана, загороженная кремами, мазями, лекарствами, в пыли, стояла бабушкина шкатулка. Все эти годы я время от времени замечал её, но почему-то ни разу мне не пришло в голову достать и посмотреть. Эту шкатулку я сам купил в подарок бабушке – вырезанный геометрический орнамент, крышка упирается, не желая показывать белое деревянное нутро, сильно пахнет опилками.

Бабушка стала хранить в ней свои драгоценности, если можно этим длинным словом назвать коротенькие бабушкины бусы. Я любил открывать (предчувствие и усилие) и перебирать, поэтому хорошо запомнил, что внутри, и, пока отодвигал лекарства, тюбики и вытирал пыль, проверял память: нитка толстого, масляного янтаря, мелкий зубной жемчуг, разбавленный какими-то пружинками, палехская брошка с птицей и завитками, очевидное незамужнее отсутствие колец. Повторяя детское усилие, я открыл шкатулку. Иссохшийся янтарь сразу налился светом (вечер, яркая настольная лампа), в середине бусин обозначился коридор для ниточки, который я забыл. Я подвинул бусы пальцем, и вылезла трудность девяносто четвёртого года: части замочка не умели целоваться, прокручивались, не смыкались, у бабушки уставали руки, и она просила меня помочь. Жемчуг показался мне фальшивым и уж очень редким: длинная пружинка, три бусинки (две сами по себе, а та, что между ними, захвачена позолоченными пальчиками). Но бусы тут же и померкли, потому что в шкатулке под ними были бабушкины часы. Они, как оказалось, мелькали на бабушкиной руке тут и там, но не конкретнее квадратика, а теперь – вот часы лежали в шкатулке, как будто споткнулись и в неудобной позе так и остались, на циферблате золотом выведено *luch*, чёрный капроновый ремешок, поздний придаток, деформировался, пошёл волной, а я, как выяснилось, помню, как бабушка купила этот ремешок, когда старый кожаный порвался, и как мы присоединяли его к часам, и видна разношенная дырочка на нём, которой бабушка пользовалась. Прошло двадцать лет, а ремешок всё ещё хранит на себе результат простого бабушкиного воздействия, и ярко вспоминается бабушкина рука, родинка, изгиб ногтя, блестящая кожа. Очевидные арабские цифры повторили давнюю запись, да, да, именно такими они и были, именно так и шло время, если бабушка протягивала руку: посмотри, сколько тут натикало, я без очков не вижу. Теперь бабушкины наручные часы показывали десять часов (утра? вечера?) и только самый краешек нового часа, буквально пара минут. Это время почему-то сразу тянется к бабушкиной смерти и ищет рифму там. Но не находит. Второй инсульт застал бабушку днём на лавочке, она обмякла, и её отвели домой женщины (помогал Верин муж), умерла она тоже днём, а часы, наверное, сняли с бабушкиной руки в больнице, и они уже сами по себе дошли и ровно, немного

только вздрогнув (начало одиннадцатого), остановились. Под бусами и часами оказалась та самая лаковая брошка (малинка, цветочки) и забытая, но тут же как и не расставались – вторая брошка, неискренне блестящая, со вставленными поддельными камушками, и, даже не перевернув брошку на живот, я знал, что она плохо застёгивается, замок расшатался и выпускает из себя иголку. Дальше пластмассовый маленький шарик на ниточке, отделённый от чего-то невозстановимого, не могу вспомнить, бабушкин крестик, серый, на серой цепочке, которая укладывалась извилистой змейкой у бабушки на шее, а сейчас лежала кучкой. Одна копейка, вкладыш от жвачки «Бомбибом», изображающий «Порше» – эти глупости доложил туда я. Перебрав вещи из шкатулки, я попытался повторить последовательность и вернуть всё в точности в прежнее состояние, была какая-то ценность в том, как это лежало раньше, до вскрытия. Но пальцы мои оказались неточными, даже хищными, всё сдвинулось. Я, не спросив у мамы, обернул шкатулку газетой и увёз (даже вывез) её на дне рюкзака, и теперь пристроил её у себя в комод, за несколькими особенно красивыми фарфоровыми чашками, которые я достаю только изредка.

V

Но после того как я побывал в подъезде, невозможно не открыть дверь в квартиру. И теперь уже не ради какой-то истории, а просто чтобы проверить, что уцелело. И даже услужливое плечо откликнулось: вот так, нажимая, дверь запиралась изнутри, приятное чувство безопасности. А снаружи надо было слегка потянуть на себя, чтобы справиться с замком – это скорее логика, чем воспоминание, но, кажется, и помню. Мы столько раз возвращались в бабушкину квартиру – из магазина, из сада, с прогулки. Где-то внутри меня хранится этот выбор, когдаходишь, закрываешь дверь, и из коридора два глаза – кухня или комната, выбрать невозможно, везде хорошо. Я пытаюсь присмотреться к квартире, пока без туалета, решаю даже не открывать эту дверь (и она тут же открывается, на двери вешалка, на ней летняя кофточка-сеточка, синяя, но зелёная тоже была, насильно закрываю дверь в туалет), и вот кухня и комната, одинаковые двери, непрозрачное, покрытое мурашками стекло, круглые чёрные ручки, от которых отлетела нарядная часть – гранёный пластиковый купол, один из них попадался мне какое-то время среди игрушек, потом перестал; двери отягощены сумками, пакетами, особенно со стороны стены, туда сам бог велел прятать сумки, на кухне там висят хозяйственные (надёжная болонья), в комнате к стене прижаты две бабушкины дерматиновые сумочки, бабушка обучила меня этому слову, но я его стеснялся, потому что из него всегда выглядывало «дерьмо», я думал, что это значит как раз плохой материал, хуже кожи, а сами сумочки нравились мне – бордовая и белая, замочек, который закрывал, превращаясь в крестик, и замочек – ягодки, крепко сцепившиеся, как будто плечами. Померещились ещё сумочки, но через воду, не смогли подняться. Стол в кухне заметался: от окна (зимой, два солнечных часа в день) к стене (летом, очень жарко, южная сторона), на стенах клеёнка со сливами на бежевом фоне, помню её благодаря фотографиям, календари с котятами и хлебными палочками появляются снова, добавим к ним даты тысяча девятьсот девяносто пять, тысяча девятьсот девяносто четыре; занавески на кухне не предполагают наготы или крепкого сна, поэтому одна тянется сверху на карнизе (в году чередуется горох и что-то жёлтое, с мятым кружевом по краю), а

вторая держится на верёвочке по-деревенски, у самого стекла, гвоздики вбиты в раму и в прошлый ремонт покрашены сверху. Между занавесками, как в щёлке, видна улица, дорожка, по которой идут неважные люди на остановку, но иногда и знакомые проходят, и тогда я смотрю с интересом, как в аквариум. Люди, если смотреть на них из окна, кажутся другими – несобранными, не особенно умными, ничего не подозревающими, а ты всё знаешь, ты их, идущих с сумкой, как будто обхитрил. Кухня начинает вдруг мигать, изображение разваливается, когда я поворачиваю голову к плите: какая была плита? сколько конфорок? какие ручки? Застонал пустой угол справа от стола: он был чем-то занят, а чем? Однажды там бабушка хранила привезённые тётей Ларой бананы, медленно наполнявшиеся желтизной, но в чём лежали бананы, не на полу же; от пустого места делается страшно. Под окном за дверцами были полки, это называли зимний холодильник, я пытаюсь его открыть, но не удаётся, краской заплыли шпингалеты. Что лежало там? Я иду в комнату, там собран (и сразу раскладывается) диван, переключаются покрывала с жёлтого (рисунки сделаны точками, которые переходят на кожу, если лежать на диване летним днём) на зелёное (чёрные квадраты на зелёном, покрывало сразу сообщает, что когда бабушку с инсультом уже дотащили домой и положили на это покрывало ждать скорую, бабушка этим детским словом описалась, и мама стирала покрывало, и потом оно сохло на балконе, и всякий, кто шёл мимо дома, видел в этом хозяйственность, весеннюю уборку, а мы видели очаги поражения головного мозга, и тяжело было снимать это покрывало и складывать, потом покрывало затерялось), над диваном длинная худенькая чеканка (Эсмеральда подняла руки в танце) и медная круглая юбилейная картина «850 лет городу Владимиру» (выпуклые купола), которая довольно уродливо жила у бабушки с пятьдесят восьмого года, подарили на заводе, и фотография нашей семьи, мама, папа, брат и я, каждый смотрит серьёзно, я застыл между двумя эмоциями, не успев выбрать, мне года три. Эсмеральда и город Владимир отправились к отцу в гараж и там мёрзнут зимой, а фотографию (студийная съёмка, сама бабушка заплатила, чтобы мы пошли в фотоателье) мама поставила в книжный шкаф, загородив Чехова. Сбоку от дивана полки для посуды, избыток прилагательных: чайный фарфор, стеклянные цветные бокалы (разбавленный жёлтый и слегка розовый), пара

тяжёлых хрустальных салатников, густо залепленных узором, два глиняных глазуревых коричневых кувшинчика, там было что-то ещё, чего я не могу теперь увидеть, мешают наши с Денисом детсадовские фотографии, которые бабушка вставила между стёклами. Денис странного красного цвета, дефект печати, во фланелевой рубашке, улыбается широко, дёсны, детские зубы. Моя пятилетняя фотография тащит за собой дождливый день, фотограф надел на меня куртку девочки Жени, потому что её куртка с яркими красными ромбиками смотрится лучше моей, и её же шапку, фотогеничный детский колпак, в руках у меня букет (жёлтые листья и ветка с белыми толстыми ягодами, которые мы называли брызгуны), мне не удаётся держать его на нужном уровне, и фотограф командует мне: Выше! Ниже! я стесняюсь и пугаюсь, серое небо, меня освобождают от одежды Жени и тут же натягивают её на другого ребёнка, тоже дурно одетого, все мы тогда были унижены хорошей одеждой Жени из нового дома, но и украли у Жени всю её нарядность, разослали бабушкам, спутав навсегда карты, подменив воспоминания: что-то я не помню у Ярика такой курточки – да я же привозила вам эту куртку из Прибалтики, скажет сестра, бабушка, тётка, а нет, не привозила, это всё Женя. Мы с Денисом послушно отодвигались, когда нужно было достать посуду с полки, и появляется шаткое, пружинистое ощущение дивана под ногами и семейного праздника, страх разбить хрупкое, внезапное решение рискнуть, когда прыгаешь с фужерами с дивана на пол, и не падаешь, конечно, не разбиваешь. Напротив дивана – телевизор, так задумано задолго до нас, а у бабушки даже удвоение – два телевизора, оба чёрно-белых, один, побольше, мы отдали ей, когда купили цветной «Горизонт», бабушка смотрела его, а второй как будто спал, и лицо его было закрыто салфеточкой, но каким-то летом у телевизора побольше стал отходить контакт (так объяснил отец), и мы совершили рокировку, вернули старый, очистили ему лицо, но и в нём через какое-то время отошёл контакт, погасло изображение, остались слепые голоса, и тогда бабушка вернула телевизор побольше и била по нему рукой, ловко ставила вазу, чтобы контакт соединился, а потом унаследовала «Горизонт», который к тому моменту лишился почти всех цветов, кроме бледно-зелёного и серого (села трубка, говорил отец), но мы смотрели с удовольствием, громко, дальше бабушка уже не успела, умерла при этом телевизоре, и тяжело представить, что телевизор так и

не расцвётился для неё, что она не видела всех ярких бразильских красок, господи, но тут легко соскользнуть, и я вернусь к телевизорам: после появления «Горизонта» мы открутили самому старому чёрно-белому ножки и – дальше не ясно; я определённо помню лёгкость ампутации, ножки только поначалу артачились, но быстро сдались одна за другой; наверное, телевизор стал тумбочкой, стоял на полу калеккой, фронтовиком, а сверху на нём лежало что-то (альбомы для рисования? краски?). За телевизорами мешанина предметов, неожиданно связанных с музыкой: детское пианино, детская пластиковая с дырками гармонь, детская шумная дудочка – всё предназначено для шума, для неспланированного нажатия, чтобы внести хаос в тихий послеобеденный день, а среди этого надменно терпит проигрыватель пластинок, умеющий иголкой (а как это так получается музыка?) заставить петь Софию Ротару, и она от укола кричала громко *Ррроодина моя*. В центре комнаты стоит большой стол, таящий в себе скрытые возможности (раздвинуть, вытащить дополнительную доску для гостей), за этим столом я всё время писал; отец приносил с работы рулоны миллиметровой бумаги с показателями разных устройств, я разрезал рулоны и поверх синих кардиологических графиков записывал главы своего детектива, обычная шариковая ручка не справлялась, и я писал чернилами, старый, не отпускавший пробку пузырёк, съёмные перья крепились на карандаш, чернила ярко, расплываясь, покрывали графики, за этим же столом я писал письма всем родственникам, которых не знал, *Дорогая тётя Муся*, от люстры, растопырившей свои блюдечки, свет доходил плохо, поэтому я придвигал к столу торшер, от него осталось только чувство кнопки, когда давишь на неё ногой, а вида его я не помню. На подоконниках (а вот и покойники) стояли цветы и летом сохли, а зимой мёрзли, я помню два, без названий: один – нежный, бледно-розовый, лепесточки красиво вырезаны, другой – толстые ломкие листья образовывали цепочку, которая заканчивалась кисточками цветов. За подоконником – балкон, оазис однокомнатной квартиры в летние месяцы. С него, если слегка высунуться и повернуть голову, видно поле и приятно думать о железной дороге и Кирове, но о балконе, кажется, и так сказано достаточно. Я решаюсь наконец раскрыть все бабушкины шкафы. Ниша в коридоре скрипит дверью, там появляется горб серого пальто на крючке, у пальто всё время

отрывалась петелька, и его вешали за холку. Другая одежда не видна, летняя неподробность зимнего шкафа. Только где-то сверху – рулоны обоев, для которых не хватило стен. А платяной шкаф, в комнате, показывает на полках спелёнутый свёрток чего-то белого, трикотажного, распутать его нельзя, вещи капризничают, не хотят показываться. На штанге висят платья, предусмотрительно накрытые, чтобы не пылились, накидкой, и, как я ни старался, накидка не поднималась, память, кажется, не знала, что под ней. Можно было только вспомнить, как я совсем маленьким открывал этот шкаф и засовывал в темноту платьев руку, и подолы откликались на моё прикосновение – гладкий, холодный, плотный, пропуск под блузкой, совсем нежный и цепляющийся за пальцы. Сейчас я поводит рукой в темноте, пожалел, что нету такой подробной фотографии, где был бы запечатлен каждый угол этого шкафа, и вдруг заметил, что стемнело. В квартире загустел зимний вечер, тускло светила люстра. Меня поджидала ловушка глубокого кресла, из которого трудно подняться, так глубоко оно провалилось, цвет сиреневый, полинявший. Наступала зима, телевизор был выключен.

VI

Вырвавшись из предыдущего абзаца, я зимой приехал во Владимир на поезде Москва – Ковров, который шутит, переставляя буквы, коровами на конечной остановке. В одиннадцать вечера привокзальная площадь во Владимире пустая, нехотя светят фонари, транспорт уже не ходит, и троллейбусы стоят, прижавши уши, сонные. Я вызвал такси. Водитель ехал быстро, пропустил поворот, и пришлось пробираться как-то через больницу, мимо старых девятиэтажек, фары заставляли врасплох давно забытые, спрятавшиеся за сугробы дома. В подъезде у родителей поставили новую экономную систему освещения, она должна работать от простых человеческих звуков (шаги, удар сумки о перила, кашель), но обычно свет не включается, и ты поднимаешься в полной темноте. А если поставить сумки и ударить в ладоши, громко, с восторгом, лучше дважды или трижды, лампочка загорается. И так на каждом этаже – кажется, что ты аплодируешь темноте или показываешь фокусы. На третьем этаже по хлопку появился детский велосипед, на четвёртом – герань.

Ночью я стал искать бабушкин альбом с фотографиями. Он лежал на книжных полках под потолком, спрятанный от пыли в пакет. На обложке альбома по коричневому рельефному картону (вместо неба) летят три синих силуэта лебедя. Лебединый полёт должен навевать грусть, ощущение необратимого хода времени, и это, несмотря на схематичность, ему удаётся.

Бабушка купила альбом, чтобы хоть как-то упорядочить фотографии, и тут же разочаровалась: на картонной странице были сделаны надрезы, чтобы туда вставлять снимки, но наши фотографии в основном не подходили по размеру: то оказывались малы, вываливались из уголков, то велики и не помещались, гнулись лица. Мы старались пристроить как-нибудь. Приклеивать не хотелось, ведь на обратной стороне часто написана дата, поэтому некоторые фотографии мы просто складывали между страниц. Мы пытались сохранить хронологию: от бабушкиной молодости до недавней, три года назад, поездки в Новоозовск, где брат Илья стоит, так широко расставив ноги, как будто старается пошире. Страниц в альбоме было не так уж много, все фотографии явно не влезали. Бабушка начала

отфильтровывать родственников, бедные племянники и внучатые племянники, которые присылали через бабушкину сестру фотографии с подписями «Любимой тёте Гале» со свадьбы, из роддома, просто из-за стола с грязными тарелками – они полетели первыми, чернобровые далёкие люди, Таня, Лора, Анечка, Павлик. Этих необязательных родственников бабушка сложила всех вместе – в братскую могилу последнего разворота. Когда я достал альбом из пакета, племянники и племянницы тут же выскользнули. Я узнал Анечку на чёрно-белом губасто-зубастом снимке, мини-юбка, кресло. На ступенях загса стояли Павлик, костюм и брови одинаково велики, и его невеста, ломкая, залаченная причёска, сдобное платье, позади торжествует фата. Я отодвинул племянников и внуков – бедные! снова! – и с осторожностью, которая всегда появляется около старых доживающих вещей, открыл альбом.

В два ряда чёрно-белые девушки. Четыре сидят на траве, каждая – в позе русалки, с наклоном влево (для них – вправо), бабушка – первая слева. Наломанные ветки с пышной листвой закрывают туфельки, и кажется поэтому, что туфельки были дурные, изношенные. Во втором ряду стоят две девушки в белом, между ними – густая, почти чёрная ветка, свисающая с низкого дерева, тонкий расчёт фотографа, потому что из-за ветки – драма: темнота отступает от молодости и одновременно нависает над нею. Причёски у девушек показывают лбы, особенно наглядно – у кудрявых. Я вспомнил каждое лицо и часики у бабушки, но больше прочих я рассматривал в детстве красивую блондинку с острым, нервным лицом, поэтому её я узнал как старую знакомую, брошка у неё всё ещё конкурирует с крупными пуговицами и нарушает симметрию блузки, но уж очень, наверное, хотелось остаться на фотографии с брошкой. Блондинка теперь стала похожа на какую-то актрису, не из талантливых. Бабушка (ведь всё ради неё) с белым воротничком на чёрной кофточке, робкая галочка выреза, на руке дефект печати, который, если напрячь глаза, оказывается родинкой, одной руки нет (за спиной у подруги), чёрные глаза, чёрные брови, чёрные волосы, усиленная фотографией смуглость. На обороте чернильные дрожащие буквы: *Буденновка, 13 июня 48-го года*. Я набрал эту дату в интернете и узнал, что тринадцатое июня сорок восьмого года было воскресеньем. Фотография сразу изменилась, сделалось очень жаль далёкий

воскресный тёплый день, он начался с какого-то завтрака, выбор одежды, красиво причесаться, звук шагов в доме, который мы обычно не замечаем, на улице ветерок, живые лица. Сразу за воскресеньем потянулись вопросы: где это? в парке? кто фотограф? как зовут блондинку? И на секунду показалось, что можно спросить, вдруг бабушка помнит этот день. Я опешил от этой мысли, как будто обнаружилось внутри меня какое-то место, далёкая область, которая пока не в курсе, что бабушка умерла. После фотографии продолжился день: отряхнули подол, прогулка, долгий светлый вечер, ноги не болят. Я попытался выяснить, что это за место – Будённовка, усомнился в двух буквах, мне мешала шапка красногвардейца, которая всё время появлялась в результатах поиска. В конце концов я нашёл, что Будёновкой называлось с тысяча девятьсот тридцатого по тысяча девятьсот шестьдесят пятый год село недалеко от Одессы. От Новоазовска, где жили бабушкины родители, это восемьсот километров, десять часов в пути на автомобиле, в сорок восьмом году путь занимал, наверное, в два раза больше времени. Нужна была какая-то цель, чтобы поехать так далеко. Полезли новые вопросы, от которых пришлось отмахнуться.

На спине фотографии в левом уголке по диагонали (так красивее) бабушкиной рукой: *май 1956 г. г. Владимир*. Изгиб холодной демонстрации, вынужденные пальто, платки. Первого мая пятьдесят шестого года было одиннадцать градусов тепла, девятого мая – девять градусов, но погода приблизительная, в интернете можно найти только Москву, а во Владимире рассчитывали сами – из московской вычтешь два градуса, всегда чуть холоднее. Бабушка и ещё двое позируют: красивый мужчина с немного болезненным лицом, как будто гастрит, но скорее всего, от скромности перед камерой, один глаз прищурен, галстук в мелкую клетку; полная женщина, с усилием застёгнутое пальто, лицо только начинает смеяться, косынка на середине головы, однозначный пробор, непонятное сооружение из цветов в руках; бабушка в пальто (цвет, наверное, от зелёного до коричневого – на выбор), пробор сбоку, кудри закреплены заколкой, под пальто шарфик, где-то когда-то умерший, я его не помню, чернота губ выдаёт помаду. Мальчик с шариком на шаг позади щедро, чётко улыбается в камеру. Остальные случайно попались, недозасунули руку в карман, недозакончили шаг, недозакрыли рот, за бабушкиной головой мужчина

заметил фотографа и посмотрел в камеру не определившимся лицом, с которым мы обычно и ходим по улицам. Лица прохожих мы забываем быстро, даже красивые, но эти замёрзшие демонстранты оказались в плену фотографии и моей памяти. В детстве мне нравился смеющийся молодой человек, на границе фокуса удерживающий красоту своего лица, из-за близости к автомобилю я думал о нём как о водителе. Ещё дальше – толпа пятен лиц, все в нефокусе, различимы только лбы, кепки и волосы. Если всех, приговорённых стоять смирно, отпустить, то вдруг шум на улице, музыка, громкие голоса.

На парадной стороне фотографии белая надпись, как делали раньше в ателье: *море Азовское* (ожидание стихотворения), *Жданов* (не подтверждается) *27 июля 58 года*. Снова, как выясняется, воскресенье. Жданов – бывшее название Мариуполя, с этим легко. Легко и с сюжетом: бабушкин отпуск, поездка к родителям. Сидят в пене морской взрослые и дети. Задний ряд старательно смотрит на фотографа: бабушкина сестра Муся, учительская хала, бабушка с кудрями, Мусин муж (Вася?), лысая голова, волосы с висков сияются что-то поправить, но не могут, особенно когда мокрые. У взрослых в ногах, у моря в волнах мешанина детей, которых фотограф не дождался и сфотографировал как были (воскресенье, людный день, можно понять): у трёх девочек сложные косы, тщательные трусики и обнажённое детское начало груди (хочется отвести взгляд), одна девочка смотрит вдаль, другая не успела ровно сесть и сползает в воду, третья кажется обиженной и не хочет поворачивать головы; мой отец (шесть лет) недоумевая морщится в камеру: а когда нажмут на кнопку? За ними виден берег, лавка, на спинке которой повешена одежда, можно подсчитать мужскую часть компании: трое брюк. На песке какой-то тёмный плоский ящик, который вполне может оказаться сумкой из твёрдой кожи, и почти неразличимый из-за светлых волос подросток, если жадно (до дна) взглядеться, то видно, что он полулежит в ленивой пляжной позе, сплетя ноги, смотрит прямо на фотографа и не сопротивляясь попадает в чужую фотографию.

Недатированная (среда? привычное воскресенье?) пересвеченная бабушкина молодость: большие непонятные мне листья, бабушка прячет лицо в тени, чтобы суметь открыть глаза, яркость солнца украдена неясностью снимка, но очевидная безоблачная жара. Кроме дежурных вопросов (где это? кто фотограф? вернее так: жив ли

фотограф? даже так: когда умер фотограф?), появляется ещё такой – что делает это лицо бабушкиным? Нет ни морщин, ни седины, остренький стеснительный нос, графитная определённая улыбка, правильные кудри – всё это вдруг не кажется мне знакомым лицом. Теперь от этого чувства не отделаться. Я перебирал другие бабушкины снимки: чья-то свадьба (крупные маки на платье, борьба взгляда с солнцем), босоногая прогулка (дорисовывается море за горизонтом, рядом мужчина и женщина с чемоданами – куда? откуда?), продуманная бабушкина поза в цветах (позади забор). Снова групповая фотография, но не постановочная, а подсмотренная: бабушку и трёх других женщин фотограф потеснил к левой части снимка, выпустив в центр поле и далёкую, растворяющуюся в белом церковь, колокольня очевидна, а купола едва определимы, но если предположить Успенский собор, то разгадывается в серой мути контур Владимира, снятый с другого берега Клязьмы, вот и водонапорная башня. Сюжет этой фотографии непонятный: женщины (бабушка – одна из них) в платьях с пышным и устойчивым, как из фарфора, подолом слушают женщину в купальнике, но с часиками на руке, на земле колея, проделанная большой машиной. Пусть и трудно, но хочется рассмотреть маленькую фотографию, особый способ печати – на одном листочке сразу несколько изображений, не увеличенных, размером с кадр плёнки, развёрнутых в разные стороны: только кончилась война (не подписано, но такое помнится про эту фотографию), на двух кадрах узнаётся Муся с ребёнком, ещё на двух, засвеченных, белизна пожирает мужчину и мальчика в подсолнухах; только на одном кусочке выглядывает молоденькая улыбающаяся бабушка (больно глазам), нагнулась к столу, подчинившись воле фотографа, в руке далёкое (сорок пятого года?) яйцо, господи, как же оно уцелело? Слева от бабушки – женский профиль, подбородок, нос и чуть-чуть, как будто пожалели, лба, но даже по этим краешкам видно, что это кто-то старше, наверное, мамочка (бабушкиным голосом) Агнессочка Фёдоровна. На столе тарелки, невольно считаю – выходит семь штук, одна тарелка кажется разбитой, но если через лупу смотреть, то это напозлили на тарелку дефекты плёнки, пахнет этими яйцами, маленький белый кружок хочет быть солонкой и пусть будет, а на спинке бабушкиного стула видна чья-то рука, кто-то стоял позади и не захотел в кадр, дал другим пошалить, а ведь достаточно было

присесть. Я так долго всем телом сжимался и вглядывался в маленький прямоугольник, меньше спичечного коробка, что, когда разогнулся и посмотрел вокруг (ничего необычного, красная настольная лампа, ночная комната), удивился – таким всё показалось огромным и цветным.

Но теперь, говорю, от этого чувства не отделаться, и воображение отправляет меня в любую из фотографий, и я помещаюсь, и бабушка смотрит на меня, не разгадав: кто я? Наши с бабушкой забавы (собирать лопухи для колена, смотреть телевизор, сидеть на лавочке долгим тёплым вечером, идти со старушками по зимней дороге в лесу) совсем не подходят красивой молодой девушке в парке, хоть я и мог бы рассказать ей, что последний раз она сделает химическую завивку в девяносто первом году, а потом перестанет, и только иногда накрутит бигуди к празднику, а вообще будет у неё две заколки – деревянная и железная. Всё это не подходит молодой бабушке, как вдруг и перестаёт подходить слово «бабушка». Но тогда какое – Галина? Галка? девушка?

Фотографии важных (раз бабушка сохранила и выделила отдельные страницы альбома) незнакомцев. Три девушки на скудном ранневесеннем фоне, плотные пальто с несправедливо глубоким холодным вырезом на груди, кондитерские почти береты, держатся чудом. Пикник, три никого не напоминающих профиля, одна передающая тарелку рука, спины, панамки, кто-то лежит в купальнике, застёжки бюстгальтера напряжены, на обороте указан год – 1962, день можно выбирать любой летний, ну отрежем конец августа, задождило. Два мальчика отличаются длиной брюк и чёлок, из чёрных свитеров ласточками вытянуты белые воротники. Примерно годовалая девочка с куклой. Позади иногда встречается: «На долгую память». Но от кого – только бабушка могла расшифровать этих людей. *На долгую и добрую память любимому другу Гали К. от Кати Ткаченко пос. Будёновка 18/X – 1942 года.* Воскресенье (снова) на этот раз взрывается войной. Кем была Катя? Робкие губки, два рогалика волос, но немцы, фотография кажется последней. Я помню эту подпись, наверняка спрашивал у бабушки про Катю Ткаченко, но что она мне отвечала? Долгая и добрая память закончилась, остались только вопросы: кто это? когда носили такие береты, такие причёски? Брови, носы, волосы.

Настоящая бабушка возвращается (как из долгой поездки) в конце семидесятых: на городской площади коллективом женщин, на обороте

карандашом написаны цифры 8, 12, которые сообщают что-то мелко-организационное, скучно разгадывать. Дом отдыха «Машиностроитель», бабушка с седым крепким мужчиной, а ещё с волком и зайцем из «Ну погоди!». Бабушка с моим братом на берегу Азовского моря в год моего рождения: они сидят на камне, а море за тридцать пять лет как будто ослабило хватку и отступило, показав всю тяжесть нового бабушкиного тела, неудобно и невыгодно присевшего: широкие ноги, дрожжевой живот (раздельный купальник), груз груди, и через лифчик можно увидеть даже бабушкин сосок, от этого неловко, но это неизменно происходит, если присматриваешься – большой сосок левой (правой) бабушкиной груди. Бабушка с братом Ильёй у какой-то песочницы, позади раскрыл все двери старый «москвич», Илья широко, урологически расставил ноги – эти фотографии я помню ещё в листе клетчатой бумаги, когда бабушка привезла их из Новоазовска. Неожиданно цветной снимок: остатки братьев и сестёр, Галя, Муся, Илья, на бабушке красная блузка под сарафаном, рука прячется за Мусей и предполагает объятие, Муся в сером костюме, Мусин декоративный, для красоты, но всё-таки медицинский жест (четыре пальца приложены к месту на руке, где вены, анализы, капельница), партийное лицо Ильи, уже получившего родительский дом, галстук, плотный мясистый воротничок рубахи. Эта фотография содержит секрет, известный мне с детства: на бабушке блузка тёти Муси. У бабушки была белая, но белая не годилась, потому что фотограф запретил надевать белое, и тогда Муся дала бабушке свою, красную. И мне хочется напомнить всякому: блузка не бабушкина, а Мусина! Мне страшно, что это забудут, что блузку напрасно припишут бабушке, а ведь это не её.

Я лёг в кровать. Над головой у меня полки, нагруженные тем, чем никогда не пользуются: упаковочная бумага, очень красивая, напоминающая подарок, завёрнутый в неё, давно уже жалко выкинуть, пыльные остатки (со времён моей начальной школы) гофрированной бумаги, бумаге тридцать лет, два разнополых цвета – голубой и розовый, лампочки-колобки на пружине: нажмёшь – и они, как дурачки, отскакивают, раскачивают свет, глупо смотрят чёрными глазами, коробки из-под конфет, в которых хранятся избранные дни календаря, которые я всё хочу пересмотреть и разгадать логику: почему выжили эти? Там же, на полках, новосёлы – фарфоровые

фигурки (ангелы, деды-морозы, поросята), их достали из пупырчатой плёнки всего пару раз и насладились – какие красивые! В этом году родственники из Кирова собрались на машине в Рыбинск и попросились к маме переночевать, всего одну ночь, чтобы поспать и поехать дальше. Мама, конечно, согласилась, но заохала и стала разбирать спальню. Ведь положить, в сущности, негде, даже пол заставлен. На кресле гора вещей переросла маму, как ребёнок. В шкафу – девяносто восьмой год, тогда ещё что-то помещалось, на дверцах шкафа висит одежда, которую мама носит. Две швейные машинки погребены под спасёнными вещами бабушек: вот костюм бабушки Саши с её шестидесятилетия. На полу книги, на столе книги, и не только Тургенев, но история СССР, романы серии «Шарм» (с женщины сваливается лиф платья, хотя она не хотела бы этого, рядом мужчина с голым благородным торсом, по периметру цветы). Мама долго переключивала вещи с места на место, кое-что увезла на тележке в сад, но всё равно оставалось много. В шкафу пересидели наши с братом детские маечки, трусики, с такими именно суффиксами, мама всё думала, кому бы их передать, но не придумала и отвезла в приют для животных, чтобы там их подстелили под кошечку или собачку. Халаты с маминой работы, бесконечные ночные рубашки, старые простыни, ещё бабушкины – бескрайнее поле ситца отнесла мама в больницу, пусть одинокую старуху переоденут, пусть постеляют новое бельё, если описается. Мама засунула руку поглубже, преодолев скопление бюстгалтеров, и как только коснулась пальцами, тут же догадалась и не поверила: неужели? Мама на много лет потеряла свои драгоценности. Сложила в лакированную шкатулку (на крышке – сказки Пушкина) золотой перстень с сиреневым камнем, золотые же серёжки, выделившие капельки александрита, серебряные серёжки, кулончик, колечко с финифтью – всё это потеряла. И жалела много лет, ведь сама-то она покупала только серебро, а золото – подарено бабушкой Сашей, с детства примеряла. Мама считала, что драгоценности украли, кто-то приходил в дом («Мужики твои!» – говорила мама, припоминая, что в девяносто пятом мы с ней уехали в Киров, а отец остался и праздновал день рождения дома). И вот теперь шкатулка, которую мама сама там и спрятала и которая с каждой новой вещью отступала всё глубже в шкаф, нашлась. Нашлись и старые шахматы, вязальные спицы, печатная машинка. Когда я лёг в кровать, я

вдруг увидел под шкафом что-то новое: на коробке с обувью лежали две тоненькие, явно кондитерские коробочки, перевязанные бинтом. Наверное, их мама тоже отыскала во время разбора квартиры.

Я достал коробки и сразу же узнал одну. На крышке – рисунок, притворяющийся фотографией: зефир (имитирующие пышные белые буквы) в шоколаде (коричневой прописью), на тарелочке выложен цветок из шести штук, покрытых чутким, недавно застывшим шоколадом. Эта коробка хранилась у бабушки на шкафу, там были, кажется, письма и открытки. Я часто открывал её и нюхал, мне хотелось почувствовать запах шоколада, но пахло бумагой, полиграфической краской. Я жадно развязал бинтик. Сверху лежал, как и всегда, рисунок, который Денис нарисовал бабушке: сгрудившиеся, фломастерные буквы говорят (до сих пор): «Бабушке от Дениса. В день рождения. 1982 год, 21 декабря» Дата вспомнилась, как номер телефона, по которому не звонил последние двадцать лет, а раньше звонил часто. На рисунке сине-красно-зелёные цветы (жёлтый засох и не писал?). Денису в восемьдесят втором году было семь лет. Получается, восемнадцать лет оставалось до смерти, тридцать шесть лет до сегодня. Под рисунком оказались открытки, которые бабушка получала от Муси, праздники скапливались к зиме: красный флаг, звёзды – 7-е ноября; не делятся пополам (невольнo подсчитываешь) розы, тюльпаны, ромашки – С Днём Рождения; два снегиря на снежной ветке, часы, приближающиеся к полуночи – С Новым годом (а после девяносто первого и – 3 Новим роком і Рождеством, Рождество нависало над советской ёлочной веточкой, шишечкой и начатой огнём свечкой); потом жёлтеньким над мимозами – С 8-м Марта; на синей ленте над цыплёнком и верующими крашеными яйцами – С Праздником (первое время прямо не писали, будто не верили, что можно, но мы про себя добавляли: Пасхи); трудящийся голубь с красной лентой в клюве – С 1 Мая; и тут же, хоть от почтового ящика не отходи, гвоздики, танк – С 9 Мая. Я стал читать одну за одной, но оказалось скучно. Не своим голосом как будто Муся писала: *Дорогая сестричка Галочка, поздравляем тебя, Володю, Наташу, Дениса (добавлено) и Юрочку (едва поместился в строку) с Новым годом, желаем здоровья и мирного неба над головой*, подпись хоровая: *семья Легостаевых*. Писем в коробке не оказалось, и тут же замаячил сколоченный из фанеры такой ящичек, с замочком, с ремешком, за

который можно было его носить. Открываешь – а там толстая пачка писем тёти Муси. Где он?

Вторая коробка из-под конфет ничего мне не напоминала, и я удивился: где же бабушка держала её. Бинтик тут был завязан особенно туго, предостерегающе, но я вцепился и развязал. Там в пакете лежало несколько, не больше десяти, писем. Я открыл первое, не узнал почерк (буквы будто отдельные) и стал читать. *Наташа* (это мамина коробка, догадался я) *вот я тебе ешо что напишу у нас у Нади она купила себе назиму калголки называет но ты ето знаешь чулки и штаники все туть точно больно я глежу у нее тепло и хорошо ей но оне унее коричневые и волнами а у Иры серые тоже волнами Надя покупала прошло около месяцу я потому тебе пишу ненадоли и тебе такие и может оне будут то я бы тебе купила оне стоять 16 руб шарстяные я думаю какбы тебе тепло было то ты напиши нам если есть или будут икакоибы тебе цвет аможет тебе ненадо а мне жалко тебя Надюшка хвалит что тепло ихорошо и Ира на работу втаких ходит Наташа праздник прошол хорошо унас только отец твой с 3 нояб. лежит усебя вбольнице мама тебе опишет ну дорогая досвидание целую твоя бабушка.* Получается, это бабушка Софья пишет маме-студентке в Москву. Бабушка Софья в неснимаемом платочке (фотографий без платочка нет) умерла до моего рождения, отступила далеко, в старую лесистую часть кладбища, и смотрела на меня с памятника (в платочке) и с трюмо бабушки Саши в Кирове (в платочке), но вот вдруг заговорила. Я закрыл рот рукой, внутри обнаружилось какое-то незнакомое мне рыдание по маминой бабушке Софье, торопясь сложил письмо в конверт, конверт в пакет, пакет в коробку, туго, чтобы наверняка, забинтовал и убрал под шкаф.

Я устал от чужой старой жизни, но решил всё-таки поискать ящик с письмами. Мне казалось, они помогут мне что-то узнать. Я посмотрел на шкафу. Там как будто по особому замыслу хранилось всё для головы: старая мамина косметика (пыль румян, засохшая тушь для ресниц) в косметичке, в пакетах – братство беретов, купола маминых меховых шапок, одну шапку мы покупали в Кирове вместе с бабушкой Сашей, и случайно к шапке привязался продавец кировского магазина, говоривший *Примерьте такую моделечку*, так и сидит на нашем шкафу. Писем, конечно, не было. Я полез под письменный стол – тёмные мутные бутылки, не возродившиеся после домашнего вина.

Заглянул за спинку кровати – свёрнутые покрывала и мешки с чем-то тряпичным. Я надышался пылью, раскашлялся, тяжесть всех вещей обступила меня, и мне трудно, мрачно было засыпать. Утром я спросил у мамы про такой, помнишь, ящичек с письмами тёти Муси, и мама сказала, что помнит такой, но давно его не было видно.

VII

Я решил вернуться в Москву на вечерней электричке. Она едет медленно, останавливается на каждой станции, но сесть на неё можно на платформе, до которой двадцать минут ходьбы от дома, и не придётся добираться до вокзала. Была зима, путь до платформы через гаражи, через лес, мимо замороженных садов обещал быть тёмным, холодным, и это почему-то казалось правильным. Более того, я знал, что там будет короткий, не больше пяти минут, отрезок – после гаражей и до того момента, когда свет с платформы протянет ко мне через лес свои руки – полной темноты, громко передающей шаги. Мне хотелось оказаться в этой темноте, а не смотреть из окна автобуса на кривляющийся новогодними огнями город. Мама проводила меня до библиотеки, там мы простились, неловко поцеловавшись на глазах у каких-то подростков, и я свернул к безлюдным, напрасно освещённым гаражам. Я быстро прошёл через них и стал спускаться лесом. Тут мы с Тamarой и Тоней шли за черникой много лет назад. Фонарный свет разбивался деревьями, терял силу, и наконец наступила темнота, снег особенно отзывчиво заскрипел у меня под ботинками. Только в такой темноте, за гаражами, шаги звучат так очевидно, подтверждая то, что ты идёшь по зимней тёмной дороге. Деревья с одной стороны закончились, появились заборы садов, укороченные сугробами, чёрные бока домиков. Над садами вздрогнул свет, и темнота закончилась. А вместе с этим позади вдруг добавился торопливый скрип. Сначала я не обращал внимания, но скрип догонял меня, спутывал мой ритм, и я оглянулся: женщина с большой сумкой спешила на электричку. У платформы она догнала меня, и мы вместе, как родственники, поднялись по лестнице. Вдалеке уже стояли люди, наметив своими фигурами первые вагоны поезда: так они экономили время на Курском вокзале в Москве. Я остался в самом конце платформы, надеясь на пустой вагон, а женщина, конечно, пошла вперёд. Большие бесснежные (вчера был ветер) деревья молчали за путями. Заколотился сигнал, предупреждающий, что скоро прибудет поезд, и с этим сигналом всё вокруг стало тревожным, чувствовалось, что нужно поворачивать голову и смотреть в сторону поезда. Сморгнул яркий глаз электрички и смотрел уже не прерываясь, пристально. Это первая

после вокзала остановка, поэтому электричка не успела разогнаться и тормозила с разочарованным видом. Я вошёл в предпоследний вагон. Он действительно оказался почти пустым: там сидело несколько женщин с прямыми спинами, мужик в телогрейке и двое подростков, поделивших наушники. Когда я аккуратно разложил сумки на полке (я вёз от мамы варенье, Флобера и старую хрустальную рюмку), поезд тронулся, яркая платформа быстро затонула и вылезла медленная темнота, в которой проступали только подсвеченные окнами насыпи снега вдоль путей. Я заметил своё неопределённое, неподготовившееся лицо.

В восемьдесят третьем году мама была летне, устало беременна, жизнь теснилась, и все не помещались уже в двухкомнатной квартире. Решили семилетнего Дениса отправить вместе с бабушкой в Мариуполь на два месяца. Мама купила лаконичных почтовых открыток – с одной стороны адрес (Ленин смотрит с марки нестрога), с другой – пустота для текста. Никаких картинок, самый дешёвый вариант, да и написать нужно было всего пару строк – про погоду, жив ли Денисочка и как кушает. Я нашёл эти открытки у мамы на книжных полках.

Бабушка писала исправно, что жив, жив, не утонул, не отравился, не упал с дерева, не поломал ногу, не заплывал далеко.

Дорогие Наташа и Володя, здравствуйте!

У нас всё в порядке. Денис кушает хорошо, мы с утра на море, много купаемся.

Сделали с Мусей котлет, взяли на море.

Вчера ездили к Илье в Новоазовск, повидали Ирочку.

Денисочке очень понравился солёный арбуз, не мог наестся.

Наташа, не беспокойся, кушает хорошо. Кажется, даже немного поправился.

Собирали абрикосу.

Погода хорошая.

Погода плохая, весь день дождь, так что мы с Мусей варили варенье. Денисочка молодец, помогал доставать косточки.

Как вы, мои дорогие? Наташенька, как ты чувствуешь себя? Все ждут девочку, но лишь бы всё было хорошо.

Целую.

Приезжал Федя, фотографировались.

Это кажется даже издёвкой: всё, что бабушка написала мне, это половинчатые, не скрытые от почтальона телеграммные письма о том, как кушал Денисочка в последний месяц перед моим рождением. В бабушкиных воспоминаниях он такой и остался – маленький, сложенный из беленьких косточек, с тоненькими пальчиками, кепочкой, спасательным кругом сохранённый божий дар Денисочка. И море таится глубиной вокруг него, а она стоит в чёрном купальнике и отталкивает волны обратно к фашистам.

От той поездки в Новоазовск с Денисом осталась история, которую бабушка охотно рассказывала. Поездка истлела давно, Денису сорок два года, погода испортилась, а история – торчит. Бабушка решила остановиться у брата Ильи, чтобы быть поближе к морю и не ездить час на автобусе от тёти Муси (это считалось долго, но я не мог поверить: что, вот так едешь час и – море?). Дом после смерти Агнессочки и Сафрона Ильича перешёл Илье, сёстры попытались делить и сопротивляться, но не хватило упорства. Илья женился несколько раз, кудрявые молодеющие жёны, крепкие дети, всё там перестраивал, расширил веранду, и бабушка со временем перестала обижаться. Где доведётся спать в родительском доме, гадала бабушка, когда они с Денисочкой ехали в поезде, и вспоминала скрип, стон, тиканье, если лежать в кровати ночью и слушать. Илья встретил бабушку с Дениской на «москвиче». Обнимал, хохотал, сверкал зубами. Но поселить пообещал не в старом доме, а в новом флигельке. Недавно отстроил – ну прямо для дорогих гостей. А то в доме народу полно: приехали знакомые с детьми, студент из Киева, товарищ Владьки, с девушкой, какого ещё Владьки, ну был там такой Владька, сам Илья спит на веранде, и вот как хорошо бабушке будет в отдельном флигельке. Бабушка вошла за калитку и ахнула: над грядками в огороде сушился десяток купальников, незнакомый мужчина с усами жарил колбасу под вишнями, тучная тётка в горох деловито чистила картошку на крыльце. У забора появилась летняя

беседка, в ней играло радио и торчали ноги с красными ногтями. А в окнах кухни смеялись молодые голоса. Кто эти люди? Откуда они? Что это за девочка пяти лет в трусах? Ну, Галочка, давай поедим солёного арбуза! Давай же как раньше, Галка! Отдыхающие, поняла бабушка, и села за стол на веранде есть солёный арбуз. Илья отвёл бабушку с Дениской в летний флигель, который на деле оказался сараем с окном без стекла. Бабушка должна была спать на старой железной кровати вместе с Дениской, ведь он малыш ещё, семь лет, так что поместится. Бабушка провалилась в пружины с ребёнком под сердцем. Не было слышно ни гула, ни шорохов, ни стонов родительского дома, только скрип старой кровати. Так продолжалось несколько дней, но как-то ночью бабушка проснулась от странного покачивания и обнаружила, что из-под её кровати торчит зад. Зад пытался вытащить чемодан. Бабушка огрела зад ладонью и закричала, «Сволочь!» Вор извернулся и сбежал, скинул купальники в огороде. А чемодан как же? переживал я. Да не успел, говорила бабушка, я ж его как огрела и кричу: «Вот сволочь!» Раньше я рассказывал эту историю так, что бабушка пошла к Илье и сказала, что она, мол, не сраная курица и в сарае сидеть не будет, и Илья как будто поселил её в дом. Но сейчас я не уверен, не придумал ли я. Может быть, бабушка так и продолжила тревожный свой сон в сарае, может, через несколько дней поехала жить к тёте Мусе, ведь они же вместе, если верить письмам, жарили котлеты. Осталось только *Сволочь!*, и удар по спине, и радость от бабушкиной победы.

Оставшиеся истории всплывают сами собой, трогать их опасно, они стоят неустойчиво, не выдерживают вопросов. Отец помнит дом в Новоазовске ещё при живых Агнессе и Сафроне. Агнесса ослепла к тому моменту, а Сафрон был крепким стариком и поручал отцу собирать абрикосы, этим выделяя его из прочих внуков. А ему, маленькому отцу, было скучно, трёхмесячная южная ссылка. Ехал он туда сам, под оплаченным присмотром проводницы, открывал окно с верхней полки, и копоть паровоза покрывала его сажей. Частный дом на улице Парижской Коммуны во Владимире был на две семьи, бабушка приехала туда к сестре Вале, жене военного, оставленного на пенсии во Владимире, и там было у них три, кажется, комнаты. У тётки Вали (все звали её именно так) сложный характер, а у мужа её, Миши, больное сердце, и врачи запрещали ему пить жидкости больше

половины стакана в день. Миша (не узнаю на фотографиях) до сих пор связан как-то с жаждой, с сухостью во рту. Соседка по дому, любительница выпить, спасаясь от мужа, спала зимой в сарае на копчёном поросёнке, он тёплый, и она не замёрзла. Это рассказывалось со смехом и с удовольствием от того, что никто у нас в семье не пьёт так, как эта соседка. Там же, на Парижской (коммуна не крепко держалась), тётка Валя кормила боксёра Фрама, которого дети оставили ей на время отпуска, переживала, что ест он плохо, делала шарики из каши и засовывала их прямо в пасть. Дети вернулись и не узнали: ты чем его кормила, мама?! *Эй ты, толстячок!* сказал Алёшка, Валин внук, проходящему мимо дома на Парижской мальчику. Над этим смеялась даже мама, это уже при ней. Ведь Алёшка сам был толстый, и надо было так найтись – сказать незнакомому мальчику *эй ты, толстячок!* (повторяется не меньше трёх раз за рассказ). На Парижской бабушка пошла на кухню выпить молока, только взяла стакан и посмотрела туда, к потолку, как обычно мы смотрим, когда пьём из высокого стакана, и тут же увидела в форточке голову мужика. Чего хотел мужик – не понять, но до сих пор ужас: мужик в форточке. Бабушка строила догадки, кто это был, но вычислила ли – не помню. Там же Валина обида, когда бабушка решилась всё-таки переехать в отдельную квартиру, переломить город пополам – новый район, первый этаж, большая кладовая комната, из окон видны огуречные теплицы агрокомбината, а потом переехала ещё раз – поближе к детям, на улицу Михалькова. Валя обиделась, что её оставляют тут одну умирать, и умерла, конечно, в одиночестве, в старости боялась выходить из дома в штопаном белье: упадёт на улице, привезут в больницу, где сын её Толя – главный врач, а у неё трусы в заплатках, у матери главного-то врача. Однажды зимой бабушка бежала, чтобы успеть на троллейбус, и упала, а люди в троллейбусе засмеялись, и бабушке обидно было, что люди такие злые. А кондукторша с красными губами, кокетливая пьющая женщина, благодарила, если бабушка не брала билет, но если на линии контроль, настаивала: берите, берите, контроль будет. И выжила в бабушкиных воспоминаниях. Что-то ещё совсем маленькое, насекомое, стебельчатобрюхое – мстительная оса, которую бабушка прогнала от абрикосов, а она летела за бабушкой по Парижской, догнала и укусила

в семидесятых годах. А как звали соседку? И что же, на следующем поехала? Долго ждала? Плакала?

Электричка медленно ехала в темноте, спотыкаясь на частых станциях, кое-где за лесом чистосердечно светились частные дома. Люди менялись в вагоне, контролёры ходили туда-сюда, но ко мне уже давно привыкли и билета не спрашивали. Иногда нас обгонял быстрый поезд, следующий без остановок, чувствовался удар воздуха, вздрагивали окна, проносился поток смазанного света. После этого грохота наступала тишина, казалось, что нас бросили. Но вот когда все эти кусочки историй, повторяемых постоянно, с обтрёпанными краями, заканчиваются, что остаётся тогда? Из всех скобок выходит и встаёт вопрос: что делали мы пятнадцатого апреля (суббота) девяносто пятого года? о чём мы говорили тем вечером? В интернете зачем-то хранится телепрограмма этого дня: в 16:35 началась передача «В мире животных», в 17:10 – «Брейн-ринг». Днём шесть градусов, ночью – минус два. Как сидела бабушка на диване, что купила в магазине, если ходила в этот день, что вспоминала, кого видела, что напевала, когда мыла посуду, какую посуду мыла, о чём был фильм «Крутая девчонка», который показывали в 19:00? После пятнадцатого апреля наступило шестнадцатое апреля девяносто пятого года, я проснулся, а что делала бабушка? Семнадцатого апреля я пошёл в школу, это понедельник, но заходил ли я к бабушке вечером? Как будто выключили свет, и всё исчезло. А когда в самом деле выключали электричество, в этой случайно выпущенной темноте мы сидели тише обычного (не могу вспомнить, где у бабушки хранились свечи) – о чём мы говорили в темноте? Я прислушиваюсь и ничего не слышу, ну только, может быть, тягучую песню Хулио Иглесиаса из открытых летних окон, или как проезжала машина. Если хорошо потрясти, вываливается *так, сказал бедняк* – механика бабушкиной речи, мусорок, приправленный рифмой, она приговаривала это, выполнив какое-нибудь простое действие: включила газ под кастрюлей, закрыла морозилку, сняла пальто, надела пальто. И ещё две бабушкины фразы, каждая – тяжёлая, никакой рассказ так и не вынес их. «Ты же досмотришь меня?» – спросила бабушка и заплакала в неподходящем месте, на лавке возле продуктового магазина. Бабушка расстроилась из-за ссоры родителей, испугалась, что они разведутся и мама заберёт меня в Киров. Что я ответил – не помню. «Будем потихоньку, с передо́хами», – роковое

смещение ударения в день бабушкиного второго инсульта, я уходил куда-то, а она в дверях пошутила этим ударением, и тихо, как будто старалась не разбудить кого-то, закрыла дверь. На следующий день мы собирались к родственникам, но так уже никогда и не поехали.

VIII

Летний перегретый сквер с неохотой, пугаясь шума, поглядывает на громкий Зубовский бульвар. Но чем дальше от дороги, тем тише, только общий московский гул, который даже к лучшему. Где-то там, если спуститься к метро «Спортивная», дом тёти Лары, и тётя Лара нависает над этим сквером лёгким, ничего не значащим облаком. За сеткой по собачьей площадке бегают пыльный завалившийся шпиц, в глубине сквера хохочут, визжат карусели, но среди веселья вредничает плач. Я сел на лавку. Послеобеденная сонливая скука, слышно, как люди передвигают ноги, задевают мелкие камушки дорожки, иногда человеческие шаги усугубляются собачьими, и получается что-то преданное. Прошёл пожилой мужчина с двумя таксами, одна убежала вперёд, другая отстала, и мужчина попеременно выкрикивал два имени: «Сэмми! Марти!» Велосипед уверенно, с хрустом разрезал парк, а детский самокат лишился своего голоса, когда ребёнок устал и отдал его маме.

– Что, пузыри будем пускать? – спросила мама специальным притворяющимся голосом.

– А она мне говорит такая: как же ты будешь... – изобразила кого-то женщина в костюме, тесная юбка, колени рвутся на свободу.

– Господи, ведь сейчас такие стали делать плиты, что даже если убежит что-то... – говорила по телефону, осуждая кого-то, аккуратная дама средних неконкретных лет.

– Мам, я хочу сделать снежинку, – сказала девочка, хотя лето, жара, но, может быть, именно поэтому.

– Ко мне! – хозяин позвал собаку.

– Вы мне звонили.

– Ко мне, Марти!

– Смотри под ноги!

– Смотри, собачка! Да, со-ба-чка, гав-гав.

Группа старушек, разбавленная статистически допустимыми старичками, шла по скверу. Один из старичков с видом гида указывал направление. Но это не туристическая экскурсия, а что-то другое, что – непонятно, не слышно. Встреча выживших выпускников?

– Ну кто знал, кто знал-то, – с усердием сказал по телефону пожилой мужчина, – я бы приехал тогда, извини меня, в шесть.

Где-то громко заплакал ребёнок, но я отмахнулся: детский плач малого веса, режутся зубки или хочет лимонад. С площадки доносился глухой, небольшой породы лай. Простукали по дорожке старомодные каблучки, не разговаривающие по телефону. Всё это – фоновое тиканье хорошо настроенных часов, которое не замечаешь никогда, только если вслушаться особенно, проверить пульс. Люди гуляли, разговаривали, кричали на детей, вытягивали летний день – словом, просились на задний план чьей-то фотографии. Как по заказу появились жених и невеста в сопровождении фотографа, невеста старалась красиво придержать платье и букет. Я испугался, что навсегда попаду к ним в кадр, останусь в семейном архиве, и поспешно встал с лавки. На выходе из сквера я увидел стенды с рассказом об истории этого места, но от того, что здесь долго, век за веком (глаз успел выхватить 1685 г.) ходили люди, сделалось тесно.

Когда я не нашёл ящика с письмами тёти Муси, меня стало преследовать воспоминание о двух сложенных в маленький прямоугольник клетчатых бумажках. Как будто у себя дома я наткнулся на такое: учительский почерк тёти Муси и коричневое пятно на листе, ближе к месту сгиба. Время от времени я перебирал бумаги в шкафу, перелистывал старые, привезённые из Владимира книги, даже перетряхнул словарь литературоведческих терминов и понятий, и оттуда вывалились маленькие записки с номерами страниц и пометками, но письма не находились. И вдруг (это чувство похоже на вдохновение) я вспомнил, что на кухне в комод хранится мой юношеский дневник. Я открыл комод и направил свет лампы на полки. Казалось, я настраиваю освещение сцены. Бабушкин фарфоровый сервиз, который я привёз от мамы, отвернулся к стене носиком, на него наступали новые бокалы и рюмки, игрушки из шоколадных яиц, высохшие морские камни, жестяные коробочки из-под чая, подсвечники, испачканные воском. И за сахарницей, в совсем тёмном месте, лежала записная книжка, распираемая всем вложенным, подчёркнуто откровенная (*как мне тяжело без тебя*), я тут же споткнулся о ненужную мне сейчас юношескую любовь, наклейки, билеты в кино, ряд 3, номер места пропал. И вот в середине ноября, семнадцатого, суббота, 22:40, ближе к концу дневника (безо всякой

связи с написанным на страницах) я нашёл два письма тёти Муси, действительно сложенные в маленькие прямоугольнички, усугубляющие конверт в два раза (вероятно, чтобы не вывалились из записной книжки).

Тётя Муся жила в Горловке под Донецком и была сестрой бабушки только по отцу, дочь Сафрона от первого брака. Сразу же возникает давняя история брака Сафрона и Агнессы, бабушкиных родителей: в деревне их решили поженить, вдова и вдовец, оба с детьми, жизнь против смерти. Когда Агнесса увидела Сафрона впервые, он ей не понравился – маленький, чёрненький, сморщенный. Тут же, на пыльной дороге, и девочка Муся, фотографий их детства не осталось, и я подбираю бровки, подходящие к будущей взрослой актрисе. Но потом Агнесса и Сафрон присмотрелись друг к другу. Полюбили друг друга – не говорилось прямо, но рассказывалась история знакомства с примиряющим смехом, так что было ясно, что всё-таки полюбили, трое совместных детей, а всего выходит ну пусть девять – точно я не помню. При мне бабушка ездила к Мусе дважды, а остальное – письма. Мусе писал и я. Господи, о чём? Муся видела меня, когда мне было три месяца: новый тысяча девятьсот восемьдесят четвёртый год, сильные морозы, Муся спала на полу и однообразно шутила: «Ну что так плачешь? Мамка кушать не даёт? Совсем не кормит мамка!» Маму это раздражало, поэтому (от злости) шутка и запомнилась, остальные разговоры – растворились. Вот и вся встреча. Но специальная почтовая бумага, чернильные ручки, конверты – и я выводил «Дорогая тётя Муся!». К *тёте Мусе* привыкли со времён детства отца, а для меня Мусю как-то забыли состарить, и она осталась *тётя Муся*. Из всей бабушкиной семьи мы писали только ей. Прочие либо умерли, либо были мужчины, либо раздражали бабушку, и писать им не хотелось.

Милая сестричка Галочка, здравствуй!!

Получила твоё письмо за 10/VI, но немного задержалась с ответом. Занималась шитьём, Анечки шила шорты с жилетом, а Гали юбку модную с застёжкой впереди, они вчера т. е. 24/VI уехали во Львов, опять Галя, как руков. группы, а Анечка участник конкурса. Остались

Дима и Жора, обещала на первое время им наготовить, но на все время не приготовишь они уехали на 2 недели. Хотела позвонить Лорочке узнать не пошла ли она уже в отпуск, но нигде не работает телефон. Может завтра в субботу приедут, из-за транспорта редко видимся, скучаю. Галя ближе, да и огород почти за ними я не в силах его обрабатывать, бывают почти каждый день. Теперь мне скучновато – то ночевала со мной Анечка, а Диму не оставишь, всё спешит очевидно на свидание. Из-за такой жизни забываешь всё, вот и я прошу извенить меня, Володю дорогого не поздравила с днём рождения. Желаю здоровья, терпения, выстоять в этой тяжёлой жизни и благополучия во всём. Галочка дорогая, за цены писать страшно. Молоко л. – 250–278 р., хлеб белый 164–180 одна булка, масло сливочное 5500–6000, но у нас и пенсия больше вашей в 3–4 раза. На прошлой неделе, что делалось на площадях в Донецке и в др. городах, забастовки шахтёров, транспортников, и др. Наш бендер ввёл эти купоны, а их ещё не доставили с Канады за золото эти паршивые бумажки. Шахтерам и др не выплачивают зарплату, отпускные. Пережить переживём, сейчас пошла фрукта, а там и картошка молодая. Уже мои соседи закрывают вишню-майку но нашу Жора всю вырубил, но II (начинается второй листок) ничего ч/з недельку полторы уже будет готова черноплодка, как раз к приезду Гали. Фрукты будет не мало, надо сахару много. У Гали немного запаса есть, а я свой ещё не получала за 2 квартал. Допишу письмо хочу сходить до Степановны, приглашала приехала дочь Лора с Павлодара, а ты миленькая сестричка, боишься прямым поездом. Бери с собой Лару она рискованная в поездке. Сейчас пишу, а рядом стоит ваш подарочек – приёмник, передаёт Россия поздравления с днём рождения, и перед

глазами те прошедшие времена, как было хорошо, надеюсь что я всё-таки дождусь этой счастливой минутки, встречу обнему и расцелую вас дорогие. Неужели не сбудется надежда моего любимого Юрочки и он не приедит ко мне? Приглашаем не только Юрочку, но и Дениса и всех. Слушаю погоду, очевидно и у вас дождь, как передает Москва. У нас тоже участились дожди. Вчера Жора поливал уже многие (не сумел разобрать почерк, но, наверное, огурцы) он сделал с арматуры такое устройство. Что каждый рядок подвязывается и плетуться по шпагату вверх, уже цветут и помидоры кое где зацвели. Хорошая капуста, а вот перец и синие плоховатые. Вот миленькая и все мои новости, вы уже вся семья в сборе, так что теперь тебе легче. Какой же отпуск у Наташи месяц или больше? Забыла написать, что Анечка поступила в колледж, конечно, это не плохо, а вот выдержит ли она ведь каждый день так тяжело добираться в Донецк. Будьте здоровы мои дорогие. Галочка милая здоровья тебе, терпения, и надежды на лучшее. Дай бог может чуть-чуть что-то измениться, если народ возьмётся. Обнимаю целую тебя и всех. Привет от всех и всем.

Я расплакался (пошла фрукта), достал фотографии, рассматривал поломанные слезами лица. Потом бегло прочитал второе письмо: купила масло у женичины, у которой дочка работает проводницей, и получилось намного дешевле, колбасы лежат в магазинах свободно, тоже записывались на акции, квартплата высокая, хоть и выкупила дом, поэтому надо ехать в ЖЕК самой, но добираться туда очень неудобно, потому что транспорт туда не ходит, а идти туда тяжело, мучает задышка, привет от Степановны, Зины и других женичин. Надо же, Денис был такой ласковый, а сейчас наверное у него возраст такой. Милая Галочка, твою просьбу выполню я или Галя. Когда я прочитал последнюю фразу, стало вдруг обидно, как будто не взяли купаться на озеро. О чём, о чём просила бабушка?

Какая просьба? Никогда не узнать. Вопреки всякой логике я удивился, что письма эти – не бабушкины, а тёти Муси, что узнаю я только Мусины новости. Бабушкины же письма уехали в Горловку и там как-то погибли. Она (я вспомнил её позу) и писала их как будто прикрываясь, чтобы не подглядывал сосед по парте, держала прилежную ученическую спину. И почерк у неё (заполненные квитанции за электричество) был непонятный, переученная левша, притворный наклон несдружившихся букв. Бабушкины слова только водяными знаками проступают на Мусиных страничках: наверное, мамин отпуск в том году был в самом начале июня, а бабушка приходила готовить отцу и Денису, наверное, бабушка тоже жаловалась на цены, наверное, скучала по нежному в детстве Денисочке.

Моя надежда не сбылась – в гости к тёте Мусе я не ездил. Конверты её писем не сохранились, адрес тёти Муси я забыл, поэтому не мог посмотреть в интернете фотографии её улицы. Я написал в Google просто *Горловка*. Появились последние новости: «Возле Горловки идёт тяжёлый бой» (двенадцать часов назад) и фотографии бетонного советского здания.

Конечно, письма победили меня. Я перепечатывал их в кафе утром, перед работой, решив, что это (повторить чужой текст) – простое дело, но на приёмнике снова заплакал. Я отвернулся в окно, стесняясь слёз. Изгиб улицы уходил от ответа, отказывался объяснять огурцы, вишни, масло, общественный транспорт, сшитые юбки, одышку, квартплату, ничего не соединялось, значило слишком много и оставалось ерундой. Я пошёл в туалет, умылся, посмотрел на себя в зеркало, лицо показалось мне отцовским, начинающим новый этап. Сушилка для рук из последних сил закричала на меня. Я допечатал письмо и переулками стал спускаться к Земляному Валу. Погода была хорошей, солнце чётко, по линейке делило дома пополам: сверху яркая жёлтая часть, внизу – тёмная, не согревшаяся. Люди шли, ехали машины, и ничего не происходило, и вязко, но, как оказалось, ненадёжно тянулось время. Я попытался вспомнить свой вчерашний день. Утренние уроки, деепричастия, причастия, вш, прогулка с собакой расправляет час: мы долго, большим кругом, шли по лесу, падали иголки с ёлок, передо мной везла коляску огромная мать, умноженная курткой, пёс сворачивал в кусты, и я лез за ним, шуршали

листья. Потом магазин, кофе на балконе, книга про старые московские дома. А что было за неделю до, я не помню. Я вышел на Земляной Вал и увидел женщину в чёрном пальто, из пальто показывала язык алая юбка, женщина придерживала воротник и шарф, чёрная шляпа на ней была натянута низко, с гарантией. Женщина встретилась со мной взглядом и исчезла навсегда, будет как-то жить дальше. Если её не записать, она забудется через пять минут, как и превозмогающая старуха в малиновом берете, которая морщится против ветра, как и маленькая девочка, продолжающаяся огромным рюкзаком. Мне попадались разные люди, тут же забываясь навсегда. И они забывали, наверное, сами, что ноябрьским утром шли по Земляному Валу и о чём-то думали, и о чём-то говорили. Кроме, может быть, очень счастливого человека (позвонили и сказали, что взяли на работу), очень несчастного (умерла старшая сестра) и меня (придумал, как закончить рассказ). Только нам благодаря запомнятся эти две минуты (*был день такой солнечный*) на Земляном Валу (*я как раз шёл к «Курской»*) 12.11.2018 года (*как сейчас помню, понедельник*), 11:00, неспециальный рубеж, вот-вот надломится, машины несутся, не щадя зебры, 11:01, сегодня помидоры двести девятнадцать рублей, хлеб тридцать девять рублей, масло сливочное сто двадцать шесть, старого зонта на бабушкиных фотографиях я не нашёл. В голове мотыльком стучится воспоминание о летнем бадминтоне в лесу, перед дождём, но не может пробиться.

Белый налив

В конце мы с мамой идём в сад собирать яблоки. Пока яблочный год только нависает на деревьях, не падает. Но у нас белый налив – ранний сорт – уже созрел. Эти яблоки – самые обречённые из всех: действительно белые (ну лёгкий намёк на жёлтый цвет), мягкие, с невыраженным вкусом (рядом зреет для сравнения штрифель). Они быстро портятся, не подходят для заготовок, сохнуть не умеют – гниют, в варенье – сразу разваливаются. Из них только яблочное пюре, если вдруг маленькие дети, или съесть, раздать друзьям, упросить родственников взять сумочку. Из-за белого налива болит сердце: лежат в траве беленькие, беззащитные, скоро умрут.

И вот мы с мамой везём тележку через московскую дорогу – спешим на помощь. Проходим мимо Дома культуры, школы-интерната, спускаемся по щебёнке, тележка грохочет пустотой. Вспомнить здесь бабушку мы не можем, для этого придётся грустить, и мы вспоминаем соседку Алю, которая всего в одной букве от бабушки. Помнишь, Аля ходила в трусах и лифчике? Мама помнит. Соседка Аля в старости стала ходить по саду в нижнем белье, не стесняясь, как ребёнок. На трёх сотках построила две домушки, передвинула забор и отхватила часть нашей малины. Мы не заговаривали об этом никогда, но в душе недолюбливали Алю: ходит и лукаво так улыбается. Теперь мы всё ей простили: она лет семь назад совсем состарилась, продала сад, попопадалась маме ещё пару лет в магазине или на рынке, поблестела ещё своими лукавыми золотыми зубками, а потом умерла. Так что уж теперь-то – бог ей судья. А бабушкин силуэт всё равно ловко – в рифму к Але – проскальзывает: вот так открывала калитку.

В нашем саду когда-то варили суп на примусе, боролись с сорняками, ставили парники. Но скольких мы уже схоронили, так что и сад состарился. У соседей, говорит мама, огурцы пошли, а до меня так и не дошли. Зато мелисса дошла и не уйдёт никогда. Растёт высоко, душисто, нагло. Мама привезла её из Кирова, посадила вот у трубы, под вишней, но мелисса разрослась, накинулась на грядку. Выдернуть у мамы не хватает духу, ведь ещё бабушки Саши мелисса. Бог с ней. Зато всю зиму мама кладёт веточку в чай. Мы садимся на лавку, чтобы съесть по яблоку. У соседей стеклянная банка торчит на палке и так

красиво блестит, что интересно смотреть. Там, внизу, у пруда, по железной дороге едет поезд, протяжно, грустно гудит, будто Чехов его слышит. Время от времени с белого налива срывается яблоко и, глухо вскрикнув, ударяется о землю. А соседова жена (как же её звали? кажется, Тамара) однажды проснулась ночью, пошла к железной дороге в ночной рубашке и бросилась под поезд. И почему это она? До сих пор не знаем.

Мама уходит проверить воду и кричит от трубы: «Дали!» Мама поливает мялису: раз уж выросла, пусть пьёт. Потом находит жёлтую розу, жалеет ремень, надеется на морковь – вот тут у меня полосочка посажена, видишь? Я переносу шланг в полупустую ванну, чтобы наполнить её, и тёмная вода в ней зашевелилась, привыкшие листья поплыли по кругу, два потревоженных яблока закивали. Бабушка ванну чистила каждую весну, дно было белым – хоть мойся в ванне после целого дня в саду и свеженьким иди домой. Теперь у мамы не доходят, конечно, руки. Дно одичало, почернело. Да и никто больше не проводит в этом саду целый день. Яблоко громко ударяется о крышу домика и, прокатившись, показывает трюк – падает на лавку.

Мы собираем яблоки: я – с земли, отделяю совсем безнадёжные в ведро. Мама – с дерева, палкой, на которую прикреплена проволоочная ловушка, похожая на кисть руки. Нужно издали угадать в яблоке готовое, между веток протянуть палку, пристроиться к яблоку и потянуть за леску – тогда кисть сжимается, и уже нужно пятиться, чтобы аккуратно отпустить яблоко на землю. Таких много не наберёшь: устают и руки, и шея. Но зато они хранятся чуть дольше, и может быть, надеется мама, в выходной заедет Денис и заберёт. С потревоженных мамой веток, взвизгнув, скидываются сразу два яблока, не пожелавшие расстаться. Ничего, успокаивает мама, я завтра в больницу отвезу. У нас в областной больнице лежит женщина с работы, мы к ней по очереди ездим. Такие долгие у неё капельницы, что я успеваю от больницы на рынок сбегать. А что с ней? спрашиваю я. Да онкология, тихо, словно по секрету говорит мама. А в конце недели позову Наташу Бодину, пусть она наберёт, съест ли или уж пюре пусть сделает. Но все конечно никогда не переработать, вздыхает мама.

Из-за онкологии, из-за невозможности переработать все яблоки и потому что ещё одно только что больно ударило о землю, можно

рассказать, как бабушка, сидя здесь, на лавке, сказала много лет назад: «А чего мне веселиться? Ведь у меня умерла родная сестра». В домик я не захожу, а мама ищет там ещё одну сумку. Я вижу в приоткрытую дверь старые опустевшие пальто на вешалке и ироничную соломенную шляпу над ними, пытается пробиться запах отсыревших обоев и чеснока, но яблоки побеждают. Белый налив – совсем рядом со мной, будто прицеливается – кидается яблоком.

Всё уложено, привязаны к тележке сумки, у меня на спине скрипит яблоками рюкзак – увезу в Москву. Мы запираем калитку, и как только делаем два шага, слышим, что снова падают. Жалко, конечно, говорит мама, но что уж поделать.

Мы тащим тележку в гору. Своя ноша очень тянет. Забравшись, мама встаёт, чтобы отдышаться. Аля, вспоминает она, как-то собрала грибов в саду. Каких – сама не поняла. Зажарила их зятю, но, говорит, ты только на ночь не ешь. Как мы смеёмся с мамой. А зять съел и живой. Мы смотрим на крыши садов, на зреющий яблочный год, на железную дорогу. Зарождается звук поезда и крепнет, перестукивается, наконец появляются товарные вагоны. Поезд гудит протяжно, грустно, напоминая о том, что прошло, и о том, чего, кажется, и не было никогда. И как тут закончить, если нет этому никакого конца.

* * *

*Посвящаю
Галине
Сафроновне
Александр
Николаевне
соседкам из
всякого подъезда
огромной
обычной жизни
Благодарю
Геorgia
Артамонова*



Table of Contents

[Юрий Каракур Фарфор](#)

[По зимней дороге](#)

[На помощь](#)

[Песенник](#)

[Ундевит](#)

[Приход](#)

[Наничку](#)

[I](#)

[II](#)

[III](#)

[IV](#)

[V](#)

[VI](#)

[VII](#)

[VIII](#)

[IX](#)

[X](#)

[XI](#)

[XII](#)

[Ледокол](#)

[Эмма Миха...](#)

[В церкви](#)

[Круглая Алла](#)

[Капокорень](#)

[I](#)

[II](#)

[III](#)

[IV](#)

[V](#)

[VI](#)

[VII](#)

[Тромбофлебит](#)

[Санаторий](#)

[Узор](#)

До фокуса

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Белый налив